



SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4711950 7

исаак башевис зингер

суббота в лиссабоне

амфора

ИСААК БАШЕВИС
ЗИНГЕР

суббота
в лиссабоне

рассказы



санкт-петербург
амфора
2002

ISAAC BASHEVIS SINGER

Перевод с английского Н. Р. Брумберг

Дизайн Вадима Назарова
Оформление Алексея Горбачёва

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и партнеры»*



Зингер И. Б.

З 63 Суббота в Лиссабоне: Рассказы / Пер. с англ.
Н. Брумберг. — СПб.: Амфора, 2002. — 366 с.

ISBN 5-94278-291-1

В книгу вошли рассказы нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991), представляющие творчество писателя на протяжении многих лет. Эти произведения разнообразны по сюжету и тематике, многие из них посвящены описанию тех сторон еврейской жизни, которые ушли в прошлое и теперь нам уже неизвестны. Эти непосредственные и искренние истории как нельзя лучше подтверждают славу бесподобного рассказчика и стилиста, которой И. Б. Зингер был наделен по единодушному признанию критиков.

ISBN 5-94278-291-1

© Isaac Bashevis Singer, 1958–1972
© «Амфора», перевод, примечания,
оформление, 2002

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Исаака Башевиса Зингера по праву считают мастером короткого рассказа. Не берусь утверждать, что настоящий сборник — представительная выборка, то есть отражает все стороны мастерства рассказчика, все разнообразие сюжетов, их тематику. Одни рассказы поразили меня неожиданной фабулой, другие — необычностью логики рассказчика, третьи удивили описанием тех сторон еврейской жизни, которые ушли в прошлое, нам теперь уже неизвестны.

Особняком стоят рассказы из сборника «Бейс-дин у моего отца» — воспоминания еврейского мальчика с Крохмальной улицы в Варшаве о своем детстве, его впечатления от поездки в Галицию, в городок Билгорай — к родне матери. Непосредственность и искренность этих историй завораживают и околдовывают своей теплотой. Патриархальная жизнь в галицийском местечке — о ней мы раньше не знали. Надеюсь, и читателю будет интересно. Иначе зачем было переводить?

Нина Брумберг

НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ ИСААКА БАШЕВИСА ЗИНГЕРА

8 декабря 1978 года

В наше время писатель, будь то прозаик или поэт (впрочем, как и во всякое иное время), должен давать читателю пищу для ума и для души, а не только провозглашать некоторые общественные и политические идеалы. Непростительно заставлять читателя скучать. Рассказ это или что иное — вещь должна увлечь читателя, заинтриговать. Быть может, даже увести от реальности. Настоящее искусство должно дарить читателю радость. При всем том серьезный писатель не может не думать о проблемах своего времени, своего поколения. Нельзя не видеть, что влияние религии, особенно вера в откровение, сегодня слабее, чем в любую другую эпоху истории человечества. Все больше детей растет без веры в Бога, без веры в воздаяние и наказание, в бессмертие души, без веры в необходимость этических и моральных устоев. Разразилась Вторая мировая война, и все мрачные пророчества Освальда Шпенглера сбылись, стали нашей реальностью. Невероятный технический прогресс никак не может компенсировать того, что произошло с отдельной человеческой личностью: чувство одиночества, подавленности и страха перед новой войной, перед революциями, террором — это живет в каждом из нас. Наше поколение утратило не только веру в Божий промысел. Мы утратили веру в человека, в разумное устройство общества, в доброе отношение близких людей. В этом состоянии отчаяния и безысходности, потеряв доверие к общественным институтам, к общественным лидерам многие обращают взор к мастерам слова — к писателям. Они надеются на чудо: надеются, что человек с талантом и воображени-

ем, с обостренной впечатлительностью способен спасти общество. Может, и в самом деле в писателе есть искра Божья?

Мне, сыну народа, на который обрушились самые страшные бедствия из тех, что смогло изобрести человеческое безумие, нельзя не думать о бедствиях человечества, о грядущей его судьбе. Много раз, снова и снова я отступал перед жизнью: никогда нельзя знать заранее, какая дорога правильная. Но затем вновь появлялась надежда. Вновь казалось, что не все еще потеряно, что еще не поздно для всех нас найти истинный путь. Меня воспитали с верой в свободную волю. Я пришел к неверию, к сомнению, к отрицанию Божественного откровения, но никогда не соглашусь я с теми, кто считает, будто Вселенная — результат слепой эволюции, сочетание случайных физических и химических процессов. У меня достаточно жизненного опыта, чтобы видеть: много неверного, много штампов и схем в человеческом сознании. Сотворение кумиров тоже свойственно человеку. Но быть может, рано или поздно люди осознают и примут те взгляды, которых я придерживаюсь теперь. Путь для человека — употребить все силы, все свои знания на то, чтобы служить Богу — тому, который говорит с нами через дела Его, не через слова, и язык которого есть Космос.

Не постыжусь признаться, что принадлежу к тем, кто полагает, будто литература способна открыть перед нами новые перспективы, новые горизонты — философские, религиозные, эстетические и даже социальные. В древнееврейской литературе не проводилось различие между поэтом и пророком. Наша поэзия в прежние времена нередко возводилась в закон, становилась образом жизни.

Кое-кто из моих постоянных собеседников в кафе близ редакции «Джуиш Дейли Форвард» называет меня пессимистом и декадентом. Но всегда есть возможность вернуться к вере, даже если ты отошел от нее. Я нахожу утешение и успокоение, наслаждаясь творчеством таких декадентов, как Бодлер, Верлен, Эдгар Аллан По и Стриндберг. Что же до психологических исканий,

философских размышлений — чувство спокойствия и гармонии приходит ко мне, когда я беру в руки труды Сведенборга, книги рабби Нахмана Браславера — нашего еврейского мистика и мудреца. Сюда же можно отнести также великого поэта нашего времени, моего друга Аарона Цейтлина*. Он умер несколько лет назад и оставил нам литературное наследие высочайшего класса, преимущественно на идиш.

Пессимизм творческой личности — это не декаданс. Это мощная страсть к Искуплению, к спасению человека. Когда поэт творит, он продолжает поиск вечных истин, сущности бытия. На свой собственный лад он пытается разгадать тайну времени и пространства, найти любовь в той бездне жестокости и страдания, в которую мы погружены. Как ни странно это звучит, я тешу себя такой мыслью: когда рушатся социальные теории, когда войны и революции погружают человечество во тьму, поэт — коего Платон объявил вне закона и изгнал из Республики — этот поэт может появиться и спасти всех нас.

Высшая честь, дарованная мне Шведской академией, — это признание языка идиш, языка изгнания, языка без страны и границ, не имеющего поддержки ни одного правительства в мире, языка, в котором нет слов для обозначения какого бы то ни было оружия, военной амуниции, военных маневров, нет слов и терминов для тактики ведения войны. Этот язык равно презираем как неевреями, так и эмансипированными евреями. Но никто не может отрицать: те нравственные и моральные принципы, которые многие религии только провозглашали, для евреев, живших в гетто, были нор-

* Аарон Цейтлин (1898–1973) — еврейский писатель, поэт и драматург. Родился в Белоруссии, с 1907 года жил в Варшаве, в 1939 году оказался в Америке. Умер в Нью-Йорке. Похоронен в Иерусалиме. Писал на идиш и на иврите. В его поэзии философские размышления соседствуют с чистой лирикой и еврейской мистикой. Кроме стихов и пьес, публиковал философские эссе. Писал также на темы, связанные с парапсихологией.

мой жизни. Именно на идиш говорили в гетто. Те, кто говорил на этом языке, — они и есть народ Книги в истинном смысле этого слова. Они не ведали большей радости, чем познание человека и взаимоотношений между людьми, называть ли это Торой, Талмудом или Каббалой. В средневековой Европе гетто служило прибежищем для гонимого меньшинства — и оно же учило жизни в мире и согласии, учило самодисциплине, проявлению человечности. В переносном смысле оно еще существует и не собирается сдавать свои позиции. В доме моего отца на Крохмальной улице в Варшаве находился дом учения — бейт-мидраш, и там же раввинский суд: бейс-дин. Там играли свадьбы, там хасиды проводили праздники, там наслушался я разных историй. Там же, еще будучи ребенком, слушал я, что говорит мой старший брат и учитель Израиль Иошуа Зингер*, автор «Братьев Ашкенази». Слушал все доводы, которые приводили рационалисты — от Спинозы до Макса Норддау** — против религии. От отца и матери, напротив, я постоянно слышал, что вера в Бога может помочь тому, кто сомневается и ищет истину. В нашем доме, как, впрочем, и у наших родных, наших друзей и соседей, наших знакомых «вечные вопросы» всегда были более актуальны, чем последние новости в еврейских газетах. Несмотря на весь мой скептицизм, на постигавшие меня постоянно разочарования, я неизменно верю в одно: народы могут многому научиться у евреев. Да, у тех самых евреев: научиться склонности к размышлениям,

* Израиль Иошуа Зингер (1893, Билгорай — 1944, Нью-Йорк) — еврейский писатель и журналист. Писал на идиш. Старший брат Исаака Башевиса Зингера. Считается мастером «семейной эпопеи» — романов-хроник, охватывающих жизнь нескольких поколений и различных слоев общества. Самые известные его романы: «Иосе Калб», «Братья Ашкенази» и «Семья Карновских».

** Макс Нордау (1849–1923) — еврейский философ, писатель, общественный деятель. Врач-психиатр по образованию. Один из основателей всемирной сионистской организации. Умер в Париже. В 1926 году его прах был перевезен в Палестину и захоронен на Старом кладбище Тель-Авива.

умению воспитывать детей, умению находить счастье там, где другие не увидят ничего, кроме нищеты и унижения. Для меня язык идиш и те, кто говорит на нем, одно. Еврейской душе присуще почитание Господа и уважение к Нему, ожидание радости от жизни, мессианские чаяния, терпение и глубокое понимание человеческой личности. А еще спокойный, мягкий юмор, благодарность Богу за каждый прожитый день, за каждую крупницу успеха, за каждое проявление любви. Все, все это можно выразить на идиш. Еврейская ментальность не признает высокомерия. Евреи не считают, что успех должен прийти сам, и прийти непременно. Нет, менталитет наш таков — не надо ничего требовать от жизни, не надо командовать и распоряжаться: человек с грехом пополам, кое-как пробирается среди сил разрушения, понимая, что Господний План Творения лишь в самом начале.

Некоторые считают, что идиш — мертвый язык. Но то же самое говорили про иврит две тысячи лет подряд. Его возрождение в настоящее время — просто чудо. Арамейский — мертвый язык. Но он донес до нас свет «Зогара», на нем творили и наши мистики. Непреложный факт: наши классики, что писали на идиш, — классики современной литературы и на иврите. Идиш еще не сказал своего последнего слова. Он таит в себе сокровища, доселе еще неизвестные миру. Это язык мучеников и святых, мечтателей и каббалистов. Язык, полный юмора. Язык, который многое помнит, — то, что человечество никогда не сможет забыть. Можно сказать еще: идиш — язык мудрости и смирения, способный выразить и страхи, и упования человечества.

Примечание. Печатается с любезного разрешения Нобелевского комитета. © The Nobel Foundation 1978.

Из сборника
СТРАСТИ ЛЮДСКИЕ

Из сборника

PASSIONS

ОШИБКИ

Разговор опять повернул на прежнее. Снова заговорили про ошибки. Теперь, — сказал Залман-стекольщик, — можно сделать какую хочешь ошибку, самую-самую, и слова никто не скажет. Потому столько ошибок и делают. В прежнее-то время так бы легко не сошло. В Торе сказано: «Если кто рубит дерево, и топор слетит с топорница и попадет в человека, надо спастись бегством, ибо родные пострадавшего имеют право отомстить». Жил в Радошице пан Заблоцкий. Неплохой был человек. Но если ему кто слово поперек скажет, с ним ужас что творится: впадает в раж, хлыстом щелкает, усы торчком, будто у кота. Лучше и близко не подходить. Раз заказал он сапоги у нашего сапожника, а они тесны оказались. Так он развел костер да и сжег их. А кожа плохо горит. Только воняет не передать как, и дым валит до самого неба. Шмерлу-сапожнику он приказал спустить штаны и избил его хлыстом до крови. А в другой раз разорвал в клочья новую шубу. И все потому только, что скорняк пришил крючки слишком низко. Дошло до того, что ни сапожник наш, ни портные не брали у него заказы. Напрочь отказывались. Сам он как в тумане ходил. А ошибка делал — не счесть. Раз приказал кучеру ехать в Желехов, а надо было в Венгров. Когда уж несколько верст проехали, сообразил, что не та дорога.

Кучер говорит: хозяин был так зол, что сам себя по лицу кулаками бил.

Жену свою до смерти довел. Даже после отмены крепостного права он все равно мужиков порол. Кричал: моя земля — значит, и закон мой! Мужики боялись его пуще смерти, прямо тряслись перед ним. Даже собаки его боялись. А у него была целая свора — огромные, как волки, у каждой своя кличка. Если он подзывал какую из собак, а приходила другая, то пан Заблоцкий запирали провинившегося пса в темный чулан на три дня и три ночи. Кроме того, пан Заблоцкий постоянно впутывался в какие-то тяжбы. Все состояние на этом просадил. Никогда не выигрывал. Только терял. И в Варшаву ездил — жаловаться на решение Люблинского суда. Тоже не помогло. Дело и там проиграл. Да как не проиграть? Вот приглашает он к себе адвоката. Сидят в гостиной. Адвокат спрашивает: «Могу ли я закурить сигару, Ваша честь?» «Курите», — отвечает пан Заблоцкий. Тот достал папироску и закурил. Папиросы были тогда в новинку. Заблоцкий сидел на диване и вертел трость с серебряным набалдашником, витую, изукрашенную. И вдруг как начал колошматить гостя этой тростью. Тот кричит: «Что я сделал, ясновельможный пан?» — «Я позволил курить сигару, а не папиросу. Эти новомодные глупости — от французов все идет. Не потерплю в своем доме подобную гадость!» Вот такой он был, пан Заблоцкий...

Была у него дочь Зофья, и любил он ее больше жизни. Но делать она должна была все, как отец скажет. Если он велит вплести в косу голубую ленту, а она возьмет зеленую, мог прямо при гостях ее по лицу отхлестать. Из-за своего отца она и же-

ниха не могла себе найти. Кому охота быть зятем этакого сумасброда?

Еще я не сказал: тогда у женщин было в моде часто менять платья. У шляхты польской было так принято: наденет высокородная пани раз или два платье и сразу же отдает его бедным родственникам или же прислуге. А Заблоцкого дочка носила платья, наверное, времен короля Яна Собесского. На балы ее не приглашали. За спиной смеялись. Она даже на улице показаться стеснялась.

Слушайте дальше. Однажды кто-то из царской семьи, то ли дядя царя, то ли брат, — я уж позабыл, кто именно — приехал в Польшу, и ему надо было провести ночь в Радошице. Думаю так, что он собирался поохотиться в тамошних лесах. Но где расположиться столь высокому гостю? Городские власти позвали пана Заблоцкого и попросили его принять великого князя в своей усадьбе. Заблоцкий взвился, аж ужом завертелся. Но Польша была покорена, надо было подчиняться... И пришлось Заблоцкому сдаться. Его управляющий хотел было привести в порядок покои, где собирался остановиться великий князь, но Заблоцкий пригрозил, что если там будет хоть что-нибудь кроме соломы, головы ему не сносить.

Высокий гость прибыл... И городские власти, и ксендзы, и вся шляхта — все явились, чтобы приветствовать великого князя, в том числе и пан Заблоцкий. Евреи, помнится, вынесли хлеб и соль на серебряном блюде. Городской голова представил Заблоцкого и сказал, что великий князь будет его гостем. В ответ тот рассыпался в любезностях, как это у них там принято. Однако же сделал ошибку и неправильно произнес имя Заблоцкого: назвал его Запроцким.

«Я Заблоцкий, Заблоцкий, а не Запроцкий!» — закричал он, неучтиво перебив высокого гостя. Выбросил бумагу, на которой было написано, что он примерно должен был сказать в ответ. Бумага упала, ее подхватило ветром. Можно себе вообразить, что там творилось. Такая суета поднялась. Да за такое оскорбление могли город с землей сровнять! Городской голова — «начальник» — упал на колени перед гостем, ксендзы просили у него прощения, объясняя, что Заблоцкий не в своем уме. Евреи перепугались ужасно: потому что, если что случается, уж они в первую очередь виноваты, и весь гнев обрушивается против них. Казаки схватили Заблоцкого. А уж если взяли тебя под стражу, это позор, от которого вовек не избавиться. Заблоцкий вырвался и прятался в лесу, пока великий князь не отбыл со всей свитой. Вернулся он домой в лохмотьях, как оборванец, распух от комаров, до крови исцарапан колючками. А уж тощий, будто чахоточный. Как начальство прознало, что он вернулся, сразу же прислали жандармов: заковать его в кандалы — и в тюрьму. Но пан Заблоцкий вооружил своих хлѳпов, крепостных мужиков, и приказал им охранять усадьбу от русских. Сам же зарядил ружье, поднялся на чердак, а когда русские подошли к воротам, стал палить из окна. В Радошице жандармов раз-два и обчелся, и не больно-то им охота под пули лезть. Тогда начальник отправил нарочного к губернатору, чтобы тот прислал конных жандармов. Но губернатор сказал, что ему надо Петербург запросить. Заставил нарочного ждать целую неделю, а потом прислал такой ответ: ваш Заблоцкий — сумасшедший, и ему что ранить, что даже убить человека — пара пустяков. И никто не хочет с ним связываться.

Пан Заблоцкий недолго после этого прожил. Подхватил воспаление легких. Шляхта съехалась на его похороны из самых глухих углов. Играла музыка, Заблоцкого возносили до небес: он-де спас честь Польши. А все из-за того, что великий князь неправильно произнес его фамилию.

Ошибка — не пустяк. С этим шутить не следует, — сказал Леви Ицхак. Вот Камца был приглашен на трапезу, а вместо него пришел Бар-Камца, и Иерусалим был разрушен*. Если переписчик делает хоть одну ошибку в Торе, по этому списку запрягается читать. Сто лет назад, а может больше, жил в Щебрешине писец. Мешулам его звали. Говорили, будто каждый раз прежде чем написать святое имя, он погружался в микву. Цену заламывал немислимую. Мог спросить целых пять злотых и даже больше за пару филиakterий. Беднякам это было не по карману. Ну а богачи, те приезжали к нему аж из Билгорая, из Замостья, Грубешова. Почерк был — залюбуешься. Буквы — одна к одной, будто зерна жемчуга. Чернила и пергамент доставляли ему из Лейпцига. Каждую-то букву он выводил отдельно. По субботам и праздникам молодые люди собирались у него дома, и Мешулам учил их. Дед мой был одним из них. Переписчик святых книг, как правило, человек не от мира сего. Но не таков был реб Мешулам. На плечах у него голова, не кочан капусты, и его всегда звали, если между членами юденрата возникали недоразумения.

* Камца и Бар-Камца — два иерусалимских обывателя, из-за которых, согласно талмудическому преданию, был разрушен Иерусалим в 70 г. н. э.: некто устроил пир, на который среди прочих был приглашен его друг Камца. Он явился на пир, но хозяин дома его выгнал. Чтобы отомстить за обиду, Бар-Камца сделал ложный донос на евреев римскому императору.

Детей, кажется, у него не было. Я, во всяком случае, никогда ничего не слышал про это.

И жил тогда в Щебрешине богатый человек, Мотеле Волбромер его звали. Он имел собственный дом возле базара, всю торговал лесом и пшеницей. И вдруг в местечке начали поговаривать, что удача от реб Мотеле отвернулась. Сперва он сам заболел, потом жена, а потом и дети. Стоял амбар, доверху полный пшеницы. Вдруг — раз — раз! — пожар, и все сгорело. Реб Мотеле сплавлял лес по Сану и Бугу. Вдруг поднимается штормовой ветер, плоты развязались, бревна разбросаны... Все пропало, опять у Мотеле Волбромера огромные убытки. Говорят, если кого преследуют несчастья, надо этому человеку поразмыслить о своих поступках. Реб Мотеле был благочестивый, богобоязненный еврей. Он стал думать и припоминать, всегда ли он поступал по совести, нашел много несправедного в своих поступках, стал соблюдать посты. Поднимался он теперь очень рано, время перед утренней молитвой посвящал Талмуду. Стал больше денег на бедных давать. Раньше-то богачи не те были, что сейчас. Но ничего не помогало.

Беда не приходит одна. Мало ему было забот, так еще и нечисть какая-то завелась в доме. Среди ночи слышались шаги, раздавался игривый женский смех. Сами собой растворялись двери. Стоило только реб Мотеле пойти спать, как кто-то невидимый принимался возить кровать его по комнате, то вдоль, то поперек. Коли такое случается, люди стараются держать это в тайне. Ведь если кто узнает, с ним не станут иметь дела, да и дочерей замуж вряд ли выдать удастся. Но сколько можно таить, особенно в маленьком местечке? Как ни старайся, а все наружу выйдет.

В доме жила прислуга. И девушка уволилась, потому что черт таскал ее за волосы и проделывал с ней разные дерзкие штуки. Становилось хуже день ото дня. Эта нечисть забралась на чердак, и по ночам там кто-то катал бочки.

Раз как-то замесила тесто старшая дочка реб Мотеле, накрыла его доской, а сверху подушкой, чтоб поднялось, и пошла спать. Проснулась посреди ночи, а квашня у нее в постели. Она аж взвыла, стала на помощь звать, подняла всех домашних. Бабушка моя — царствие ей небесное! — была их соседка. Она услышала крики, и так вот все и вышло наружу. Эти лапетуты-бесенята — или кто там был — опрокидывали горшки и кастрюли, портили еду, из-за них плесневели и прокисали варенья и соленья. Даже пасхальную посуду кто-то с чердака стащил.

Как-то раз дьявол, а может то был бесенок какой, так хлопал и стучал оконной рамой, что полгорода сбежалось. Тайна перестала быть тайной. Они все рыдали в голос: «Пусть уже этому будет конец!» Но злые силы не унимались. У сойфера Мешулама водились древние амулеты, и все про это знали. Семейство Волбромеров отправилось к нему. Они заплатили цену, которую заломил Мешулам. Развесили амулеты по всем углам, но и это не помогло. Снова кто-то колотил посуду. Камень свалился на реб Мотеле, повредил ему ногу. Если б свалился на голову, проломил бы череп, не вру. Упал он откуда-то с балки, а был он такой горячий, будто только из огня вынули.

Когда такая беда приходит, и так и этак человек думает, ломает голову, а что делать, как быть — невозможно решить. А вот как дальше было дело. Расскажу вам, чем все кончилось. Был четверг, нищие

ходили из дома в дом, собирали подаяние. Какому-то бродяге открывают дверь, он видит весь этот бедлам и говорит: «Что здесь творится?» Жена реб Мотеле, а может и какая другая женщина, рассказали ему все-все. Он и спрашивает: «А мезузы проверили?» Реб Мотеле как раз мыл руки в кухне. И говорит: «Может он и прав». А жена против: «Это реб Мешулама мезузы, нечего и проверять».

Но реб Мотеле уже не оставляло сомнение. Он приказал вынуть все мезузы и стал перечитывать их. Только взгляд бросил на первую мезузу — и как закричит. Буква «далет» в слове «эхад», что означает «первый», выглядела как «реш», а это уже получается богохульство*. Реб Мотеле проверил остальные, и везде было то же самое. Конечно, так бывает, поскольку буква может поблекнуть от времени, даже исчезнуть, если чернила выцвели. Но тут чернила были свежие. Местечко прямо кипело от волнения. Шум, гам. Еще кто-то нашел у себя ту же самую ошибку. После этого все евреи, у кого были филактерии реб Мешулама, проверили их. Везде одно и то же скверное слово... Выяснилось вот что: реб Мешулам — тайный последователь Саббатая Цви. Члены этой секты считают, что Мессия придет, если все будут чисты и праведны, или же если будет всеобщий разврат. Они призывают евреев грешить, а еще стараются сделать так, чтобы евреи стали грешниками помимо воли. Саббатяианцы портили святыя книги. Подбрасывали даже кости мертвецов в дом к правоверному

* «Далет» и «реш» — похожие между собой буквы еврейского алфавита. В первом случае «эхад» — первый, главный, Господь. Во втором — «ахер», что означает «другой». Толкуется как «противостоящий Всевышнему», «богопротивный».

еврею, чтобы дом стал нечистым. В давние еще времена Ваад четырех земель* провозгласил «херем» этой секте. По всем правилам: трубили в бараний рог, горели черные свечи. После от них осталось вроде бы всего ничего, какая-то горсточка. Остальные крестились. Тем не менее оставались еще у этой секты последователи, вот Мешулам и был один из них.

Да, забыл сказать: в некоторых из филактерий упоминались имена Сатаны, демонов или же имя лжемессии Саббатая Цви (да будет имя его забыто!). Будь Мешулам в это время в местечке, его б на куски разорвали. На его счастье, он как раз уехал в Люблин, на раввинский суд. Жена его была простая женщина, из тех, у кого правая рука не знает, что делает левая. В доме перебили все стекла, хотели по бревнышку растащить. Раввин не позволил. В чем, говорит, она виновата, простая душа?

Оказывается, у нас в местечке реб Мешулам был не один такой. Их тут была целая шайка. А как увидели, что их делишки наружу вышли, сразу отправили гонца к Мешуламу в Люблин. И он не вернулся. Все они убежали тогда, покинули своих жен.

— А потом что было? — спросил Залман-стекольщик.

— Крестились все. Католиками стали.

— А жены как же? Им позволено было снова выйти замуж?

* Центральный орган самоуправления в Польше с сер. XVI в. до 1764 г. Название «Ваад четырех земель» закрепилось за ним, поскольку главными считались следующие четыре области (земли): Великая Польша (с центром в Познани), Малая Польша (с главной общиной в Кракове), Червоная Русь (Львовская земля) и Волынь. Реально входящих в Ваад общин было больше.

— Жена выкреста все равно считается замужней женщиной. По-моему, только одна из них получила разводное письмо.

— Разве выкресту позволено развестись?

— По закону он все равно еврей.

Меир Енох прикрыл один глаз, другой уставил в окно, потом сказал: — Что этот царский родственник оговорился, неправильно фамилию произнес, это странно. Наверно, просто нарочно — считал ниже своего достоинства правильно произнести фамилию какого-то там шляхтича польского. А эти, из секты Саббатая Цви, назло все делали. Это не ошибки. Это описки по злему умыслу. А вот я знаю историю о праведной, хорошей ошибке. Есть такое местечко Бечов, маленькое, что точка в молитвеннике. Но жил там раввин, реб Бериш его звали, знаменитый ученый. Ешибот у него был — десять студентов — ни больше и ни меньше. Рабби Бериш мог иметь хоть сотню учеников. Однако же он решил, что десять — как раз достаточно. Если кто из ешиботников решал жениться и собирался уехать из Бечова, то за свободное место начиналась прямо драка. Богатые евреи со всей Польши съезжались в Бечов, чтобы приглядеть достойного жениха для дочери из учеников рабби Бериша. Я тогда еще мальчишка был. А лучшим из учеников рабби Бериша был Габриель Жаковер, сирота. Очень он любил рабби Бериша, а учился с таким рвением, что и помыслить не мог расстаться с учителем и покинуть Бечов. Так что о браке на стороне не могло быть и речи. Бечов — бедное местечко. Только один богач там был, реб Хаим Пинчевер. Он и сам был

учен. Говорили, что у него есть даже книги в шелковых переплетках. Хаим Пинчевер тоже когда-то учился у Бериша. Была у него единственная дочь. Ни один из сыновей не дожил до совершеннолетия, и не осталось наследника у Хаима Пинчевера. Габриеля обручили с дочерью реб Хаима, и весь Бечов плясал у них на свадьбе. Ясное дело, теперь, когда ни умри реб Бериш, хоть через сто лет, его место займет Габриель.

Много лет подряд до этого рабби Бериш писал комментарий, но книгу издавать не хотел. Мол, обойдутся и без моих каракулей, так он говорил. Было ему уже около шестидесяти, и ученики его настаивали, что надо издать хоть одну книгу. После долгих споров и разговоров реб Бериш все же согласился составить книгу и включить туда такие комментарии, которые сам ставил достаточно высоко. Несколько лет ушло, пока обсуждали, что стоит включать, а что — нет. А дальше как быть? Ни в Бечове, ни поблизости типографии не было. А рабби Бериш страшно боялся ошибок и опечаток.

Реб Бериш уже потерял зрение и мог учить лишь тому, что знал на память. Габриель помогал ему каждый день в ешиботе и переписывал все, что требовало переписки. Наконец работа была закончена. Так уж случилось, что не было ни одной печатни ближе, чем в Варшаве. И вот настал час, когда рабби Бериш вручил рукопись Габриелю: отведи ее печатнику и следи, чтобы — упаси Боже! — никакая ошибка или опечатка не вкралась туда. Тот клятвенно обещал, что прочтет набор не менее десяти раз.

Деньги на дорогу дал тесть, и Габриель отправился в Варшаву. Это сейчас сел на поезд и по-

ехал, а тогда... Поехать в Варшаву было все равно, что отправиться в Землю Обетованную. Всю дорогу Габриель ни на минуту не выпускал рукопись из своих рук. В Варшаве бывший ученик рабби Бериша поселил Габриеля у себя. Там он прожил несколько месяцев. Габриель перестал изучать закон и тратил все дни, а иногда и ночи, на типографию. Как только следующая страница была готова, перебирал каждую букву, будто это были золотые дукаты. Кому понравится, если автор — или вот теперь это был Габриель — во все суётся? Печатник сердился, ворчал, насмехался, устраивал разные каверзы. Но Габриель не сдавался: все сносил, не жаловался, ни на что не обращал внимания. Когда книга была готова, он снова перечитал все, от слова до слова. Не смог найти ни одной ошибки и гордый, довольный собой вернулся в Бечов.

Приехал в Бечов и вручил книгу рабби. Тот взял, подержал ее на вытянутой руке, будто взвешивал. Рабби любил пошутить. Вот он и говорит: должно, хорошо будет гореть в печке, когда Мессия придет. Он взял лупу, мощную лупу, и начал листать страницы, читать строку за строкой, приговаривая: «О чем он там болтает, этот автор? Что хочет? Зачем наказывал эту чушь?»

Вдруг он замолчал и аж побелел. Поднял брови и обратился к Габриелю: «Ты хочешь стать рабби? Сапожником тебе только быть!» О ужас! Он нашел ошибку, грубую ошибку.

Но тут же ему стало неловко. Кругом стояли ученики. А он при людях так опозорил молодого человека. Словхватился и стал извиняться: говорить, что ничего не случилось, никто еще не умер от ошибок. Но Габриель был сокрушен совершенно.

Онемел прямо. Когда ушли посторонние, остались только учитель и ученик, рабби поблагодарил Габриеля, даже поцеловал в лоб. Габриель пообещал рабби, что не примет случившегося близко к сердцу и придет в ешибот на следующий день.

Габриель явился к рабби сразу же по приезде в Бечов, не заглянув домой, не повидавшись с женой. Тесть и теща ужасно рассердились. Как можно так надолго оставлять молодую жену? Она же прямо изнывает без него, места себе не находит. А теперь, когда он вернулся, следовало сначала появиться дома! Они собирались обрушить на него упреки и обвинения, но когда он явился домой, все упреки застряли в горле. За полчаса, что он провел у рабби, Габриель совершенно переменялся. На нем лица не было. Желтый, как воск. Будто помирать собрался. Семья и все домашние очень быстро узнали, что произошло. Город ходуном ходил от разговоров. Ну ладно, пусть. Он вернулся же, повзрослел. Что он такого сделал, в конце концов? Ша. Хватит. Пусть уже будет конец. Не убил же он никого.

На следующее утро, когда все в доме поднялись, выяснилось, что Габриель исчез. Он ушел прямо посреди ночи, взяв с собою лишь талес и филактерии. Кто-то из поляков случайно видел, как он шел по мосту, ведущему из местечка.

Можете себе представить, что творилось в Бечове? Отправили гонцов: разыскать Габриеля и вернуть! — но, увы, его не нашли. Разослали письма его родственникам. А Габриель как в воду канул. Рабби Бериш так расстроился, что отменил занятия и запер ешибот. Доселе никогда с ним такого не случалось. Он не верил в пользу поста,

а теперь стал поститься каждый понедельник и четверг.

Прошел год. А покинутая жена? Она, должно быть, подавлена, не следит за собой и только плачет. Но жена Габриеля оставалась бодрой и веселой. Помогала матери по дому и отцу в его делах. Подзревали: наверно, она что-то знает, но обещала хранить секрет. А вот что было на самом деле. Настал день, и Габриель появился в местечке, одетый как мастеровой, с узелком за спиной. На сей раз он пришел прямо домой. Дверь открыла теща. Когда она увидела зятя, запыленного, с мешком, то так громко закричала, что переполошила всех соседей. Габриель сказал: «Рабби велел мне стать сапожником, и вот я выполнил это».

В мешке оказались обувные колодки и сапожный инструмент. В ту ночь, прежде чем уйти, он рассказал жене, что собирается сделать, и взял с нее слово никому ничего не говорить. По-другому он никак не мог наказать себя. Габриель ушел в довольно глухое местечко и там выучился сапожному делу. Да, главное забыл: жена его была беременна, и пока Габриеля не было, родила ему сына.

Рабби Бериш сам пришел к Хаиму Пинчеверу и спросил Габриеля: «Как так? Зачем ты это сделал?» Габриель ответил: «Рабби, каждое ваше слово свято для меня. Вы велели мне стать сапожником. И вот я стал».

Рабби Бериш и сейчас не потерял чувство юмора. Он сказал: «Вот счастье-то, что я не приказал тебе стать кормилицей».

Габриель арендовал будку на базаре, сидел там, кроил и шил, забивал гвозди. Реб Хаим Пинчевер хотел устроить развод, но дочь пригрозила, что ес-

ли он это сделает, она бросится в колодец. А любовь между рабби и его учеником нисколько не остыла, а только крепче стала. Днем Габриель работал, а после вечерней молитвы шел к рабби Беришу. Они спорили, обсуждали разное, и часто Габриель в споре побеждал учителя. Вышло так, что пока Габриель обучался ремеслу, он самостоятельно читал Талмуд. И комментарии тоже. Если захочешь, для всего время найдешь.

Рабби Бериш не уставал восхвалять Габриеля, превозносил его, сравнивая с древним Иохананом-сапожником*. Никогда в Бечове не было такого сапожника, как Габриель, говорили люди. Он снимал мерку не один раз, а целых три. Кожа у него была самого высшего сорта. Даже польские паны у него заказывали, прямо бегали за ним, чтоб заказ взял. Рабби Бериш очень страдал от неудобной обуви, в его-то возрасте каково? И вот Габриель сшил ему пару таких туфель, что их можно было надевать — ну прямо как перчатки. И в ешиботе жизнь кипела.

Рабби прожил еще девять лет. Последние годы он совершенно ослеп, и Габриель заменял его, толкуя закон, разрешая все вопросы. Домохозяйка, мясник, да кто бы то ни был — все приходили к Габриелю прямо в сапожную будку за советом, ждали, какое он вынесет решение, и потом все делали по слову его. После смерти рабби Бериша Габриель занял его место. Принял и ешибот, да. Только он велел теперь, чтобы каждый ученик знал какое-нибудь ремесло. А как же его сапожная будка? Члены правления общины собрались и решили:

* Иоханан-сапожник — рабби Иоханан-Гасандлер (букв. «делающий сандалии»), ученый, был учеником рабби Акибы (II в. н. э.).

ладно, пускай он шьет сапоги до конца жизни. Для родных, для близких, для бедняков из дома призрения.

«Да уж, кое-что хорошее случилось-таки из-за ошибки», — сказал Залман-стекольщик.

Меир Енох потер руки: «Нет, не существует, не бывает ошибок. Если что происходит на белом свете, то это по воле высших сил. Где-то там наверху то, что кажется нам ошибкой, — и не ошибка вовсе. Наоборот».

СУББОТА В ЛИССАБОНЕ

Когда один из редакторов в моем американском издательстве случайно услышал, что по дороге во Францию я остановлюсь в Лиссабоне, он сказал: «Я дам вам телефон одного человека. Его зовут Мигел де Албейра. Он будет рад помочь вам, если что-то понадобится». Вроде бы этот Мигел де Албейра имел какое-то отношение то ли к издательскому, то ли к печатному делу, как ему говорили. Мне и в голову не могло прийти, что этот телефон мне пригодится. Все, что нужно, у меня было: паспорт, дорожные чеки. Даже заказан номер в отеле. Однако же редактор записал имя и номер телефона мне в записную книжку, уже до того исписанную, что найти его потом все равно было бы невозможно.

В начале июня, во вторник, наш пароход пришвартовался наконец-то к пристани в порту Лиссабона, и такси доставило меня в отель «Аполло». В холле было тесно от моих соотечественников из Нью-Йорка и Бруклина. Их жены с крашеными волосами, грубо, небрежно наложенной косметикой курили, дулись в карты, хохотали и болтали одновременно. Дочери в коротеньких юбочках составили собственный кружок. Мужчины внимательно изучали «Интернейшнл Геральд Трибьюн». Да, это и есть мой народ, подумал я. Если Мессия придет, то именно к ним — других ведь нет.

Миниатюрный лифт вознес меня под крышу, на последний этаж. Просторная, почти без мебели комната. Каменный пол. Старомодная кровать с высоким изголовьем, изукрашенным всякими завитушками. Я распахнул окно. Черепичные крыши. Багровая луна. Как странно — петух прокукарекал где-то поблизости. Я не слышал петушиного крика бог знает сколько. Его «кукареку» напомнило мне, что я опять в Европе, где мирно сосуществуют старое и новое. Через распахнутое окно повеяло свежестью — ощущение, которое я уже успел позабыть за годы жизни в Америке: пахло Варшавой, Билгораем и еще чем-то, чему нет названия. Стояла такая тишина, что казалось, она сама звенит — но, может, просто звенело у меня в ушах. Чудилось, будто я слышу, как квакают лягушки, как стрекочут цикады.

Я хотел почитать перед сном, но в номере было плохое освещение. Залез в ванну, длинную и глубокую. Вытерся огромным, как простыня, полотенцем. Хотя при входе и висела табличка, что это отель первого класса, мыла и то в ванной не было. Я погасил лампу и улегся. Подушка набита слишком плотно. Через окно смотрят те же звезды, что и тридцать лет назад, когда я уезжал в Нью-Йорк. В голову лезли мысли о многочисленных постояльцах, которые тут жили до меня. Кто они, эти мужчины и женщины, что спали на этой широченной кровати, а некоторые, может, и умерли здесь? Как знать, а вдруг их души или какие-то другие следы их бытия витают здесь? В ванной что-то булькнуло. Тяжелое постельное белье потрескивало. Одинокий москит вился и жужжал надо мною, не собираясь угомониться, пока не напьется моей крови. Я лежал не в состоянии за-

снуть и как всегда ожидая прихода моей давно умершей любимой.

Около двух я наконец-то забылся сном. Разбудил меня утром петушиный крик — кукарекал тот самый петух (я запомнил его). Внизу уже шумел уличный базарчик. Там продавали овощи, фрукты, зелень, кур. Все так знакомо: так же кричали, торговались, переругивались на базаре Яноша и в Галах Мировских*. Почудилось, будто я ощущаю запах конского навоза, молодой картошки, недозре-
лых яблок.

Я хотел остаться в Лиссабоне до воскресенья, но оказалось, что мой агент в Нью-Йорке зарезервировал номер в отеле лишь до пятницы, на два дня. Американцы все прибывали и прибывали. Портье сказал, что я должен освободить номер в пятницу до полудня.

Я попросил его подыскать мне что-нибудь в другой гостинице, но он утверждал, что, насколько ему известно, все отели в Лиссабоне переполнены. Он уже пытался подыскать что-нибудь для других постояльцев, но безуспешно. Холл был забит багажом, гомонили американцы, итальянцы, немцы — каждая группка шумела и переговаривалась на своем языке. Не смог я получить и столик в ресторане. Никому ничего не нужно: ни я, ни моя чековая книжка. Служащие смотрели с холодным безразличием: будь их воля, я бы мог остаться и на улице.

Вот тут-то я и вспомнил про редактора, который записал некую фамилию в мою записную книжку. Проискал добрых полчаса, а найти никак не мог.

* Галы Мировские — большой крытый рынок в еврейском квартале Варшавы.

То ли запись таинственным образом исчезла, то ли он не записал ничего? В конце концов я посмотрел на форзац. Там-то и было все записано! Я поднялся в номер, снял телефонную трубку, и телефонистка ответила. Попросил соединить меня, но она дала не тот номер. Кто-то ворчал не очень разборчиво по-португальски, а я извинялся по-английски. После нескольких неудачных звонков я наконец попал куда следует. Какая-то женщина пыталась, буквально по слогам, что-то мне объяснить на португальском. Потом на ломаном английском она дала мне все же номер телефона, по которому я могу сейчас застать сеньора де Албейру. И снова меня соединили неправильно. Я уже сердился на Европу, которая и по-старому не живет, и по-новому не умеет. Во мне проснулся американский патриотизм, и я поклялся себе: все, что здесь заработаю, потратить только в Америке, все, до единого пенни. Снова и снова пытался я дозвониться до сеньора де Албейры. Молил Бога об успехе. Как всегда бывает со мной в трудную минуту, дал обещание потратить деньги на благотворительность.

Вот, наконец-то! Мигел де Албейра говорил на таком английском, что я едва мог его понять. Он сказал, что редактор написал ему и он может приехать прямо сейчас. Я возблагодарил Провидение, редактора и португальца Мигела де Албейру, который готов в разгар рабочего дня бросить все дела и приехать ко мне только потому, что получил рекомендательное письмо. Такое возможно лишь в Европе. Ни один американец, в том числе и я, ничего подобного не сделал бы.

Долго ждать не пришлось. В дверь постучали. Вошедший выглядел лет на сорок. Худощавый, смуглолицый, с высоким лбом и впалыми щеками.

На первый взгляд в нем не бросалось в глаза ничего особенного. Он мог быть испанцем, итальянцем, французом или даже греком. Зубы требовали внимания дантиста. Одет он был в обычный буднич­ный костюм, а галстук на нем — такой можно увидеть в витринах дюжины городов. Руку протянул на европейский манер — почти без пожатия. Услыхав о моих неприятностях с номером в отеле, он сказал:

— Не волнуйтесь. В Лиссабоне достаточно свободных номеров. Если же дела обстоят хуже, чем я думаю, то милости просим ко мне. А пока пойдемте и вместе пообедаем.

— Тогда я вас приглашаю.

— Вы меня? В Лиссабоне хозяин я. А в Нью-Йорке вы меня пригласите.

Перед отелем стоял автомобильчик — маленький и потрепанный, какими пользуются большинство европейцев. На заднем сиденье, среди картонных коробок и старых газет, стояла банка с краской. Я сел рядом с хозяином автомобиля. Сеньор Мигел де Албейра выказал необыкновенное искусство маневрирования своим крохотным авто среди беспорядочного движения, усложненного к тому же полным отсутствием светофоров на узких, извилистых улицах, идущих то вверх, то вниз мимо домов, которые, видно, стояли тут еще до землетрясения 1755 года*. Автомобили и не думали давать нам дорогу. Пешеходы же во все не спешили перейти улицу. Там кошка, тут собака — спокойно расположились отдохнуть прямо посреди мостовой. Сеньор де Албейра редко поль-

* Землетрясение 1755 года в Лиссабоне отличалось необычайной силой. Оно сопровождалось пожаром и наводнением. Был разрушен практически весь город.

зовался сигналом, ни разу не вспыхнул. Пока мы ехали, он расспрашивал меня о дальнейших планах, поинтересовался, когда и почему я стал вегетарианцем и употребляю ли в пищу яйца и молоко. Он показывал по дороге памятники, старинные здания, церкви в Алфаме, самом старом районе Лиссабона. Наконец мы въехали в улочку, где едва мог протиснуться один автомобиль. Неприбранные женщины, старики сидели перед раскрытыми дверями домов. Замурзанные ребяташки возились в грязи. Голуби клевали с земли хлебные крошки.

Сеньор де Албейра остановился во дворике. Вышел. Я последовал за ним. Снаружи это напоминало третьеразрядную забегаловку. Мы вошли и оказались в просторном, хорошо освещенном зале. Столы были расставлены очень удобно, даже с некоторой элегантностью и шиком. По стенам на полках стояли оплетенные фляги с вином, самой разнообразной формы, довольно причудливой и забавной. Сеньор де Албейра проявил, я бы сказал, преувеличенное внимание к моей диете. Люблю ли я сыр, грибы, цветную капусту, помидоры? И какой салат? А вино? Красное или белое? Я всячески отбивался и пытался объяснить, что не надо так хлопотать: ни обо мне, ни о моей диете. В Нью-Йорке я сажусь на высокий табурет, и через десять минут мой ленч окончен. Но сеньор де Албейра стоял на своем. Он заказал настоящий обед, а когда я попытался заплатить по счету, оказалось, что об этом уже позаботились.

В пятницу, в одиннадцать утра, сеньор де Албейра подъехал на своем крошке-авто к отелю, помог погрузить вещи и перевез меня в маленькую гостиницу, окна которой выходили в парк. В номере был балкон, а стоило это вполтину меньше,

чем в «Аполло». Полночи пролежал я без сна, пытаясь постигнуть, почему совершенно незнакомый лиссабонец выказывает столько внимания и доброты еврейскому писателю из Нью-Йорка.

Нет, сеньору де Албейра не было никакой корысти от моего пребывания в Лиссабоне. Конечно, он был связан с нашим издательством, но мои книги появились на португальском в Рио-де-Жанейро, а не здесь. Редактор встретил его случайно, никаких дел с ним не имел. Насколько я мог понять, Мигел де Албейра был не слишком богат. Служил в двух местах, потому что издательским делом много не заработаешь. Жил он в старом доме, с женой и тремя детьми. Жена преподавала в школе. Он читал мои книги в английском переводе, но это еще не достаточный повод для столь щедрого гостеприимства. Сказал между прочим, что приходится иметь дело с авторами, и он не слишком высокого мнения о них.

В субботу я собирался поехать на автобусную экскурсию. Но сеньор де Албейра настоял на том, что сам будет моим гидом. Приехал в гостиницу утром и возил меня по городу несколько часов. Показывал разрушенные замки, старые церкви, парки со столетними деревьями. Без запяжки перечислял названия деревьев, экзотических цветов и птиц. Проявил прекрасное знание истории Испании и Португалии. Время от времени он начинал задавать вопросы: какая разница между идиш и ивритом? Почему я не поселился в Израиле? Он был заинтригован моим еврейством. Есть ли у меня своя синагога? Связано ли с религией мое вегетарианство? Нелегко было объяснить свое отношение к еврейству сеньору де Албейра. Не успевал

я ответить на один вопрос, как тут же следовал другой. И разговаривать с ним было трудно, потому что я плохо понимал его английский, несмотря на богатую лексику. Он сразу же сказал, что я приглашен на обед к нему домой и приглашает меня вся семья. Когда же я захотел остановиться, чтобы купить в дом подарок, сеньор де Албейра всячески сопротивлялся. Я все же сумел купить в «Синтра» два бронзовых подсвечника, как он ни протестовал. С этим подарком мы и явились к нему домой в семь часов.

Мы поднялись по узеньким щербатым ступенькам и попали в дом, который когда-то был дворцом. А теперь здесь все сыпалось. Тяжелая, украшенная лепниной дверь открылась, и передо мною предстала женщина: в черном, с оливково-смуглой кожей, с волосами, стянутыми в тугий узел. Она, должно быть, была очень хороша в молодости, да и сейчас были видны следы былой красоты. Руки загубели от тяжелой домашней работы, никакой косметики, пахло от нее луком и чесноком. Платье ниже колен, длинные рукава, высокий ворот. Когда я вручил свой презент, она залилась краской, как это случалось с женщинами во времена моего детства. Черные глаза выражали застенчивость и смущение — а я и не знал, что такие вещи еще существуют на белом свете. Она напомнила мне Эстер, мою первую любовь — девушку, которую я не посмел ни разу поцеловать. Ее убили нацисты в 1943 году.

Сеньор де Албейра представил мне остальных членов семьи: девушку лет восемнадцати, юношу — годом моложе, и еще одного — тринадцатилетнего подростка. У всех — черные глаза, оливково-смуглая кожа. Вошла светловолосая девушка. Сеньор де Албейра сказал, что это не его дочь. Каждый год его

жена берет в дом бедную девушку из провинции, которая приезжает учиться, — в точности, как в мое время брали к себе бедного юношу, приехавшего в иешиву. Боже милостивый, видно, время остановилось в этом доме. Молодежь вела себя невероятно тихо, всячески выказывая почтение к старшим, как и полагалось во времена моей молодости. Похоже, сеньор де Албейра был в своем доме полноправным хозяином. Дети слушались его с полуслова. Дочь принесла мне медный тазик — помыть руки.

Семейство де Албейра приготовило для меня вегетарианскую трапезу. Они, по-видимому, связывали мое вегетарианство с еврейскими законами о пище. На столе — нарезанный хлеб, графин с вином и бокал вроде того, какой мой отец использовал для благословения вина. Царица-суббота, покинутая много лет назад, настигла меня здесь, в столице Португалии, в католическом доме.

За столом дети не проронили ни слова. Сидели молча, прямо и, хотя ни слова не понимали по-английски, слушали наш разговор очень почтительно. Мне припомнилось наставление матери: «Детям следует молчать, когда говорят старшие». Девочки помогали сеньоре де Албейра. А Мигел де Албейра продолжал допрашивать меня и за столом о моем еврействе. Чем ашкеназы отличаются от сефардов? Отлучают ли евреев от общины, если они возвращаются в Германию? Существуют ли христиане-израелиты? Мне представлялось, что таким образом сеньор де Албейра пытается искупить грехи Торквемады*, несправедливости, совершенные инквизицией, деяния португальцев-

* Торквемада (1420–1498) — глава испанской инквизиции, великий инквизитор Кастилии и Арагона с 1482 г. Его бабушка была из марранов (см. Глоссарий, с. 357).

фанатиков. Мои ответы он переводил жене на португальский. Мне уже было неловко: казалось, будто я обманываю этих людей, притворяясь религиозным евреем. Вдруг сеньор де Албейра водрузил на стол кулак и торжественно произнес:

— Я — еврей!

— О!

— Погодите-ка!

Он поднялся и вышел. Вскоре вернулся с миниатюрной шкатулкой черного дерева, старинной работы, с двумя узорными дверцами. Открыл и вынул книжечку в деревянном переплете. Это оказался старинный манускрипт, написанный еврейскими письменами, шрифтом Раши*. Мигел де Албейра сказал:

— Один из моих предков написал это. Шестьсот лет назад.

За столом наступила полная тишина. Я принялся бережно переворачивать страницы. Они сильно выцвели, но текст еще можно было разобрать. Сеньор де Албейра подал мне лупу. Это были «Респонсы»**. Я читал о покинутой жене, мужа которой нашли в реке с отъеденным носом, о мужчине, который хотел жениться на служанке, на бесприданнице, заплатив ей мелкую монетку, но,

* РАШИ — аббревиатура от рабби Шломо Ицхаки (1040–1105). Крупнейший средневековый толкователь Талмуда, а также один из видных комментаторов Библии; духовный вождь еврейства в Северной Франции. По преданию, Раши зарабатывал на жизнь, занимаясь виноградарством, и одновременно был раввином в г. Труа. Большинство комментариев и толкований священных текстов печатается специальным курсивом (шрифтом Раши).

** «Респонсы» — особый жанр раввинистической литературы: ответы на вопросы общин или отдельных лиц по вопросам еврейского права. Ответы составляются признанными учеными. Вопрос повторяется перед ответом и потом сохраняется вместе с ним.

прежде чем он произнес: «Ты посвящена мне согласно закону Моисея и Израиля...», она вызывающе бросила деньги ему в лицо. Каждое слово, каждое изречение на старинном пергаменте представлялось мне знакомым до тонкостей. Я изучал это по другим книгам. И ошибки, сделанные переписчиком, были те же самые.

Вся семья глядела на меня и ждала. Ждала моего приговора. Это было что-то из другой жизни — как иероглифы или глиняные таблички. Сеньор де Албейра спросил:

— Вы это понимаете?

— Боюсь, не все.

— Это написал один из моих предков. О чем это?

Я попытался объяснить. Он слушал, кивал, переводил мои слова. Столько времени спустя после исчезновения марранов сеньор де Албейра продолжал их традицию — традицию тех испанских и португальских евреев, которые номинально приняли католичество, но тайно исповедовали иудейство. У него были личные отношения с еврейским Богом. И вот теперь этот человек пригласил в дом еврея, который еще знает святой язык и может разобрать написанное его предком. Приготовил для него субботнюю трапезу. В стародавние времена, это я хорошо знал, хранить такую книгу было смертельно опасно. Одна лишь строчка, написанная еврейскими письменами, могла привести человека на костер. И все же этот знак прошлого сберегался веками.

— Мы не чистокровные евреи. Мы уже принадлежим к католическому роду. Однако же что-то от еврейства живет в нас. Какие-то искорки. Когда я женился, то рассказал жене о своих корнях. Подросли дети, и им я рассказал свою генеалогию. Дочь

хочет съездить в Израиль. Я и сам бы не прочь поселиться там, но что я буду делать? Я уже слишком стар, чтобы жить — как это называется? — в кибуце. Но дочь может выйти замуж за еврея.

— Евреи в Израиле не столь уж религиозны.

— А почему? Да-да, я понимаю.

— Современная молодежь — скептики.

— Да уж. Но я ни за что не расстанусь с этой книгой. Как это вышло, что столько народов исчезло, рассеялось по белу свету, а евреи все живут, да еще и вернулись в свою страну. Не есть ли это доказательство библейских пророчеств?

— По-моему, да.

— Шестидневная война, это чудо, просто чудо. Наше издательство выпустило книгу об этом, и она хорошо раскупалась. В Лиссабоне мало евреев. Только бежавшие от Гитлера, ну и еще кое-кто. Здесь была делегация из Израиля.

Старинные часы с тяжелым маятником пробили девять. Девочки поднялись и тихонечко унесли тарелки. Один из мальчиков попрощался со мной за руку и вышел. Сеньор де Албейра убрал книгу в футляр. Уже стемнело, но электричество не зажигали. Я догадался, что это из-за меня. Хозяева, видимо, знали откуда-то, что нельзя зажигать свет, пока на небе не появятся три звезды. Комнату заполонили тени. Тени прошлого. Тоска и томление стародавних субботних сумерек настигли меня здесь. Припомнилось, как молилась моя мать: «Бог Авраама, Бог Исаака...»

Мы еще помолчали немного. При сумеречном освещении женщина казалась моложе и еще больше походила на Эстер. Черные глаза ее глядели на меня в упор, вопрошающе, с недоумением и смущением, будто она тоже узнала во мне кого-то из своего про-

шлого. Господи Боже, да это же Эстер, те же черты, те же волосы, лоб, нос. По телу пробежала дрожь. Старая моя любовь пробудилась. Эстер вернулась. Только теперь до меня дошло, зачем я решил остановиться в Португалии и почему сеньор де Албейра принял меня столь гостеприимно. С помощью этой пары Эстер устроила свидание со мной.

Я трепетал, я был смущен и испытывал смирение, покорность перед Провидением, которое даровало мне это счастье. Трудно было сдержаться, чтобы не подбежать к ней, не упасть на колени, не покрыть ее поцелуями. Я сообразил, что еще толком и не слышал ее голоса. В этот момент она заговорила, и это был голос Эстер. Она спросила по-португальски, но интонация, тембр голоса — в точности, как у Эстер. Я понял, о чем она спрашивает еще прежде, чем прозвучал перевод:

— Вы верите в воскресение мертвых?

И услышал свой ответ:

— Они не умирают никогда.

ФАТАЛИСТ

В маленьком местечке если и дадут кому прозвище, то что-нибудь попроще: Хаим-Пупок, Екеле-Пирожок, Сара-Сплетница, Гитель-Утка и все в этом роде. Но однажды в Польше, в маленьком городишке, куда меня занесла судьба в дни молодости — я был учителем, — услышал я, как кого-то называют: Беньямин-Фаталист. Меня разобрало любопытство. Как слово «фаталист» забрело сюда? В это глухое местечко? И что за человек такое прозвище заработал? Я преподавал иврит в молодежной сионистской организации, и ее секретарь все мне рассказал.

Человек, о котором идет речь, был нездешний, пришел откуда-то из Курляндии. Он появился в 1916 году и дал объявление, что преподает немецкий язык. Пока длилась австрийская оккупация, от учеников отбоя не было. В Курляндии говорят по-немецки, и у Беньямина Шварца — так его звали — хватало уроков. Тут секретарь поглядел в окно и воскликнул: «Да вот он идет!»

Я выглянул. По улице шел человек небольшого роста, смуглый, с закрученными усиками, уже вышедшими из моды, в котелке, с портфелем. Когда австрияки ушли, продолжал секретарь, немецкий уже стал никому не нужен, и поляки дали Шварцу работу в городском архиве. Если кому-то требовалось свидетельство о рождении, шли к ар-

хивариусу. У него прекрасный почерк. Польский он выучил и теперь был кем-то вроде городского стряпчего.

Секретарь сказал: появился, будто с луны свалился. Ему уж двадцать с лишком, а он все не женат. У нас тут есть молодежный клуб, и когда в городе появляется новый человек, образованный, конечно, мы устраиваем вечер-встречу с ним. Его мы тоже пригласили в наш клуб и устроили вечер вопросов и ответов. Записки клали в ящик, а его попросили тянуть и отвечать. Одна девушка спросила, верит ли он в предопределение. Вместо того чтобы отделаться несколькими словами, Шварц проговорил целый час. Заявил, что в Бога не верит, но знает, что все предопределено. Если кто ест луковицу на ужин, значит, и это предопределено, он и должен есть лук. Если идете по улице, попал под ногу камень, споткнулись, значит, судьбой предназначено здесь упасть. И то и другое было предопределено миллионы лет тому назад. Шварц сказал, что он фаталист. Что, видимо, и в местечко наше попасть было ему предопределено, хотя внешне это выглядит случайностью.

Он говорил долго, даже слишком. Но и после ему задавали вопросы. «Что же, вы вообще отрицаете случай?» — спросил кто-то. «Нет ничего случайного». — «Если так, — возразил другой, — зачем тогда работать, учиться? Зачем иметь профессию? Зачем рожать детей? Жертвовать деньги на сионизм и агитировать за еврейское государство?»

«В Книге судеб уже все записано — что и как должно быть, — отвечал Бенъямин. — Если кому судьбой предназначено сначала открыть лавочку, а потом разориться, так и будет. Все усилия самому добиться чего-то, что-то изменить обречены на не-

удачу. Свободный выбор — только иллюзия». Дебаты продолжались за полночь, да и после все не могли успокоиться. Вот после этого и прозвали его фаталистом. Появилось новое словечко. Каждый знал теперь, что такое фаталист — даже шамес в си-нагоге, служка в богадельне.

Казалось бы, после этого вечера все так устали, что с радостью вернутся к обычным житейским проблемам. Да и сам Беньямин сказал, что это не такой вопрос, который можно решить с помощью логических рассуждений. Или ты веришь в это, или нет. Но как-то так вышло, что всех наших захватила эта проблема. Мы устраивали собрания: то о ви-зах в Палестину, то об образовании, но каждый раз все сводилось к обсуждению все той же проблемы — есть предопределение или нет. Как раз в это время в нашей библиотеке появился экземпляр романа Лермонтова «Герой нашего времени» в переводе на идиш, в котором выведен фаталист. Роман этот прочли все, и были среди нас такие, кто хотел бы испытать судьбу. Мы уже знали, что такое «русская рулетка», и нашлись бы желающие сыграть, будь у них револьвер. Но револьвера ни у кого из нас не было.

А теперь послушайте-ка. Была у нас девушка. Геля Минц. Умница, красавица, активистка нашего движения, дочь состоятельных родителей. Ее отцу принадлежала самая большая бакалейная лавка в городе. От Гели у нас вся молодежь без ума. Но наша Геля была переборчива. В каждом она находила какой-нибудь недостаток. И язычок острый, как бритва. Скажешь что-нибудь, а она так отбредет, только диву даешься. Кого хочешь выставит в дурацком виде. Фаталист наш влюбился в нее сразу как приехал. Ни скромности, ни застенчивости

в нем ни на грош. Вот раз приходит как-то вечером и говорит ей: «Геля, знаешь, так уж судьба распорядилась, что ты за меня замуж выйдешь, так ни к чему откладывать неизбежное».

Громко так сказал, чтобы каждый слышал. Все сразу замолчали. Геля отвечает: «Судьбой предназначено, чтобы я сказала вам, что вы идиот и наглец, и придется вам простить меня, потому что так уже записано в Книге судеб много миллионов лет назад».

Незадолго до того Геля была просватана за молодого парня из Грубешова, тамошнего председателя Поалей-Цион*. Свадьбу отложили на год, потому что у жениха была старшая сестра, которую надо было выдать замуж прежде. Наши парни стали укорять Шварца, а он и говорит: «Раз Геля должна быть моей, она моя и будет», а Геля в ответ: «Озера Рубинштейна я буду, а не твоя. Так судьба хочет».

Однажды зимним вечером вновь вспыхнули споры о преопределении. Геля и скажи вдруг: «Пан Шварц, или пан фаталист, если вы и в самом деле верите в то, что говорите, и готовы даже сыграть в русскую рулетку, могу вам предложить игру похлеще».

Надо сказать еще, что тогда железная дорога не проходила через наш городок. Лишь в двух верстах от него, и поезда там не останавливались. Только проносился мимо экспресс «Варшава — Львов». Геля предложила фаталисту лечь на рельсы за несколько мгновений до того, как по ним пройдет поезд. Она так это аргументировала: «Если

* Поалей-Цион («трудящиеся Сиона») — общественно-политическое движение, соединяющее политический сионизм с социалистической идеологией. Возникло в России в конце XIX в.

вам назначено жить, останетесь в живых, и бояться нечего. Но если вы не верите в свой фатализм, то...»

Все расхохотались. Ясно было, что под каким-нибудь предлогом фаталист откажется. Лечь на рельсы — верная смерть. Но фаталист сказал: «Как и русская рулетка, это игра, а значит, должен быть и другой, кто тоже рискует. Если я лягу на рельсы, вы должны поклясться всем святым для вас, что разорвете помолвку с Озером Рубинштейном и выйдете за меня, коли я останусь жив».

Наступила мертвая тишина. Геля побелела как мел и говорит: «Хорошо. Я согласна на ваши условия». — «Поклянитесь». Геля дала ему руку и произнесла: «У меня нет матери. Она умерла от холеры. Но клянусь своей душой, если вы сдержите слово, я свое тоже сдержу. Если же нет, позор на мою голову. — Она обернулась и продолжала: — Вы все тут свидетели. Если нарушу слово, плюньте мне в лицо».

Буду краток. Все было решено в тот же вечер. Поезд проходит там днем, в два часа. Мы должны будем встретиться у железнодорожного полотна в половине второго. И Беньямин докажет нам, в самом деле он фаталист или же только хвастает. Все поклялись, что будут держать в секрете это дело. Ведь если взрослые узнают про такое, скандала не миновать.

Я всю ночь глаз не сомкнул ни на минуту, да и остальные тоже, насколько я знаю. Мы были убеждены, в большинстве своем, что фаталист передумает и вернется. Некоторые надеялись, когда покажется поезд или загудят рельсы, оттащить Шварца силой. И все равно это ужасный риск. Даже теперь дрожь берет, как вспомню.

На следующее утро мы поднялись рано. Я был в таком состоянии, что кусок в горло не лез. Ниче-

го такого не случилось бы, если б все поголовно не начитались Лермонтова. Пришли не все. Только шесть парней и четыре девушки. В том числе и Геля Минц. Похолодало. Стоял морозец. Фаталист был в легком пальто и фуражке. Встретились у дороги на Замостье, уже за городом. Я спросил: «Шварц, как тебе спалось?» А он в ответ: «Как всегда». По нему нельзя было сказать, что он испытывает. А у Гели в лице ни кровинки, будто после тифа. Подхожу к ней и спрашиваю: «Зачем ты его посылаешь на верную смерть?» А она: «И вовсе я его не посылаю. У него было время передумать. Да и сейчас еще есть».

Сколько мне суждено жить на свете, этот день не забуду никогда. И никто из нас не сможет забыть. Мы шли, и все это время валил снег. Подошли к путям. Я подумал, может, из-за снега поезд не пойдет, но нет, пути уже расчистили. Мы пришли слишком рано, около часа надо было подождать, и, поверьте, это был, наверно, самый длинный час в моей жизни. Минут за пятнадцать до того, как пройти поезду, Геля и говорит:

«Шварц, я передумала и не хочу, чтобы вы из-за меня расставались с жизнью. Давайте забудем про все про это, и простите меня». А фаталист глядит на нее и спрашивает: «Что это вдруг? Любой ценой хочешь получить парня из Грубешова? Ха-ха-ха!» — «Нет, меня волнует не парень, а ваша жизнь. Я слыхала, у вас есть мать, и я не хочу, чтобы она из-за меня потеряла сына». Геля едва смогла выговорить эти слова. Говорит, а ее трясет. Фаталист продолжает: «Если вы не отказываетесь от своего слова, то и я сдержу свое. Только одно условие: отойдите-ка подальше, а то еще вздумаете оттащить меня в последний момент. — И восклик-

нул: пусть каждый сделает двадцать шагов назад!» Он будто гипнотизировал нас. Мы и в самом деле попятнулись. Он опять закричал: «Если кто вздумает оттащить, схвачу за полу, и он разделит мою судьбу!» Все поняли, до чего это страшно. Бывает, кто-то пытается спасти утопающего, а тот хватается за спасителя и тащит его на дно.

Мы отошли, рельсы зазвенели, послышался гул, раздался гудок паровоза. Мы все, как один, взмолились: «Шварц, не делай этого! Шварц, сжался!» Как мы ни взывали, он лег поперек рельсов. Там всего одна колея. Одна из девушек упала в обморок. Не было сомнения, что через секунду-другую мы увидим, как человека разрезало пополам. Не могу передать, что я пережил за эти мгновения. Кровь буквально закипала в жилах от возбуждения. Тут заскрежетали тормоза, раздался глухой звук, поезд остановился. Не более чем в метре от фаталиста. Будто в тумане я видел происходящее: машинист и кочегар спрыгнули с паровоза, они ругались и оттаскивали Шварца прочь. Пассажиры повысыпали из вагонов. Из нашей компании некоторые убежали, боясь ареста. Я остался стоять, где стоял, не мог двинуться с места. Геля подбежала ко мне, обвила руками и разрыдалась. Она глухо выла, как дикий зверь. Дайте-ка мне папиросу... Не могу... Простите меня.

Я достал папироску. У секретаря тряслись руки. Глубоко затянувшись, он произнес:

— Вот уж была история так история.

— Ну и вышла она за него замуж? — спросил я.

— У них четверо детей.

— Может, машинист остановился, чтобы поезд просто шел по расписанию?

— Да, но колеса были всего в метре или полуметре от него.

- Это убедило вас в фатализме?
 - Нет. Я бы не пошел на такое пари за все золото мира.
 - А он? До сих пор фаталист?
 - Да. До сих пор.
 - Мог бы он снова это сделать?
- Секретарь улыбнулся:
- Мог бы. Но только теперь уже не из-за Гели.

ДВА БАЗАРА

Я никогда не знал, как его зовут. На Крохмальной просто говорили «горбун». Мне, мальчишке, и в голову не приходило, что у него есть имя. А жена? Дети? Этого я тоже не знал. Был он маленький, смуглявый, с головой, втянутой в плечи, будто шеи и вовсе нет. Высокий лоб, редкая черная борода, острый нос, вроде как клюв, и круглые желтые совиные глаза. Он торговал подпорченными, подгнившими фруктами у ворот на базаре Яноша. Почему гнилыми? Да потому. Те, что не начали портиться, слишком уж дороги. Богачи здесь не покупают. Их прислуга ходит за фруктами в магазины, где каждое яблоко, каждый апельсин завернуты в папиросную бумагу. Крыжовник, земляника, клубника — в специальных плетеных корзинках, а вишни — одна к одной, как на подбор, уже без черенков, только в рот клади. В таких магазинах хозяева не хватают покупателя за рукав. Они сидят снаружи, толстый зад свисает с табурета, на боку — сумка с деньгами. Переговариваются себе, будто они и не конкуренты вовсе. А некоторые — я сам видел! — даже прикладываются время от времени к своему товару.

Они исправно платят аренду, платят налог в городскую казну. Кое-кто из торговцев занимается и оптовой торговлей. Поднимаются рано поутру, когда в город въезжают груженные фрукта-

ми подводы. Поговаривали, что у них свой «синдикат», и посторонним туда хода нет. Если посторонний пытался разрушить эту круговую поруку, его товар обливали керосином. Если же не понимал намека, то мог найти смерть в куче мусора.

Торговля отборным товаром располагает к неторопливости, идет без лишней суеты, без спешки. Но продавать подпорченные фрукты — это надо уметь. Прежде всего, товар должен быть дешевле, чем у оптовика. Во-вторых, его следует распродать в тот же день. А еще постоянная головная боль — как уберечься от полиции. Даже если городской подкуплен, есть и другие, от каждого только и жди беды. Подкрадется потихоньку и носком сапога поддаст корзину — весь товар на земле валяется.

Вот такие торговцы фруктами таскаются со своей дешевкой с раннего утра и до позднего вечера. Чтобы расхваливать товар, у них даже выработалась своя терминология: помятый, раздавленный виноград они называли «вино», размякшие апельсины — «золото», подпорченные помидоры — «кровь», а сморщенные усохшие сливы — «сахар». Можно было оглохнуть от их воплей. Продавцы сыпали проклятиями, клялись страшными клятвами: «Пусть небо покарает меня, если вру», «Чтоб мне не дожить до часа, когда я поведу свою дочь под венец», «Пусть мои дети останутся сиротами», «Чтоб трава не росла на моей могиле». Считалось, кто громче кричит, громче расхваливает свой товар, у того торговля идет лучше: он продает быстрее и за большую цену. К вечеру надо было все распродать, хоть тресни. Изю дня в день велась борьба с мелкими воришками, с прожорливыми «пробователями». Надо было обладать решительностью, напором, да и крепким горлом — не дай бог лишиться голоса. Надо иметь

также надежду к концу дня заработать хоть грошик. А кто выторговывал больше — это уже выскочка. Как некоторые из них ухитрялись иметь достаток, даже богатели, — уму непостижимо.

Горбун был одним из них. Кричать у него не было сил, потому что у горбунов слабые легкие. Браниться да проклинать — это женщинам сподручнее. А горбун воспевал достоинства своего товара на разные лады: то грустная мелодия, то радостная, то на мотив праздничных песнопений, то слышался поминальный мотив. А то еще начинает высмеивать свой товар. И стихи складные, не хуже, чем у бадхена на свадьбе. Если было настроение, мог и поиздеваться над покупателем. Гримасничал, кривлялся, как клоун. Будь это здоровый человек, не калека, посмей он так обращаться с почтенной матерью семейства с Крохмальной улицы, ему бы несдобровать. Нос не сунуть на базар к Яношу после этого. С горбуном же никто не имел охоты связываться. Даже городской, и тот никогда не опрокидывал у него корзинку. Только иногда пнет ногой легонько да скажет: «Нельзя тут торговать».

«Нельзя, нельзя, нет ферзя! А позволено голодать и можно в душу наплевать, да еще трижды на дню, так все живут, так и я живу! Сейчас пойду домой да съем всю эту дребедень! Ура! Ура! Многая лета царю! Закон я уважаю, беру за хвост и провожаю! Ничего я не боюсь, ко всем задом повернусь! Пускай любой Иван меня поцелует...»

Стоило городовому отвернуться, как горбун снова заводил свои витиеватые песнопения, расхваливая товар то так то сьяк: здорово для желудка, хорошо для печени, предупреждает выкидыш, снимает зуд, чесотку и сыпь, хорошо от изжоги, против запоров, против расстройства. Женщины хохотали

и покупали. Прямо рыдали от смеха. Девчушки всплескивали руками: «Мамочка, он такой смешной!» — и дотрагивались до горба — на счастье.

К вечеру, когда все еще кричали, пререкались, проклинали друг друга, горбун уже шел домой с пустой корзинкой и с кошельком, полным грошей, копеек, пятаков, гривенников. Бывало, останавливался у Радзиминской синагоги, где мы с отцом молились. Ставил корзины на лавку, вместо пояса подвязывал веревку, прикладывал пальцы к мутному оконному стеклу и нараспев заводил: «Счастлив тот, кто обитает в доме Твоем...» Забавно было глядеть, как этот насмешник склоняется перед Богом и бьет себя в грудь во искупление грехов. Мне нравилось трогать его весы с заржавевшими цепями. Раз как-то перед Пасхой он пришел к моему отцу, чтобы тот купил у него хомец, как это делает каждый еврей. В доме раввина ему пришлось вести себя прилично. Отец попросил его притронуться к платку в знак доверия: чтобы он мог продать его хлеб и все другое квасное нашему домовладельцу-поляку. Помню, отец спросил, не осталось ли в его доме спиртного: водки, самогону, может, пива. Горбун в ответ криво ухмыльнулся: «Что-нибудь уж всегда найдется».

А в другой раз он пришел в наш дом на свадьбу. Сменил свой латаный-перелатаный пиджак и засаленные, потертые штаны на длинный, до колен, лапсердак, нацепил крахмальный воротничок, манишку. Еще на нем была черная фуражка, на ногах — лакированные штиблеты. Из кармана жилетки свешивалась цепочка от часов. В таком наряде не очень был заметен горб. Он крепко сжал руку жениха и сказал: «Надо думать, меня скоро пригласят на обрезание?» Потом подмигнул пони-

мающе и скорчил гримасу. Даже я, одиннадцатилетний мальчик, не мог не заметить, какой высокий у невесты живот и как он выпирает. Горбун подошел к моему отцу и не преминул сказать: «Рабби, не тяните с церемонией, невесте пора к доктору».

Прошло много лет. Даже не берусь сказать, сколько именно. Я шел вдвоем с моей переводчицей на иврит Мойрой Бажан по Тель-Авиву. На перекрестке, там, где пересекаются Бен-Иегуда и Алленби, я спросил у нее: «Разве поймешь, что это Земля Израиля?» Если бы не еврейские буквы на вывесках, можно было бы подумать, что я в Бруклине: те же автобусы, такой же шум, те же бензиновые выхлопы, даже кинотеатр такой же. Современная цивилизация поглотила всякую индивидуальность. Если на Марсе есть жизнь, надо думать, и там вскоре...

У меня уже не было времени описывать, что будет тогда. Я поглядел направо: передо мной была Крохмальная. Случилось это как-то вдруг. Мираж, что ли, или видение среди бела дня. Узкая улица, вдоль нее лотки, лотки, лотки... С фруктами, с овощами. А еще рубашки, нижнее белье, развеваются юбки. Толпа не прогуливалась, а неистово рвалась вперед. Чудились те же голоса, те же запахи, вообще все было то же самое, только слов нельзя было разобрать. Показалось сперва, что разносчики расхваливают свой товар на идиш, на польском диалекте, как в Варшаве. Но это был иврит. «Что это?» — спросил я переводчицу. Она ответила: «Базар Кармель».

Я попытался было проложить нам путь через это скопище всяческого сброда, и тут случилось еще одно чудо: я увидел горбуна. Он был так похож на того, из Варшавы, что я было подумал, что это он и есть, но только на секунду. Сын его, может? Или внук? Да, но разве горб передается по наследству?

Или сам горбун с Крохмальной воскрес? Я стоял, разинув рот. На этот раз клубника не была подпорчена, но при ярком полуденном освещении казалась раскрашенной. Горбун расхваливал свой товар, распевая на разные лады, — монотонно и в то же время насмешничая, поддразнивая. Желтые глаза его смеялись. Женщины, дети стояли вокруг. Веселились вместе с ним и покачивали головами. То ли одобряя, то ли с укоризной, то ли то и другое сразу. Пока я стоял, глаза, я заметил в сторонке кучку парней, в фуражках с лакированным козырьком, с бляхами на фуражках, в рубашках навывпуск. Что-то вроде варшавской полиции. Они подпихивали, толкали друг друга — как школьники на переменке. Потом прошли сквозь толпу, подошли к горбуну и, не говоря ни слова, принялись передвигать его ящики с клубникой. Это, видимо, была не регулярная полиция, а просто служащие, которые следят за порядком на рынке. Горбун завопил что-то безумное и принялся яростно жестикулировать. Он даже попытался выхватить у парня один ящик, но в это время другой легонько оттолкнул его. Около меня остановился какой-то человек. Мне показалось почему-то, что он говорит на идиш. Я спросил: «Чего они хотят?» «Им кажется, что он занимает слишком много места. Хотят втиснуть еще одного продавца. Черт бы их взял со всеми потрохами», — ответил он.

В этот момент, откуда ни возьмись, появился какой-то человек в красном тюрбане, желтой рубашке, смуглый, прямо как цыган. Пока горбун вопил, подпрыгивал, жестикулировал, человек этот что-то ему в ухо нашептывал. Горбун на время успокоился, слушал, кивал головой, понимающе и деловито. Правда, все еще продолжал протестовать

против несправедливости, которую над ним учинили, но уже тоном ниже и с другим выражением лица. Будто бы ворчит, но при этом извиняется. Казалось, изо рта у него вылетали слова, содержащие то ли угрозу, то ли какое-то предложение, а может, просьбу, извинение. Парни уже смотрели по-другому и пожимали плечами. Будто они уговаривали, а может, утешали друг друга. Тут чернявый советчик снова что-то зашептал горбуну, и теперь уже тот стал выговаривать своим мучителям. Но уже по-деловому. Здесь разыгрывалось какое-то действие, но я никак не мог вникнуть в то, что происходит на моих глазах. Толпа любопытствующих теснила меня к горбуну; все происходило очень быстро, слов я не слышал, будто немой фильм разворачивался передо мной, где актеры только шевелят губами и что-то изображают руками. Вот ребята передвигают ящики, а вот уже ставят назад. Продолжалось это не больше, чем пару минут. Горбун отер пот с лица рукавом, и хотя он еще тяжело дышал, было видно, как он торжествует. То ли его причитания изменили ситуацию? То ли он пообещал что-то? А что с его благодетелем? Появился и исчез, словно и не было вовсе. Если бы такую сцену показали в театре, я бы сказал, что это мелодрама. Но жизнь не смущают подобные несообразности и искусственные на первый взгляд ходы. Я подошел к лотку, хотел купить килограмм клубники, просто ради горбуна, и вдруг забыл, как называется клубника на иврите. Попытался заговорить с ним на идиш, но сразу же понял, что он — сефард. Все, что я мог произнести на иврите: «Кило эхад» — килограмм.

Но прежде, чем я что-либо успел сказать, он уже зачерпнул совочком со дна, где валялись самые мелкие и мятые ягоды. Взвесил так поспешно, будто его

цель — скрыть от меня истинный вес. Я дал банкноту и получил сдачу — лира, пол-лиры, четверть лиры, какие-то гнутые алюминиевые пиастры. Такой скорости обслуживания я не встречал нигде, даже в Нью-Йорке. Пластиковый мешочек оказался у меня в руке как по мановению волшебной палочки.

Только сейчас до меня дошло, что куда-то делась моя переводчица. Я забыл про нее, и она исчезла. Пошел искать, но меня затолкали. Со всех сторон пихались, оглушал резкий пронзительный шум, лязг, гомон толпы. Здесь продавались разные безделушки для туристов и дары земли — лук и чеснок, капуста и грибы, бананы и абрикосы, апельсины и авокадо, персики. Среди всей этой сутолоки попрошайки тянули руку за подаванием. Слепец возносил к небу жалобы, воздевал руки, грозя всяческими карами тем, кого даже Трон Славы не может направить на путь истинный. Йеменит* с белой бородой пророка, в полосатом черно-белом облачении, как в талесе, потрясал кружкой для подавания, надпись на которой разобрать было невозможно. На других улицах царил полуденный покой. Здесь же, на базаре Кармель, жизнь бурлила вовсю.

Раздался привычный с детства звук: я поднял глаза. На кривом балкончике, с отваливающейся, почти облупившейся штукатуркой, почтенная мать семейства выбивала перину столь же истоиво, как это делали на Крохмальной. Нечесанные женщины, полуголые дети глазели из окон с щелястыми ставнями, тарасили глаза, излучающие библейскую скорбь. Тощие голуби сидели на поломанных, кривых жердочках. Потомки тех, что приносили в жертву во времена Храма. Поверх плоских крыш они

* Йеменит — еврей из Йемена.

глядели вдаль — в пространство, которое, быть может, никогда не дождется человека, ожидающего голубя — предвестника Мессии. Может, напротив, это создания, в которых вдохнули жизнь древние каббалисты, создавшие Книгу Творения? Я уже не понимал, где нахожусь — в Варшаве или же в Эрец-Исраэль, в стране, обетованной Господом Аврааму, Исааку и Иакову*, но не сдержавшим Своего обещания? Дул хамсин из Синайской пустыни, просоленный по дороге испарениями Мертвого моря. И тут я наконец увидел переводчицу. Видно, забыв, что она — современная писательница, ученица Кафки, комментатор Джойса, что пишет книгу об Агноне, она стояла у столика, роясь в куче женских тряпок, поглощенная древней женской страстью к бараклу. Вытащила из кучи желтенькую женскую комбинацию и тут же отбросила назад. Выкопала красный бюстгальтер, подержала — и туда же. Выудила черные бархатные штанишки с золотыми звездочками и серебряными искорками, пощупала, приложила к бедру. Я подошел, положил ей руку на плечо и сказал: «Возьми же их, Мойра. Эти трусики были на царице Савской, когда царь Соломон разгадал ее загадки и она выложила перед ним свои сокровища».

* Иаков — сын Исаака и Ревекки, третий после Авраама и Исаака патриарх, праотец израильтян.

Из сборника
КОРОНА ИЗ ПЕРЪЕВ

Из сборника

A CROWN OF FEATHERS

ЛАНТУХ

— Это все они, все лантухи, — сказала тетя Ентл. — На самом деле вреда никакого от них нет. Наоборот. Только все зависит от того, где они живут и с кем дружат.

Тетя Ентл высморкалась в батистовый платочек. Даже если она просто рассказывала какую-нибудь историю, а не читала книгу, все равно: доставала свои очки в медной оправе и тщательно протирала их. Так и сейчас. Затем она покачала головой, и все ее оборки, ленты, вышитые стеклярусом — все, чем был украшен ее чепец, — сразу заколыхалось. Тетя Ентл не приходилась мне кровной родственницей. Она была из простых: предки ее жили на селе — кто держал корчму, иные управляли имением, а кто и молочной торговлей занимался. Да и внешность у нее была как у деревенской: широкие плечи, большая грудь, скуластое лицо. Глаза янтарного цвета — кроткие, как у голубки. Болтуны да сплетники рассказали дяде, когда он собирался жениться на ней, будто бы она даже у кого-то коров доила. Они все хотели знать, что же дядя ответит. А он и говорит: кровь с молоком, ну что ж, значит, будет некошерная смесь мясного с молочным.

Тетя Ентл так отполировала очки, что они аж сияли и отражали попавшие на них лучи полуденного солнца. Потом убрала их обратно в футляр.

— О чем это мы говорили? — спросила она. — Ах да. Лантухи. У моих родителей в доме жил один такой. За печкой жил. Там, куда поленья складывали для просушки. Когда мы уехали оттуда, он остался. Лантухи не любят бродяжничать. Уж если он где поселился, это навсегда. Я никогда его не видела. Да его и не увидишь, сами знаете. Я была еще маленькая, когда мы собрались и уехали в Турбин, но мать и сестра моя Баша относились к нему так, будто он один из нашей семьи. Поляки зовут его «домовик» — домашний дух значит. Бывало, Баша чихнет, а он шепчет ей: «Будь здорова». Во дворе у нас была баня, а там на полу — два больших камня. У нас работала девушка. Полька она была. Если собирались мыться, она топала баню: приносила дрова, разжигала огонь, и когда камни становились такими горячими, что не дотронешься, лила на них воду ведрами — лила до тех пор, пока пар не становился таким плотным, что не продохнуть. Я должна была оставаться дома, пока все мылись в бане. Ну подумайте, зачем это маленькому ребенку потеть? Но в тот раз я ни за что не соглашалась оставаться дома с прислугой, и меня взяли в баню. То был единственный раз, что я видела мать и сестру раздетыми. Да, забыла сказать: девушка, что у нас работала, говорила на идиш. Бывало, мать позовет ее: «Шефеле!», и та уж знает, что требуется — бежит с ведром воды и выливает на камни, и тогда вода кипит, шипит на камнях. Если уж слишком жарко станет, мать кричит: «Горячо!», и та чуть-чуть приоткрывает дверь, чтобы прохладой повеяло. Я хныкала-хныкала, потом расплакалась. Только после этого меня взяли в баню. И в этой суматохе сестра забыла полотенца. Когда девушка была уже не нужна

в бане, она пошла к коровам. Так что ее с нами не было. Мать ругала сестру за то, что она забыла полотенца, а та возьми да позови:

Лантух, лантух!
Помоги же, лантух:
Полотенце мне подай,
Угощенья ожидай!

Да так складно у нее получилось. И что потом было? Лантух принес полотенца. Сама я этого не помню, маленькая была, а от сестры и от матери не раз слышала. Зачем они врать будут? Случалось такое в прежние времена. Теперь все испортилось в этом мире, и ни домовики, ни черти, ни бесенята не появляются — прячутся они от нас.

Но я хочу рассказать другую историю. Не про наш дом вовсе. Случилось это в Турбине. А началось все за несколько лет до того, как мы туда приехали. Жил там человек один. Звали его Мордехай Ярославер. Те, кто его знал, клянутся, что это был удивительный человек, ни пятнышка на нем не было, ни одного недостатка — прямо святой, да и только. Другого такого будешь искать, да не найдешь. У него была жена — Бейля Фрума. И была у них единственная дочь Пая. В Святых книгах говорится, что если кого Господь возлюбил, он забирает к себе. Реб Мордехай был еще не старый человек. Ему и сорока не было. Вдруг на груди у него вскочил прыщик. Прыщик этот превратился в огромный волдырь, а потом реб Мордехай весь пошел волдырями, как в огне горел. Знаменитые доктора ничего не могли сделать. И он умер, не про нас такое будь сказано. Дом его стоял на краю города. Был там и сад, были сарай, амбары, разные другие постройки. Зерном он торговал и льном, да и ско-

том тоже. Реб Мордехай был богатый человек. Да только должники его не спешили возвращать долги — так всегда бывает. В былые дни сделки заключались под честное слово. Реб Мордехай записывал, правда, кто и сколько ему должен, но книжка эта пропала — кто знает почему.

Бейля Фрума всегда чем-нибудь да болела — то одно, то другое — и вообще как-то людей сторонилась. Насколько реб Мордехай со всеми знался, чуть не с каждым дружил, Бейле Фруме никто не был нужен, все-то были не по ней. А про Турбин говорила, что это не город и не местечко даже, а сущее захолустье, деревня просто. Вот реб Мордехай Ярославер умер, и будто свет погас. Бейля Фрума пришла домой после похорон, сразу легла в постель — и не поднималась до самой смерти. Тридцать лет лежала, а может, и того больше. Бейля Фрума уволила служанку, и теперь все делала Пая: и служанка она, и кухаркой теперь была, и за матерью ходила. У Паи были светлые волосы, белая атласная кожа, да и вся она была нежная такая. Наверно, она в отца пошла, хотя и от матери ей тоже что-то досталось. Ну, я ее едва знала, потому что когда мы переехали в Турбин, все эти дела уж к концу шли. Девушке нужно замуж идти, и шадхены в Турбине сватали ей подходящих женихов. Но Бейля Фрума всем заправляла, не вставая с постели. Будущего жениха подводили к ее постели, и она рассматривала его да расспрашивала. Никто ей не нравился. Ей не муж нужен был для дочери, а зять для нее самой, чтоб за ней ходил да делал все, что ее левая нога захочет. И условием ставила, что после свадьбы Пая останется в доме у матери. Ради собственной выгоды, ради своих удобств мать создала столько трудностей, что в конце концов Пая вышла

замуж за парня вроде бы и богатого, мало-мальски образованного, но ужасного хама и грубияна. Весь Турбин видел, что Пая попадает к скверному человеку, все предостерегали ее. Но Бейля Фрума была довольна — да они просто завидуют ее удаче! А что же еще! Пая эта была как рабыня у матери своей, прости Господи. Если б Бейля Фрума приказала ей вырыть могилу и похоронить себя заживо, она бы и это сделала. Бывают же такие дочери — кто его знает почему. Везде правит сила, даже в доме для бедных. Бейля Фрума уверена была, что зять, Фейтель его звали, будет плясать под ее дудку, а он и внимания на нее не обращал. Если он мог что-нибудь продать — продавал. Мог украсть — крал. Опустошал дом точно саранча. Пая понесла и родила девочку. Миреле ее назвали. Каждому ясно было, что Миреле — точная копия своего деда. От нее будто свет исходил. Но у ее отца были собственные расчеты. Как только этот нахал понял, что в доме уже нечего украсть, развелся с Паей и исчез из Турбина. Куда? Один Господь ведаает.

Разведёнка с ребенком не всегда нежеланный товар. Но теперь Бейля Фрума не склонна была делить дочь с каким-нибудь мужчиной. Она хотела владеть дочерью безраздельно. Пая совсем потерялась. Бывают люди — если пришлось раз обжечься, они снова начать жизнь и не пытаются. Вот Пая была как раз из таких. Да и потом, какой мужчина пожелает в придачу к жене еще и Бейлю Фруму в приживалки? Мужчина хочет взять жену для себя, а не девочку на побегушках для тещи. Короче, Пая больше не вышла замуж. Фейтель совершенно дом разорил, и теперь мать и дочь стали зарабатывать вязанием. Пая шила. У них оставался дом и земля, а еда в те дни ничего не стоила — дешевле пареной

репы. В саду были яблони, груши, вишни. Кусок земли они сдали в аренду, и арендатор давал им часть овощей, которые на этой земле выращивал. Никто не умирал от голода в прежние дни, но какой смысл в такой жизни?

Неожиданно Пая заболела и сделала то же самое, что и мать: легла в постель и больше не поднялась. Это случилось через несколько лет. Но к этому времени Миреле было всего лишь семь, а может восемь лет. И вот тут начинается история про лантуха. В доме у них лантух жил. А теперь он стал там хозяином. Смеетесь? Зря. Ничего тут смешного нет. Весь Турбин знал. А как еще может быть, на чем же держался дом, где две больные женщины и дитя малое? Даже теперь, когда рассказываю, и то мурашки по спине бегают — туда-сюда, туда-сюда.

Тетю Ентл слегка передернуло. Она поискала глазами свою шаль — та лежала на диване — и сказала:

— Вы будете смеяться надо мной, детки, но мне что-то вдруг холодно стало.

Тетя Ентл закуталась в шаль и немного помолчала. Она свела брови на переносице и, кажется, размышляла, продолжать ли рассказывать. Краем глаза глянула на меня, будто сказать хотела: «Разве может маленький мальчик хоть что-то понимать в таких вещах?»

Мать попросила:

— Ну рассказывай же, Ентл.

Тетя Ентл уселась поудобнее.

— Я там не была, но не может же целый город с ума сойти. В их доме ЖИЛ лантух, и он там всем

заправлял: колол дрова, носил воду — по ночам, конечно, — никогда днем. Я говорила тут, что лантухи никому не показываются, но этого видел кое-кто. Та зима очень вьюжная была. Даже старики не могли припомнить такого — сухой, как соль, снег падал и падал, вьюга наметала огромные сугробы. Под снегом рушились крыши. Потому что больше на град было похоже. Дома заносило снегом по самый верх, и уходило несколько дней, чтобы прокопать выход из дома. В Турбине была такая группа — они называли себя «Охрана больных». Состояла она из сильных мужчин — извозчиков, мясников, торговцев лошадьми. Они опекали больных и слабых. Если заболел кто и нуждался в помощи, они шли туда и помогали выйти из дома. И вот во время жуткого бурана турбинцы вспомнили вдруг и о семье реб Мордехая Ярославера. Мотл Бенцес, мужчина гигантского роста и силач необычайный, пошел посмотреть, что там творится. Весь дом под снегом, только труба торчит. Вот это работка! Он принялся пробивать дорогу к дому. Копал и копал. Потом услышал какой-то скребущий, скрежещущий звук с другого конца снежного сугроба. Кто бы это мог быть? Когда же Мотл окончательно расчистил путь — прокопал что-то вроде коридора, — то увидал маленького человечка, поперек себя шире, в шапке с кисточкой, с лопатой в три раза длиннее, чем он сам. Были уже сумерки. Мотл Бенцес попытался заговорить с человечком, но тот только язык показал, а потом высунул его и достал до самого пупка. В следующую секунду он уже пропал, будто его и не было. А лопату Мотлу бросил. Мотл Бенцес потом ходил к раввину. Он рассказал ему все как было. Событие это записали в памятную книгу общины.

Так ли, эдак ли, выросла Миреле. И не спрашивайте меня, как ей удалось это. Дети вырастают и в цыганских повозках, и в пещерах у разбойников. Вот сегодня она еще ребенок, а на следующий день — раз! — и уже взрослая. Мать ее Пая с детства жила как затворница, ни с кем не водилась. Бейля Фрума сама не терпела никого и дочери всячески мешала не то что дружить, а просто с кем-нибудь знакомство водить. Но Миреле была веселая и общительная. Осенью и зимой она и ее подружки вместе мариновали огурцы, рубили капусту, лушили горох. Летом они ходили в лес по грибы и по ягоды. Миреле сама научилась шить, прекрасно вышивала: и тамбурным швом, и по канве, и еще по-всякому. У нее все допытывались: «Правда это, что у вас в доме лантух живет?» «Что за лантух? — она в ответ. — Я и слова такого не слыхивала». Они опять: «А кто же все по дому делает?» «Сами справляемся», — Миреле отвечает. Девушки напрашивались к ней в гости — потанцевать, к примеру, а заодно и посмотреть, что там вообще происходит, в этом доме. Миреле смеялась: «Бабушка моя развлечений не любит!» Турбинцы ломали голову: что они скрывают? Как это им удастся столько времени? Кто-то же готовит еду? Кто-то заботится о нарядах для Миреле? Одевалась она как благородная, а на щеках будто розы цвели. Откуда у нее деньги? Она часто заходила к Брине-булочнице и покупала там гречневые пончики.

Дом был такой, что ни в окно не заглянуть, ни в замочную скважину. Ведь сначала надо было пересечь двор, потом по ступенькам подняться на крыльцо — это чтобы к двери подойти. Около дома всегда бегали какие-то собаки. Бродячие, что ли. А может, собаки арендатора ихнего. Или бесхозные

дворняжки — от гицеля* сбежали и тут прижились. Кто Миреле спрашивал, всем она отвечала, да только никогда правды не скажет. «Кто готовит-то у вас?» — спросят ее, и она в ответ: «Мамеле». — «Разве она встает с постели?» — «Встает ненадолго», — отвечает Миреле. — «Почему она к доктору не идет?» — «Ленивая слишком», — и сама улыбается, как удачной шутке. В маленьком городке все знают, что у другого в горшке варится. Вот и здесь — все знали, что в доме этом что-то странное творится.

Ну вот, выросла Миреле, невестой стала. А уж красивая — прямо глаза слепит. Парни поглядывали на нее, а шадхены — те стремились в дом, но не могли ни с Паей, ни с Бейлей Фрумой поговорить. Дверь всегда на засов закрыта, да еще на цепь заперта. Пытались говорить с самой Миреле, а та в ответ только: «Откуда мне знать?»

— Ну и как же коту перебраться через реку? — спрашивали они. Значит: когда же она замуж-то собирается? В маленьком местечке — а может, и в большом городе тоже так — вы не можете ни с кем не знаться. Никак не выходит. А уж если вам все не по нутру, люди начинают злословить. Начались разговоры, что сам дьявол в этой семье хозяин. Уж если он рубит дрова, носит воду и может после таких вьюг и буранов прорыть выход из дома, то небось не слуга он там. И Миреле не невинная девушка, как она представляется. Знаете, что получилось, милые вы мои? Ее начали сторониться. Девушки отказывались в субботу прохаживаться с ней по улице. Ее перестали сватать. Не приглашали на помолвки и свадьбы. Мне было только десять лет тогда, но я все слышала, все понимала.

* Гицель (польск.) — ловит собак и сдает их на живодерню.

Миреле прогуливалась одна. Шла по нашей Люблинской — это там мы жили — разодетая, как принцесса, ботинки до блеска начищены. Но никто и не посмотрит в ее сторону. Девчонки, что портнихе помогали, и мальчишки — мясника ученики — шли за ней, но приблизиться не смели. Стоило пойти через Базарную площадь, на нее из окон глазают. Куда она идет? Что у нее на уме? И как она может жить с этими жалкими, унылыми созданиями — матерью и бабушкой?

Потом Миреле и выходить перестала. Редко когда появится — купить что-нибудь. Узналось, что иногда почтальон приносит им письма, запечатанные сургучом. Но никто не знал, откуда эти письма приходили. В зимние холода про них вообще забывали. Не знаю уж почему, а только вокруг их дома почему-то выпадало больше снега, чем еще где-нибудь. Вьюга мела и мела, наметая с полей огромные сугробы вокруг дома. Коли на то пошло, никто не мог сказать, жива ли Бейля Фрума. Но раз ее не похоронили еще на кладбище, следовало считать ее в живых. Если такое творится в маленьком местечке, что же тогда в большом городе? Один Господь только знает. Раз мой отец пригласил нищего к нам на субботу. Этот бродяга чего только не увидался, разного мог порассказать. Мы стали расспрашивать его про Люблин, а он и говорит:

— Этот город полон трупов.

— Как это? — спросил отец.

Бродяга отвечает:

— Когда в маленьком городишке кто-нибудь умирает, тело его остается в могиле. А в большом городе все чужие друг другу, мертвецу становится одиноко, вот он и поднимается из могилы. Я сам встречал в Люблине человека, который умер мно-

го лет назад. Был такой Шмерл Строчкер. Я иду по Левертовой, и тут он подходит ко мне. Я останавливаюсь, и он тоже. Я так удивился, что рта не мог открыть, рукой-ногой пошевелить. Я сказал ему: «Шмерл, что ты здесь делаешь?» — «А ты?» То-то же. Вот и я тоже не знаю. Ушел и пропал. Как в воздухе растворился.

О чем это я? Ах да. Лантух. Если дела хорошо идут, эти бесенята-чертенята прячутся на чердаке или в запечье живут. Но когда пропадает у человека жизненная сила, они берут верх. Может, это и не лантух был, а чертенок или же еще кто вроде того. Они уже сгнили там, в труху превратились, как старые грибы-поганки. Эта старая ведьма Бейля Фрума сожрала Паю, и вместе они испортили Миреле. Конечно, поживи с такой матерью да с такой бабушкой. Тоже свихнешься. Вот и Миреле в уме повредилась. Рассказывали, что она днем спит, а гуляет по ночам. Залман, ночной сторож, — ему часто случалось проходить мимо их дома — слышал, как смеется Миреле. Будто безумная. А дьявол щекочет ее и завывает, орет как кот.

— Значит, хочешь сказать, что у этого лантуха были греховные, богопротивные дела с ними? — спросила мать после некоторого колебания.

Тетя Ентл прижала палец к губам.

— Не знаю. Как я могу знать? Но лантухи ведь мужского племени, не женского. Есть история о золотых дел мастере, который жил с дьяволицей — в погребе у себя — и прижил с ней пятерых детей. Такое случается на свете. Почему эти три женщины жили одни, без мужей? И если Турбин слишком мал для них, если им тесно в Турбине, почему бы не продать дом и не переехать еще куда-нибудь? И как люди могут заниматься такими штуками, Господи

упаси. Эта Бейля Фрума злобная была старуха и хитрющая. Еще Мордехай Ярославер, муж ее, жив был, а про нее уже разное рассказывали. У нее было два черных кота. Видели люди, как она в полнолуние собирает травы на лугу. Могла колдовать, могла порчу напустить. Пая вообще своей воли не имела. Только, что мать скажет. Но как Миреле им поддалась, вот чему удивляюсь. Известно, дай только черту палец, он всю руку заграбастает. Говорили, этот лантух плясал и пел для них, даже кувыркался и сальто крутил. Кто-то слышал, как он распевает песенки да шутки-прибаутки, вроде как бадхен на свадьбе. Там в доме была огромная кровать, и поговаривали, будто они там спят все вместе. Тьфу! И думать об этом не хочу. Бейля Фрума никогда не ходила в синагогу, и Миреле тоже. А Пая только на Рош-Гашоно приходила послушать, как в рог трубят. Раз я ее там видела. Лицо все в бородавках. Один глаз огромный, как у теленка, а другой почти закрыт. Наверно, она оглохла уже — потому что люди обращались к ней, а она ничего не отвечала.

Однажды ночью, после праздника Кущей, кто-то постучал в дверь к Вольфу Каштану. В Турбине была пожарная команда, а Вольф считался в команде главным. У них была телега, старая кобыла — такую и кобылой не назовешь, кляча просто, да еще бочка для воды. Случилось это глубокой ночью, в холодную сырую погоду. Он отворил дверь, а там!.. Уродец стоит, не человек и не зверь — так, наполовину собака, наполовину обезьяна, на голове колтун и шерстью оброс. «Чего тебе?» — Вольф спросил, и уродец прохрипел: «У Бейли Фрумы горит». И исчез в тумане, будто растворился.

Пока это Вольф Каштан запряг лошадь да наполнил бочку, дом Бейли Фрумы сгорел дотла.

От женщин только угольки остались. И хоронить некого. Вольф Каштан рассказал про этого уroda, про чудовище это, и тут ясно стало, что это лантух и был.

— С чего же пожар начался? — спросила моя мать.

— А кто знает?

— Может, лантух и поджег? — сказала мать.

— Если б это он был, зачем ему к пожарным бежать?

Мать погрузилась в глубокое раздумье. Долго молчала. А потом сказала:

— Лантухи и другие такие же — они как люди. Тоже попадают в свои же ловушки. Вот и этот лантух. Может, он уже был сыт по горло и решил, что хватит с него.

СЫН ИЗ АМЕРИКИ

Местечко Ленчин совсем маленькое — базарная площадь, трава пробивается сквозь песок. Сюда приезжают раз в неделю из окрестных сел мужики с товаром. Вокруг домишки, крытые соломой или же дранкой, позеленевшей от мха. На крыше — труба, похожая скорее на печной горшок. Между домами огороды или просто трава — хозяйева пасут коз.

В самом маленьком из этих домишек жил старый Берл. Было ему уже под восемьдесят. И жена у него была по прозвищу Берлиха — жена Берла, значит. Старый Берл был из тех евреев, которых в России выгнали из деревень. И тогда он переселился в Польшу. В Ленчине до сих пор посмеивались над Берлом, когда он громко молился в синагоге. Он делал ошибки, раскатисто произносил «р». Был он коренастый, небольшого роста, с маленькой седой бороденкой. Зимой и летом ходил в меховой шапке, стеганой поддевке и тяжелых башмаках. Ходил медленно, шаркая, с трудом волоча ноги. У него имелся небольшой клочок земли, корова, коза и куры.

Был у них сын Шмуль. Он уехал в Америку сорок лет назад. В Ленчине говорили, Шмуль стал там миллионером. Каждый месяц Берлу приносили денежный перевод и письмо. Писем этих никто не мог прочесть, потому что там было много анг-

лийских слов. Сколько посылал Шмуль своим родителям, никто в Ленчине не знал. Три раза в год Берл с женой пешком отправлялись в Закрочим и получали деньги. Но они их, видимо, вообще не тратили. На что тут тратить? Сад, огород, корова, коза — этого сверх головы хватало. Да еще Берлиха продавала цыплят и торговала яйцами. Этих денег было вполне достаточно, чтобы покупать муку и печь хлеб.

Никого не интересовало, где Берл хранит деньги, что сын ему присылает. В Ленчине воров не было вовсе. Домишко Берла состоял из одной комнаты. Но там было все необходимое: шкафчик для мяса, отдельно — для молочного, две кровати и обмазанная глиной печка. Иногда цыплята прибежали и усаживались на дровах, а когда был сильный мороз, их сажали в клетку и заносили в дом, и ставили клетку у печки. Коза тоже находила приют у печки в самую дикую стужу. В Ленчине те, кто побогаче, жгли по вечерам керосиновые лампы, но Берл и Берлиха не верили в эти новомодные штучки. И что, скажите, плохого, если фитиль плавает в плошке с маслом? Только для встречи субботы Берлиха покупала в лавке три сальных свечи. Летом эта чета подымалась с петухами, и ложились они, лишь начинало темнеть. Долгими зимними вечерами Берлиха пряла, а Берл сидел рядом и молчал. Так молчат старики, доживающие свой век в мире и покое.

Из синагоги Берл приносил время от времени поразительные новости. В Варшаве какие-то люди — их называют забастовщики — требуют, чтобы царя больше не было. А какой-то безбожник — его зовут доктор Герцль — носитя с идеей, что всем евреям надо снова переселиться в Палестину.

Берлиха слушала, качала головой, и оборки колыхались на ее чепце. Лицо у нее теперь было желтое, изрезанное морщинами, будто капустный лист. Под глазами мешки и голубые тени. Она уже плохо слышала. Берлу приходилось по нескольку раз повторять каждое слово. В ответ она всегда говорила одно: «Ну, такое только в большом городе может быть!»

Здесь, в Ленчине, ничего не происходило. Только самые обычные события: корова родила теленка, в молодой семье зовут гостей в день обрезания. А если родилась девочка, то торжества не будет. Случалось, умирал кто-нибудь. В Ленчине не было кладбища, и покойника везли в Закрочим. В сущности, в Ленчине почти не осталось молодежи. Дети вырастали и уезжали в Закрочим, в Новый Двор, в Варшаву. А иногда даже в Америку, как их Шмуль. Присылали письма, но ничего там было не разобрать. Потому что, как и в письмах их сына, идиш был смешан с языками тех стран, где они жили. Они присылали фотографии. На мужчинах были шляпы с высокой тульей, а женщины — в нарядных платьях, как благородные.

Берл с Берлихой тоже получали фотографии. Но они уже плохо видели, очков у них не было — ни у него, ни у нее, и они едва могли разобрать, что там на картинке. У Шмуля родились сыновья и дочери — и внуки были, тоже уже женатые и с детьми. У детей были нееврейские имена, и нет ничего странного в том, что Берл и Берлиха не могли их запомнить. Но какая разница? Разве в именах дело? Америка далеко, надо плыть через океан, это на самом краю света. Учитель Талмуда, который приходит в Ленчин, говорил, будто американцы ходят вниз головой и ногами вверх. Берл с Берлихой не

могли вообразить такое. Как это может быть? Но раз учитель говорит, значит, так оно и есть. Берлиха долго думала и сказала наконец: «Ко всему можно привыкнуть».

На том и порешили. Слишком много думать — последние мозги потеряешь, избави нас Господи.

Раз в пятницу утром, когда Берлиха месила тесто для субботней халы, дверь открылась и вошел какой-то важный господин. Такой высокий, что ему пришлось пригнуться, чтобы перейти через порог. На нем была бобровая шапка и пальто с мехом. За ним вошел Хаскель, извозчик из Закрочима, и внес в дом два кожаных чемодана с медными замочками. Берлиха раскрыла глаза от удивления.

Господин оглянулся и сказал Хаскелю на идиш: «Это здесь». Он достал серебряный рубль и расплатился. Извозчик попытался дать сдачу, но тот остановил:

— Не надо. Можешь идти.

Извозчик ушел, и тогда мужчина сказал:

— Мама, это я, твой сын. Твой сын Шмуль — Сэм.

Берлиха услышала его слова, и ноги у нее сразу будто отнялись. Руки были в тесте, и она так ослабела, что не могла даже поднять их. Мужчина обнял ее и поцеловал. В лоб, в обе щеки. Берлиха закудахтала как курица: «Мой сын! Мой сын!» В это время вошел Берл с охапкой дров. За ним коза. Когда Берл увидел, что какой-то важный господин целует его жену, то уронил дрова и воскликнул:

— Это еще что?

Господин отпустил Берлиху и подбежал к нему, обнял:

— Отец!

Берл оцепенел и долго не мог произнести ни слова. Он хотел припомнить святые слова из «Тайч-хумеша»*, но ничего не мог вспомнить. Тогда он спросил:

— Ты Шмуль?

— Да, отец, я Шмуль.

— Ну, тогда шалом.

Он взял руку сына и потряс ее. Он все еще не был уверен, что это правда, что его не обманывают. Ведь Шмуль не был таким высоким, таким большим и толстым, как этот человек. Но Берл напомнил себе, что Шмулю было всего лишь пятнадцать лет, когда тот уехал. Должен же он был вырасти там, в той далекой стране. Берл спросил:

— Почему ты не дал знать, что приезжаешь?

— Но разве не пришла телеграмма?

Берл не знал, что такое телеграмма.

Берлиха наконец-то отскребла тесто с рук и смогла обнять сына. Он еще раз поцеловал ее и спросил:

— Мама, ты не получала телеграмму?

— Что ты говоришь? Какая телеграмма? Зачем мне телеграмма? Если я дожила, чтобы увидеть тебя, можно теперь и умереть, — проговорила она, удивляясь собственным словам.

Берл тоже удивился. Это были те самые слова, которые он сказал бы, если б вспомнил их раньше. Теперь Берл пришел в себя. Он обратился к жене:

— Пеша, можешь сделать к мясу двойной кугл на субботу.

* «Тайч-хумеш» — перевод Пятикнижия с комментариями на идиш (1560 г.).

Когда это было, чтобы Берл называл свою Берлиху по имени! Годы прошли. Обращаясь к ней, Берл говорил: «Послушай» или «Скажи». Это молодые теперь или те, кто из большого города, зовут жену по имени. Только теперь Берлиха заплакала. Желтые мутные слезы текли по ее лицу, и все было перед ней как в тумане. Потом она воскликнула: «Пятница же — надо готовиться к субботе!» Да, она должна замесить тесто, сплести халы. Для такого гостя она сделает настоящий чолнт — чтобы на всех хватило. Но короток зимний день. Надо торопиться.

Сын понял, из-за чего она так волнуется. Поэтому сказал:

— Мать, не беспокойся. Я тебе помогу.

Берлихе хотелось рассмеяться, но внезапно подступившее рыдание перехватило горло.

— Что ты такое говоришь? Упаси Господь.

Важный господин снял пальто, снял пиджак и остался в жилетке, по которой шла солидная золотая цепочка от часов, закатал рукава и пересек комнату:

— Мать, я же много лет был булочником в Нью-Йорке, — сказал он и принялся месить тесто.

— Вот оно как! Вот он приехал, мой дорогой сыночек, и теперь есть кому прочесть по мне кадиш.

Теперь она рыдала громко, взхлеб. Силы оставили ее. Захотелось прилечь. Она подошла к кровати и прямо-таки рухнула в постель.

Берл сказал:

— Ничего не поделаешь. Женщины, они женщины и есть.

И вышел в сени принести дров. Коза пристроилась у печи. Она с удивлением уставилась на этого

странного человека — такого высоченного, непривычно одетого. Соседи быстро прослышали про добрые вести в доме у Берла. Как же, сын приехал! Из Америки! Они пришли поздороваться с Шмулем. Женщины принялись помогать Берлихе. Кто-то смеялся, а были и такие, что плакали. Комната быстро заполнилась народом. Стало шумно, как на свадьбе. Шмуля спрашивали: «Что нового в Америке? Как там жизнь?» — и сын Берла отвечал: «Все нормально. Все олл райт».

- Как там живет евреем?
- Всю неделю едят белый хлеб.
- И остаются евреями?
- Ну я же не гой.

После того как Берлиха произнесла благословение на свечи, отец и сын отправились в синагогу — маленькую синагогу напротив, лишь улицу перейти. Опять падал снег. Сын шел, широко шагая, и Берл предостерег его:

- Иди-ка ты помедленнее. Здесь так нельзя.

В синагоге евреи распевали: «Дай нам радость...» и «Приди, жених мой...» А снег снаружи все падал и падал. Когда закончили молиться, отец и сын отправились домой. Все было занесено снегом. Только силуэты домов, контуры крыш да огоньки свечей в окошках. Шмуль сказал:

- Ничего здесь не изменилось. Все по-прежнему.

Берлиха приготовила фаршированную рыбу, куриный бульон, рисовый кугл, цимес. Берл произнес благословение над стаканом вина. Они сидели за столом, ели и пили. Иногда наступало молчание. Тогда слышно было, как поет за печкой сверчок.

Шмуль много говорил, но Берл и Берлиха понимали мало. Это был уже другой идиш, и очень уж много было в нем иностранных слов.

После трапезы Шмуль спросил:

— Отец, что ты делал с теми деньгами, что я посылал вам?

Берл поднял брови:

— Они здесь.

— И ты не положил их в банк?

— В Ленчине нет банка.

— Где же ты держал их?

Берл сказал — после некоторого колебания:

— Хоть и не позволено касаться денег в субботу, я тебе покажу.

Он пошарил за кроватью и стал доставать оттуда что-то тяжелое. Появился ботинок. Он был доверху набит соломой. Берл принялся вытаскивать солому, и Шмуль увидел, что в ботинке — золотые монеты. Он поднял его.

— Отец, так это ж целое состояние! — воскликнул он.

— Ну да.

— Почему ты не тратил их?

— А на что? У нас все есть, слава Всемогущему.

— Почему не поехал куда-нибудь? Посмотреть мир, попутешествовать...

— Куда? Зачем? Наш дом здесь.

Шмуль задавал вопрос за вопросом, но в ответ слышал одно: нам ничего не нужно. Сад, огород, корова, коза, куры вполне обеспечивали все их нужды. Сын сказал:

— Если воры прознают про деньги, вам несдобровать.

— Здесь нет воров.

— Что же будет с деньгами?

— Ты их возьмешь с собой.

Мало-помалу Берл с Берлихой привыкли к сыну и стали понимать его американский идиш. Берлиха даже слышать лучше стала. Она признала, что голос у него почти прежний, не изменился. Сын проговорил:

— Может, построить на эти деньги большую синагогу?

— Синагога у нас достаточно велика, — ответил Берл.

— Может, богадельню?

— Никто не валяется на улице. У всех есть кров.

На следующий день, когда съели все, приготовленное на субботу, пришел поляк из Закрочима и принес бумагу — это и была телеграмма. Берл и Берлиха прилегли вздремнуть. Вскоре оба захрапели. Казалось, и коза впала в дремоту. Шмуль надел пальто и шляпу, вышел пройтись. На длинных своих ногах широкими шагами пересек Базарную площадь. Он протянул руку и достал до крыши. Захотелось закурить сигару. Но в субботу курить запрещено, вспомнил Шмуль. Хотелось поговорить с кем-нибудь, но, похоже, спал весь Ленчин. Зашел в синагогу. Старик сидел, раскачиваясь и распевая псалмы.

— Молитесь? — спросил Шмуль.

— А что еще остается, когда состарился?

— Как делаешь жизнь?

Старик не понял значения этого выражения. Он улыбнулся, обнажились пустые десны. Потом сказал:

— Если Всемогущий дает здоровье, дает и жизнь.

Шмуль вернулся домой. Спустились сумерки. Отец ушел в синагогу на вечернюю молитву. Сын остался с матерью. Комната наполнилась неясными тенями.

Берлиха начала нараспев, торжественно и монотонно:

— Господь Авраама, Господь Исаака, Господь Иакова. Да будет благословенно Имя Твое. Святая суббота уходит. Добро пожаловать к нам, неделя. Да будет она богата здоровьем, богатством и добрыми делами.

— Мать, тебе не надо молиться о богатстве. Ты уже богата.

Берлиха не услышала. Или притворилась, будто не слышит. По лицу ее пробежали неясные тени.

Еще стемнело. Зашло солнце. Шмуль протянул руку и достал из кармана пиджака паспорт, чековую книжку, кредитные письма. У него были большие планы, когда он сюда ехал. Он привез с собой два полных чемодана. Подарки родителям. Дары городу. Он привез не только собственные деньги. В Нью-Йорке уже есть фонд Ленчинского общества. Они организовали благотворительный бал в пользу местечка. Но городку этому, затерянному в глуши, ничего не нужно. Из синагоги доносилось хриплое пение. Сверчок, молчавший весь день, снова застрекотал. Берлиха начала раскачиваться из стороны в сторону. Запела песню, которую пели еще матери и бабушки. В наступившей темноте святые наивные слова древней песенки рассказывали про овечку, про Тору и добрые дела, про Мессию, который скоро придет.

Я жил на Риверсайд-драйв, в многоквартирном доме. Двумя этажами выше жила Мария Давидовна. У нее бывали очень известные эмигранты из России: радикалы, социалисты. Была она высокого роста, смуглая, с классическими чертами. Серые глаза за толстыми стеклами пенсне. Волосы забраны в пучок. Всегда в темной юбке и блузке с высоким воротничком. Облик русской девушки-революционерки: живет на чердаке, печатает на гектографе или помогает делать бомбы, чтобы потом бросать их в царских сатрапов. Познакомился я с ней так: когда сломался лифт, я помог ей донести снизу старую, растрепанную русскую энциклопедию — она купила ее на Четвертой авеню. Потом мы познакомились ближе, она приглашала меня заходить — сыграть партию в шахматы. И каждый раз меня обыгрывала.

Постепенно я перезнакомился с ее друзьями. Особенно близко узнал трех ее постоянных посетителей. Попов в свое время был руководителем одной из фракций в Государственной Думе. Уже в Нью-Йорке овдовел. Теперь же был женат на дальней родственнице Марии Давидовны. Жил близко, всего лишь за несколько кварталов. Новая жена его много болела, и ему приходилось вести хозяйство.

Сколько раз я встречался с ним в универсаме — всегда он толкал перед собой нагруженную тележку. Был он коренастый, широкоплечий, с совершенно

белой головой. И козлиная бородка, что-то наподобие эспаньолки, — совершенно седая. Румянец во всю щеку. Да курносый нос. Неизменно в двубортном пиджаке, в тупоносых ботинках. Мягким узлом завязан галстук. Казалось, одет так же, как одевались сорок лет назад — даже в тот самый костюм. Такие же я видел на фотографии в какой-то книге о России. И то же выражение лица. При встрече он всегда протягивал руку — за сим следовало короткое, однако энергичное, сильное пожатие. Я не знал русского, и потому мы с ним объяснялись на ломаном английском. Среди русских эмигрантов он слыл миротворцем: всех мирил, предотвращал раскол в многочисленных фракциях. Что бы там ни было, а мы все же живем в свободной стране — такова была суть его уговоров — неизменно добродушно, мирным спокойным тоном.

Другой постоянный гость, профессор Бюлов, писал историю русского революционного движения: от декабристов до Сталина. Высокий, статный, настоящий великан с раскосыми монгольскими глазами и желтой кожей. Говорил он мало. Лишь изредка кивнет, бывало, и опять только слушает. Мария Давидовна рассказала как-то, что родился профессор далеко на Севере, в молодости ходил с рогатиной на медведя. Много лет провел в одиночном заключении, отсюда и его необычайная молчаливость. Плоское лицо, низкий лоб, приплюснутый нос, волосы ежиком — как щетка. Большевиков ненавидел он страстно. Казалось, только эта страсть пылает в его суровом взоре. Представлялось мне, будто он попал к нам прямо из эпохи Чингиз-хана. От Марии Давидовны я знал, что Бюлов никогда не смог простить Попову, что тот голосовал против ареста Ленина. Говорили, будто

профессор бежал из России после убийства какого-то гедеушника. Когда бы ни заговаривал он о сегодняшнем дне России, кулак его опускался на стол. И всегда я ощущал, что бедный этот стол едва-едва выдерживает тяжесть мощного кулака. Того и гляди, развалится.

Третий был Кузенский. Будучи знатного графского рода, он примкнул к революционному движению еще в молодости. Во время девятимесячного правления Керенского играл важную роль в русском правительстве. Совсем иной тип: высокого роста, стройный, поджарый, с высоким лбом, черной остроконечной бородкой — и это несмотря на то, что ему уже было, видимо, сильно за шестьдесят. Карие глаза постоянно улыбались — лукаво, умно, с юмором.

У Кузенского была репутация скептика, насмешника, дамского угодника. Одевался он более элегантно, чем другие русские, что бывали у Марии Давидовны, зимой и летом носил гетры. Раз я видел, как Мария Давидовна гладила ему шелковую рубашку. Один знакомый мне писатель, хорошо знавший эту среду, этих людей, сказал как-то, что у Кузенского душа фельетониста — не борца. Шутки его заставляли других чувствовать себя неловко. У меня с Кузенским было нечто общее: играя в шахматы, оба мы всегда проигрывали Марии Давидовне. Иногда мы садились играть против нее вдвоем. Он попыхивал папироской, мурлыкал под нос какой-то русский мотивчик, подъедая орешки и халву, что ставила перед нами хозяйка. Стакан за стаканом пил чай с лимоном. И делал один неверный ход за другим, все с шуточками да прибауточками. В его присутствии я играл еще хуже, чем обычно. Когда мы окончательно сдавались, Кузен-

ский говорил: «Ничего, товарищ, в конце концов победим мы. День возмездия близок». Потом подмигивал Бюлову и корчил насмешливую гримасу. Это был намек: профессор верил, что в любой день в России может начаться восстание.

Кузенский да и Бюлов — оба были холостяки. По словам, которые иногда случалось обронить Марии Давидовне, а также по надписям на книгах, которые Кузенский дарил ей на день рождения, можно было догадаться, что у них роман. Что же до Бюлова, он казался страстно увлеченным этой женщиной. Не сводил с нее взгляда, просто ел глазами: глядел на нее, не мигая, уставя раскосые глаза, с большими мешками под ними. Прислушивался к каждому звуку, когда она на кухне заваривала чай. Мария Давидовна помогала профессору собирать материалы для его обширной монографии. Одно лишь я знал наверное: никогда не оставался он ночевать в ее квартире. Бывало, он попался мне навстречу и в два часа ночи: спускался сверху в лифте. Лоб прорезали глубокие морщины, на приветствие не отвечал. Плоское лицо с широкими скулами принимало зеленоватый оттенок. Думается, его постоянно обуревала ревность: каждого мужчину подозревал он в том, что у того какие-то отношения с этой женщиной, и едва обуздывал свой норв — в любую минуту, похоже, готов был взорваться, а что он мог натворить со своим необузданным сибирским темпераментом — уму непостижимо.

Случалось, что Мария Давидовна приглашала меня и в отсутствие гостей. Мы играли в шахматы — я неизменно проигрывал, — а потом пили чай с вареньем, вели разговоры о сионизме, Талмуде, о литературе на идиш. Поскольку разговор

шел на языке, чуждом для каждого из нас, разговоры эти были довольно поверхностны.

Мария Давидовна была образованна, много читала, знала русскую и французскую литературу. Однако у нее был весьма своеобразный склад ума — теоретика-социолога. Во всем-то пыталась она найти логику. Годы не изменили ее: она осталась столь же наивной и неопытной, какими бывают лишь в юности. Она и сейчас была как гимназистка: «барышня», — такие исчезли после Первой мировой войны. Не сомневаюсь, она и теперь вела дневник. И еще: привезла из России толстенный альбом с фотографиями, на которых в бесчисленном множестве, группами и поодиночке, стояли, сидели ее подруги, кузины, студенты университета. Большинство мужчин — с бородками. На многих черные косоворотки, подпоясанные кушаком с кисточками. Я частенько разглядывал эти фотографии и расспрашивал Марию Давидовну о тех, кто изображен на них. Она устремляла на фотографию свой близорукий взор, долго разглядывала, будто не в силах припомнить, а потом говорила: «Убит на войне» или же: «Расстрелян большевиками», «Умер от тифа».

Я пытался расспрашивать ее о дружбе с Кузенским и Бюловым, но она отвечала уклончиво, избегала этих разговоров. Тем не менее кое-что узнать мне удалось. Отец ее торговал лесом, был богат. Она окончила в Киеве гимназию с золотой медалью. В седьмом классе вступила в кружок революционеров. Недолгий период правления Керенского стал для нее и временем личного успеха. Она была коротко знакома с вождями меньшевиков. Ей давали важные поручения от правительства. Каждый день приносил что-то новое и необычное. Это был год без зимы: от февраля, от революции, — до октября,

когда победили большевики. И с этих пор Мария Давидовна жила как в трауре. Она бежала из России, некоторое время жила в Варшаве, потом — Вена, Прага, Лондон. И вот наконец осела здесь. Училась в нескольких университетах, нигде не закончив полного курса. Жила в Нью-Йорке уже долгие годы, но так и не смогла привыкнуть к этому прозаическому городу, с его шумом, суетой, грязью, с его жадной любовью к деньгам. Она утверждала, что в Нью-Йорке нет ни одного красивого здания, ни одного кафе или ресторана, где вкусно кормят, и, несмотря на обилие электрического освещения, по ночам в Нью-Йорке темно, как в джунглях, и так же мрачно. А уж метро — просто кошмар.

И вот однажды, совершенно неожиданно, эта женщина разоткровенничалась — раскрыла мне душу. Я сказал ей, что она, в сущности, монахиня в миру, заточенная в своем собственном монастыре. При этих словах она сняла пенсне, и лицо словно обнажилось: казалось, она убита горем. По обеим сторонам носа — там, где пенсне оставляет след — глубокие голубоватые вмятинки. Она подняла покрасневшие вдруг веки и спросила:

— Видели когда-нибудь живой труп? Я имею в виду: не фигурально, а буквально.

— Буквально? Нет.

— Вот вы пишете про духов и на разные такие темы. Знайте же: рядом с вами — живой труп.

— Когда же вы умерли?

— После большевистского переворота.

— Как это вышло?

— Ох, так много всего, что и не расскажешь.

В сущности, я умерла уже тогда, когда была еще млада и слишком много требовала от жизни. А кто многого хочет, не получает ничего. Отец редко

бывал дома. Не знаю, отчего он избегал матери. Красивая была женщина, хотя и немного меланхолического склада. Она умерла, когда я еще ходила в гимназию. Я была единственная дочь. Каждый день по дороге в гимназию спрашивала себя: «Для чего я живу? Какой в этом смысл?» Это не была причуда, каприз. Мною всегда владело желание умереть. Я завидовала умершим. Ходила на греческое кладбище, часами простаивала, разглядывая фотографии на надгробиях. Февральская революция оттолкнула меня от мыслей о смерти. Это было упоительно, это пьянило меня. Правление Керенского несло в себе все симптомы опьянения — нечто вроде карнавала, который должен же когда-нибудь кончиться. Большевизм — горькое похмелье, в этом нет сомнений.

Мы помолчали немного. Потом я спросил:

— Что за человек Кузенский?

— Эгоист. Величайший эгоист, которого я когда-либо встречала. Всю жизнь прячется от реальности. Все, что остается после карнавала, — это кучка хлама, мусор. А для него праздник еще продолжается — его собственный праздник, праздник гедониста. Прошу вас, не спрашивайте меня больше. Я и так сказала слишком много.

И Мария Давидовна водрузила пенсне на место.

В какой-то момент я прозрел и ясно увидел: с Кузенским что-то не в порядке. Желтое лицо, запавшие щеки. Когда зажигает сигарету, спичка дрожит в его длинных, изящных пальцах. Как-то вечером Кузенский сидел у Марии Давидовны, и пришел Попов — с кастрюлей борща собственного приготовления. Попов заявил:

— Этот борщ все равно что лекарство. Он с лимоном, а не с лимонной кислотой.

— Да уж весь мир знает, что вы первоклассный повар — после той похлебки, что вы сварили для России.

Кузенский продолжал отпускать свои шуточки, но все уже как-то переменялось. Играл ли он в шахматы с Марией Давидовной — мы не слышали его советов, и даже перестал напевать как обычно. Каждые пять минут выходил, а когда возвращался, то дрожали коленки. Борода совершенно побелела. Видимо, он красил ее прежде — догадался я. Говорили, что он пишет мемуары, что у него субсидия от какого-то фонда.

В книгах о России, которые были у Марии Давидовны, можно было найти фотографии Кузенского: вот он гимназист, вот студент, вот революционер, вот политзаключенный в тюрьме, оратор на массовом митинге в Петрограде. Он — часть истории России, а значит — часть мировой истории. А теперь он лежит здесь, на диване у Марии Давидовны, кашляет в платок, нет-нет да и задремлет... Это на него ворчит Мария Давидовна, что он не соблюдает диету, боится пойти к доктору, не хочет лечь в больницу.

Слова Марии Давидовны, что она живой труп, впечатлили меня больше, чем этого можно было ожидать. Уже мерещился в квартире слабый запах тления. По вечерам горели все лампы, но в комнатах все равно царил полумрак. Возможно, оттого, что все стены, от пола до потолка, были уставлены книгами. Стоило лишь взять с полки книгу, раскрыть ее — и ломкие кусочки старых страниц тут же отрывались. Вдруг я заметил, что Кузенский и Бюлов говорят только с Марией Давидовной и никогда друг с другом. Даже и смотреть друг на друга избегали. Раньше они ссорились хотя бы — а теперь? Может, ни тому ни другому и сказать нечего? У меня

появился страх перед Бюловым. Когда он сидел вот так: молча, уставившись перед собой глазами-щелочками — узкими, раскосыми, — было ощущение, что он все еще там, в диких дремучих лесах Сибири. Доисторический человек, по капризу судьбы ввергнутый в двадцатое столетие, и здесь он — профессор... Я больше не заходил к Марии Давидовне.

Как-то раз вечером я сидел дома и читал газету. В дверь постучали. Без предупреждения никто ко мне не приходил. Разве что крыс морить, и то это бывало всегда днем. Я отворил дверь в прихожую:

— Кто там?

— Это я, Мария Давидовна.

Голос был ее, но сдавленный, как при удушье. Она вошла. Встала передо мной. Без пенсне. Лицо бледное, сама не своя. Потом сказала:

— Простите меня за вторжение, но случилось ужасное. Я не знаю, куда обратиться. Кузенский умер. Только что.

— Умер? Как это? Где? Когда?

— У меня. Я звонила. Но никого нет дома — ни Бюлова, ни Попова. А может, я не так набирала — потеряла очки и совсем ничего не вижу.

— Доктора вызвали?

— Он же никогда не ходил к врачам. Имейте жалость, пойдемте со мной. Без очков я как слепая.

Меня охватил какой-то детский страх. Но отказать ей? Оставить одну? Этого я не мог. Лифт не стали вызывать. В молчании поднялись по лестнице. Мария Давидовна опиралась на мою руку. Вошли в прихожую, прошли через гостиную в спальню. На широкой кровати лежал Кузенский — в костюме, с галстуком-бабочкой, в ботинках и гетрах. Его едва можно было узнать. Прямой нос загнулся, кожа совершенно пожелтела, седая борода вздер-

нулась, как-то уменьшилась, в буквальном смысле съежилась. Но в уголках глаз застыла усмешка — так мне показалось. В некотором сомнении Мария Давидовна спросила:

— Думаете, надо позвонить в полицию?

— В полицию? Зачем? Может, вам следует позвонить в русскую газету.

— Там никого нет ночью. Я так разволновалась, уронила очки. Просто чудо, что я добралась до вашей двери. Теперь жизнь моя кончена.

И другим тоном:

— Как вы думаете, сумеете вы найти мои очки?

Я поискал на полу, на ночном столике, на комодке. Нигде не было. Потом предложил:

— Может, позвонить в английские газеты?

— Будут расспрашивать о мелочах, узнавать подробности. А я так ошарашена, что ничего не помню. Постойте-ка! Телефон звонит.

Она вышла. Мне хотелось пойти с ней, но было стыдно показаться трусом. Так и остался стоять, не сводя взгляда с Кузенского. Глухо колотилось сердце. Лицо Кузенского стало совсем желтым и будто окостенело. Маленький рот полуоткрыт, без зубов. Под ковриком увидал вставную челюсть: необычайно длинные зубы на пластмассовом нёбе. Носком ботинка я загнал их под кровать.

Вернулась Мария Давидовна: «Сумасшествие какое-то! Меня известили, что я выиграла два бесплатных урока в танцевальной студии... Что я должна делать?»

— Если вспомните номер, я позвоню Попову и Бюлову.

— Их наверняка нет дома. Бюлов, по-видимому, скоро будет здесь — с минуты на минуту... Мы

пили чай, играли в шахматы. Вдруг он повалился на кровать — и конец!

— Счастливый конец.

— Он жил как законченный эгоист, так и покинул нас. А что мне делать? Теперь каждое мгновение для меня — ад. Садитесь же. Пожалуйста.

Я опустился на стул. Она села на другой. Я устроился так, чтобы не видеть мертвеца. Мария Давидовна всплеснула руками. Речь ее стала монотонной, походила теперь на выговор наших матерей, на хлопотливые причитания бабушек.

— Это все эгоизм. Это его хождение в народ, тюрьма — все от этого идет. Он родился барином и оставался им до последнего мгновения, до последнего вздоха. Все, что он давал, выглядело как милостыня, как подаяние. Даже любовь. Гордыня не позволяла ему пойти к доктору. Что до меня, то я растратила жизнь впустую. Забыла, что я еврейка, «идише тохтер»*. Раз я прочитала в Библии об израильтянах, что поклонялись идолам. И сказала себе: «Моим идолом была революция, и за это я несу наказание от Бога».

— Хорошо, что вы поняли это.

— Слишком поздно. Он ушел тогда, когда это было удобно для него, и оставил меня одну — чтобы я умирала не один раз, а тысячу. Одну оставил. Было время, они все надежды вкладывали в революцию. А последние тридцать лет жаждали контрреволюции. Но какая разница? Все они старые и больные. Нынешнее поколение не представляет, как это было на самом деле. Но амбиции остались, и потому агония продолжается. Теперь он со всем примирился.

* «Идише тохтер» (букв. «еврейская дочь») — в просторечии, еврейская девушка.

Зазвонил телефон. Это был Попов. Мария Давидовна сообщила ему, что случилось. Постоянно повторяла: «Да, да, да».

Вскоре Попов и Бюлов приехали. Это не заняло много времени. За ними и другие — седобородые, с белыми усами. А один даже на костылях. Пиджак у Попова был в пятнах. Щеки пламенели, будто он только от горячей плиты. Детские глаза под косматыми бровями, казалось, упрекали: «Смотрите, что он с нами сделал!» Бюлов взял запястье и проверил пульс. Помотал отрицательно головой, а лицо приняло такое выражение, как если бы он говорил: «Это против всех правил, граф. Так не ведут себя в порядочном обществе». Умелой рукой свел челюсти, и рот закрылся.

Начали собираться и женщины — в длинных старомодных платьях, на высоких каблуках, редкие уже волосы стянуты в пучок на затылке, заколоты шпильками. У одной на плечи накинута турецкая шаль — так когда-то одевалась моя мать. В Америке я успел позабыть, что существуют лица в морщинах, согбенные спины. Вошла старуха, опираясь на две палки. Она сделала лишь один шаг, и раздался треск — это она наступила на пенсне Марии Давидовны. Маленький подбородок, весь в волосах, трясся, будто она произносила заклинания. Я узнал ее по портрету, который видел как-то в книге. Она была главным специалистом по изготовлению бомб и просидела много лет в одиночной камере знаменитой Шлиссельбургской крепости.

Я собрался было идти, но Мария Давидовна попросила меня остаться. Она представляла меня все новым и новым визитерам, и я услышал имена, известные мне лишь по книгам, журналам, газетам: вожди революции, руководители думских фракций,

члены кабинета Керенского. Каждый из них произносил когда-то исторические речи, участвовал в конференциях, которые решали судьбу России. И хотя я не знал русского, лишь польский, но понимал все.

Старуха с палками спросила:

— Свечи будем зажигать?

— Свечи? Нет, — ответил Попов.

Та, которая была в турецкой шали, хрустнула ревматическими пальцами и сказала:

— Он красив и теперь.

— Может, следует прикрыть тело? — предложил старик на костылях.

— Кто заменит его? Кто встанет на его место? — спросил Попов. И сам же ответил: — Некому.

Лицо покраснело, будто от апоплексического удара, и потому борода казалась еще белее. Он бормотал:

— Мы все уходим. Скоро не останется никого.

Вечность предъявляет свои права — сие великая загадка. Россия забудет нас.

— Не преувеличивайте, Сергей Иванович.

— Сказано в Библии: поколение уходит, и другое приходит на его место. Вчера еще он был отважен и молод — прямо орел.

Один из этой группы, маленький, легкий, с силой бородкой, в очках с толстыми стеклами, начал что-то вроде надгробной речи: «Он жил для России и умер для России».

Мария Давидовна прервала его:

— Он жил только для себя. Мир никогда не знал большего эгоцентрика — никогда, никогда!

Наступило молчание. Зазвонил телефон, но никто не брал трубку. Все ошеломленно молчали, растерялись, смотрели на нее с упреком. Но готовы были тут же ее простить. Мария Давидовна закрыла лицо руками и глухо зарыдала.

Оба они жили в одном со мной доме у Сентрал-парка: он двумя этажами ниже, а она прямо надо мной. Эти двое представляли собой столь разительный контраст — трудно даже вообразить. Морис Теркельтойб писал «правдивые истории» на идиш для еврейской газеты, в которой сотрудничал и я. Маргит Леви — последняя любовь какого-то итальянского графа. Одно только у них и было общее: ни о ком из них я не знал, что правда, а что нет. Морис уверял, что все его истории выдуманы. Но я понимал: не может быть все придумано. Там были такие подробности, такие необычные эпизоды, выдумать которые невозможно. Например, я встречал Мориса в компании пожилых людей — и довольно часто, — которые будто сошли прямо со страниц его рассказов. Писать он совершенно не умел. Избитые фразы, штампы, дешевые клише — вот его стиль. Как-то в редакции газеты мне попалась на глаза его рукопись. Ни малейшего понятия о синтаксисе. Запятые и тире — совершенно без разбору, безо всякого смысла. Каждое предложение заканчивалось многоточием. Однако же Морис хотел, чтобы я считал его настоящим писателем — не репортером.

Как только мы познакомились, на меня посыпались всякие небылицы. Женщины просто бросались в его объятия — светские дамы, звезды из «Метропо-

литен-опера», известные писательницы, балерины, актрисы. Стоило ему уехать в Европу — из отпуска он возвращался со списком самых последних любовных приключений. Как-то раз он показал мне адресованное ему любовное письмо, а я узнал его почерк. А в свои «истории» он даже не стеснялся вставлять сцены из мировой литературы. На самом же деле это был одинокий старый холостяк с больным сердцем. И почку ему уже удалили. Он будто и не подозревал, что у него нет почки. Я же случайно узнал об этом от его родственника.

Морис Теркельтойб был невысокого роста, коренастый, с остатками седых волос, которые он зачесывал с одной стороны на другую — мост, перекинутый через лысину. Большие водянистые глаза, нос, похожий на клюв, почти безгубый рот — просто узкая щель. Как откроет — сплошь вставные зубы. Говорил мне, что среди его предков был раввин, но и торговцы тоже. В юности изучал Талмуд, и потому разговор его был пересыпан талмудическими изречениями. Родным языком его был, конечно, идиш. Говорил он и на ломаном английском, с ошибками по-польски, и еще на какой-то помеси идиш и немецкого — языке сионистских конгрессов. Мало-помалу я все же научился извлекать крупинцы истины из всех его выдумок и преувеличений. В Польше он обручился с дочерью раввина — она умерла за неделю до свадьбы. Потом учился в раввинистической семинарии Гильдесгеймера в Берлине, но не окончил курс. В Швейцарии слушал лекции по философии в университете. Опубликовал несколько стихотворений в сборнике на идиш, печатал статьи в «Морнинг Стар» — газете на иврите. Про его хозяйку я знал только то, что она вдова учителя иврита. Но как-то встретил

ее на новогодней вечеринке, и после нескольких рюмок она разоткровенничалась. Уже несколько лет как у нее связь с Морисом. Он страдает бессонницей, иногда бывают у него периоды импотенции. Она вышучивала постоянное хвастовство Мориса. К примеру, он похвалялся, будто у него были любовные похождения с Айседорой Дункан.

А Маргит Леви, что жила надо мной, казалось, почти никогда не лгала. Но обстоятельства ее жизни были столь сложные и запутанные, что я никак не мог в них разобраться. Отец ее — еврей, мать — венгерская аристократка. Отец вроде бы покончил с собой, узнав, что у жены роман с одним из графов Эстергази — родственником того самого Эстергази, который считался главной фигурой в деле Дрейфуса*. А любовник матери совершил самоубийство, когда проиграл состояние в Монте-Карло. После его смерти мать Маргит помешалась и оставалась в психиатрической больнице — в Вене — на протяжении аж двадцати лет. Росла Маргит у тетки — сестры отца, а у той был сожитель — владелец кофейной плантации в Бразилии. Маргит Леви говорила на дюжине языков. Целые чемоданы фотографий, самого разного рода документов подтверждали истинность всех ее рассказов. Она любила повторять: «Про мою жизнь не одну книжку написать можно. Серию романов. Голливудские фильмы — детские игрушки по сравнению с тем, что происходило со мной».

Теперь же Маргит жила на пансионе у некоей старой девы — занимала у нее комнату и выживала

* Знаменитый процесс (1894 г.) во Франции по обвинению Альфреда Дрейфуса (1859–1935), еврея, офицера французского Генерального штаба, в государственной измене.

только за счет социальной помощи. Страдала ревматизмом. С трудом передвигала ноги. Только мелкими шажками, и притом опираясь на две палки. Хотя она и говорила, что ей шестьдесят с небольшим, по моим подсчетам выходило, что ей далеко за семьдесят. Вокруг этой женщины царила постоянная неразбериха и путаница. Каждый раз она что-нибудь у меня да забывала — записную книжку, перчатки, очки. Могла забыть даже одну из своих палок. То красила волосы в рыжий цвет, то в черный. Румянилась, несмотря на морщины. Да и вообще употребляла слишком много косметики. А все равно были видны темные мешки под покрашенными глазами. Пальцы скрючены от ревматизма, а лак на ногтях — ярче яркого. При взгляде на шею возникала мысль об оципанном цыпленке. Я пытался объяснить ей, что слаб в языках, но Маргит снова и снова пыталась говорить со мной то по-французски, то по-итальянски, то по-венгерски. Фамилия у нее была еврейская, но я заметил, что под блузкой — маленький крестик: может, она даже крещеная — думал я. Раз как-то Маргит Леви взяла в библиотеке мою книгу и с тех пор стала постоянным моим читателем. Уверяла, что обладает всеми теми таинственными силами, о которых я пишу: телепатия, ясновидение, способность предугадывать события, дар общения с умершими. У нее была доска для спиритических сеансов и маленький столик без единого гвоздя. Несмотря на страшную бедность, она выписывала целую кучу оккультных журналов. После первого же визита Маргит взяла меня за руку и произнесла дрожащим голосом: «Теперь я знаю, что вы вошли в мою жизнь. Это будет моя последняя дружеская привязанность».

Принесла в подарок запонки — они остались ей в наследство от графа Эстергази — того самого Эстергази, который потерял тысячу крон за одну ночь и пустил себе пулю в лоб.

Ни разу мне не случилось видеть этих двоих вместе. Правда, я никогда и не приглашал никого из них. Раздавался стук в дверь, и если я не был занят, после вопроса: «Кто там?» приглашал войти. Предлагал ей — или ему — кофе с печеньем. Морис получал из Тель-Авива газеты на иврите. Если появлялась рецензия на мою книгу или просто анонс, он приносил газету. А Маргит пекла торты. Так, время от времени. Нет-нет да принесет мне кусочек. У хозяйки есть духовка, почему бы не испечь?

И вот как-то раз получилось, что оба зашли одновременно. Маргит нашла наконец письмо, о котором раньше говорила. А Морис принес журнал — из Южной Африки! — там был мой рассказик. Я представил их друг другу. Оба давно жили в этом доме, но знакомы не были и даже никогда не встречались. В последнее время Маргит стала глуховата. И никак не могла правильно произнести: «Теркельтойб». Подставляла ухо, хмурила брови, а все равно раз за разом неправильно произносила фамилию. При том кричала прямо в ухо Морису, будто бы глухой — он. Морис заговорил с ней по-английски. Она ничего не поняла — из-за произношения. Он перешел на немецкий. Ничего не понимая, Маргит трясла головой и заставляла повторять каждое слово. Поправляла произношение, отмечала грамматические ошибки — как учитель у нерадивого ученика. И что у него за манера глотать слова! А когда Морис волновался, переходя на пронзительный

фальцет, голос его становился резким до визга. Не допив кофе, он поднялся и направился к выходу. «Что за сумасшедшая старуха?» — и хлопнул дверью так, будто это я виноват в том, что он не произвел впечатления на Маргит.

Только он ушел, Маргит, преувеличенно вежливая с каждым, Маргит, которая никогда не упускала случая отпустить комплимент соседской собаке или кошке, эта Маргит назвала Теркельтойба круглым дураком, дубиной неотесанной, бандитом с большой дороги. Хоть она и знала, что сам я из Польши, но так разошлась, что обозвала его «польским Шлемилем»*. Правда, тут же извинилась и рассыпалась в уверениях, что я исключение. На щеках проступили пятна — такие, что и толстый слой румян не мог их скрыть. Отставила кофе. Поднялась. Уже в дверях, сжав мне руками запястья, умоляюще произнесла: «Пожалуйста, дорогой, не допускайте больше, чтоб я снова встретилась с этим чудовищем». И поцеловала меня.

Пока Маргит спускалась по лестнице, до меня доносились ее причитания. Маргит боялась лифта. Застряла как-то на три часа: ей прищемило руку дверью, и она потеряла кольцо с бриллиантом.

* Шлемиль — герой повести Шамиссо «Приключения Питера Шлемиля» (повесть о человеке, потерявшем свою тень; этот сюжет заимствовал Г.-Х. Андерсен, а затем Евг. Шварц). Вот что пишет Шамиссо брату, переводчику повести на французский язык: «Шлемиль, или вернее, Шлемиель — еврейское имя. Оно означает то же, что Теофиль, Готлиб или Амадео. В обиходной речи евреев это имя служит для обозначения неловких или неудачливых людей, которым в жизни не везет. Такой Шлемиль ломает палец, сунув его в жилетный карман. Он падает навзничь и ухитряется сломать себе переносицу. Он всегда является некстати и т. д. В общем, Шлемиль — человек, который должен дорого платить за то, что другому сошло бы безнаказанно». Видимо, Шлемиель и Шлемазл — одно и то же.

После всего случившегося я решил, что уж теперь ни за что не допущу, чтобы они снова встретились у меня. Да и терпение мое истощилось. Если Морис не хвастал успехом у женщин и не бахвалился тем, какие он получает предложения от издательств, от университетов, то обязательно жаловался на грубость редакторов, рецензентов, бюрократов из Союза журналистов, на секретарей в писательском клубе. Нигде его не признают. Все хотят погубить. В нашей газете корректоры не только не исправляют ошибки, но даже нарочно коверкают его текст. Как-то он поймал верстальщика на том, что тот переставлял целые строки в его рассказе. Морис написал жалобу в Союз печатников, но даже ответа не получил. Да и вся литература на идиш — сплошной рэкет. Драматурги крадут сюжеты из его рассказов.

— Думаете, я страдаю манией преследования? Не забывайте: люди и в самом деле преследуют друг друга.

— Да нет. Я и не думаю так вовсе.

— Даже родной отец преследовал меня.

И Морис затянул нараспев длинный заунывный монолог — из него можно было сделать целую серию, дюжину так называемых «правдивых историй». Попытаться прервать его, расспросить о деталях было невозможно. Морис так увлекался, говорил с таким напором, — где уж тут остановишь. Он просто отмахивался от моих вопросов, отсекал их нетерпеливым жестом руки.

И все же у Маргит и Мориса, несмотря на все различия, было много общего. Как и он, Маргит путала имена, даты, эпизоды. И так же обвиняла людей в бесчисленных обидах, которые ей нанесли, даже если эти люди давно умерли. Все злые силы

мира сговорились уничтожить Маргит Леви. Брокер, которому она доверила деньги, разорился, и деньги пропали. Врач-ревматолог прописывал такие лекарства, которые только разрушали ее тело и усугубляли болезнь. Не лечил, а прямо-таки убивал ее. Зимой она неизменно подвораживала ногу на льду, падала на эскалаторе в универмаге. Сумочка вываливалась из рук. Стоило ей выйти на улицу, как даже среди бела дня она оказывалась в гуще толпы. Клялась: всякий раз, когда она уезжает, хозяйка — старая дева — носит ее платья и белье, распечатывает письма, пользуется лекарствами.

— Кому нужны чужие лекарства? — возражал я.

— Если бы человек мог, он и глаз у другого украл бы.

Однажды летом я надолго уехал. Побывал в Швейцарии, потом поехал во Францию, в Израиль. Уехал в августе, а вернулся только в декабре. Квартплату я внес вперед, а для воров у меня не было ничего интересного: только книги да рукописи.

В день моего возвращения в Нью-Йорке валил снег. Выйдя из такси перед подъездом, я просто обомлел: Маргит Леви брела, еле передвигая ноги, опираясь на палку и на костыль, а Морис поддерживал ее под руку. Свободной рукой он толкал перед собой тележку из супермаркета на авеню Колумбус. На морозе лицо Маргит казалось желтым как воск и еще более морщинистым, чем обычно. На ней было потрепанное меховое пальто и черная шляпка — это все напоминало времена моего детства в Варшаве. Выглядела она измученной, изнуренной болезнью. Глаза смотрели пронзительно — так птица смотрит на свою добычу. Морис тоже

сильно сдал. Нос — длинный как клюв — покраснел, а на лице торчали пучки белых волос.

Уж как я удивился — не передать. Но лишь в первое мгновение. Через минуту я подошел к ним и спрашиваю: «Как поживаете, мои милые?» Маргит покачала головой: «Разве сами не видите?»

Потом сосед рассказал, что старая дева, у которой жила Маргит, отказалась от квартиры и уехала в Майами. И Маргит оказалась буквально выброшена на улицу — безо всякого предупреждения. В конце концов она поселилась у Мориса. Как все получилось, сосед, похоже, и сам не знал. На почтовом ящике Мориса теперь стояло и имя Маргит Леви — я сразу обратил внимание.

Прошло несколько дней, и Маргит появилась у меня. Мешая немецкий с английским, она плакала и долго рассказывала, как эта эгоистка, эта старая дура решила съехать, не предупредив ее, и какое равнодушие выказали все соседи. Единственный, кто проявил доброту и сочувствие, был Морис. Маргит держала себя так, будто снимает комнату у Мориса. Но уже на следующий день раздался стук в дверь. Это был Морис. Несмотря на его многословие, я сразу понял, что их отношения — нечто большее. Как всегда, выразительная жестикуляция, и Морис наконец заключил: «Старше становимся, не молодеем. Когда болеешь, хочется, чтобы кто-то подал тебе стакан чаю». Он кивал, подмигивал, смущенно и робко улыбаясь, — и пригласил зайти к ним вечером.

После ужина я спустился. Маргит встретила меня как хозяйка. Квартира сияла чистотой. На окнах — занавески, стол накрыт скатертью. А на столе посуда, которая могла принадлежать, конечно же, только Маргит. Я принес цветы. Она поце-

ловала меня и уронила слезинку. Оба обращались друг к другу на «вы», как и прежде, но мне показалось, что Маргит раз оговорилась, и я услышал «ты» вместо «вы». Оба говорили на какой-то невероятной помеси английского с немецким, да еще и с идиш. Селедку Морис ел руками, но когда он стал вытирать руки рукавом, Маргит сказала: «Вот ваша салфетка. Здесь все же не Климонтов. Это Нью-Йорк».

И Морис ответил с типичной интонацией польского хасида: «Ну, так дак так».

Зимой на Мориса обрушились болезни. Началось с гриппа. Потом врач обнаружил диабет, назначил инсулин. Больше Морис не спускался за газетой, а рукописи отправлял по почте. Маргит жаловалась, что он не в состоянии читать свои же статьи в газете — так много там ошибок. У него прямо сердце заходится. Она попросила меня принести для него корректуру из редакции. Я и рад был бы помочь, но теперь сам редко туда ходил. Совершенно не было времени. Я теперь читал лекции и порой уезжал на неделю, а то и больше. Как-то раз, зайдя в наборный цех, я увидел там Маргит. Она ждала корректуру. Теперь ей приходилось ездить на метро два раза в неделю — забирать корректуру и потом возвращать обратно. Увидав меня, Маргит пожаловалась: «Обострение болезни очень опасно. Тут никакие лекарства не помогают». И добавила нечто такое, что могло исходить только от Мориса: «Писатель умирает не от плохого лечения, не от ошибок врача. Он умирает от типографских ошибок». В типографии рабочий — ученик — торопливо набирал текст. Маргит надела очки и стала просматривать. Мальчишка все время отвлекался, набирал так небрежно, что про-

пускал строчки, даже целые абзацы: бумага была слишком короткая, чтобы вместить всю колонку. Маргит не знала идиш, но даже она понимала, что верстка никуда не годится. И бродила среди всех этих гудящих машин, пытаюсь разыскать наборщика. Мальчишка кричал на нее, обрывал на полуслове. Маргит жаловалась: «И так в Америке создается литература?»

К весне Морис поднялся с постели, теперь он сам ходил по делам. Но тут слегла Маргит: печеночные колики, камни в желчном пузыре — ее увезли в больницу. Морис навещал ее по два раза на день. Врачи нашли осложнения. Пришлось делать анализы. Без конца брали кровь. Морис говорил теперь, что врачи в Америке совершенно не уважают больного: режут, кромсают его, будто перед ними уже труп, а не живой человек. Сестру не дозовешься, больных не кормят. Морису приходилось варить суп для Маргит и носить ей апельсиновый сок. «И чем врачи лучше писателей? Режиссеров? Одна порода», — так он теперь говорил.

Я снова уехал. Меня не было три месяца. Когда вернулся, как удар — заметка в газете: «Ассоциация еврейских писателей проводит вечер памяти Мориса Теркельтойба — на тридцатый день после смерти». Он-таки умер от сердечного приступа, когда вычитывал корректуру. Может, причиной смерти послужила типографская ошибка? На этот вечер я повез Маргит на такси. Зал был плохо освещен, полупуст. Маргит — вся в черном. Она не понимала идиш — совсем не понимала. Но каждый раз, когда произносилось имя Мориса Теркельтойба, едва сдерживала рыдания.

Прошло несколько дней, и ко мне постучалась Маргит. Впервые я увидел ее без косметики. Теперь она выглядела на все девяносто. Пришлось помочь ей сесть в кресло. Руки дрожат, голова трясется, и даже говорит с трудом: «Не хочу, чтобы рукописи Мориса выбросили на свалку после моей смерти», — начала она. Пришлось дать торжественное обещание, что я найду организацию, которая примет на хранение рукописи Мориса, его книги и бесчисленное количество писем — они копились у него в сундуках, чемоданах, даже бельевых корзинах.

Маргит прожила еще тринадцать месяцев. Все это время она приходила ко мне с разными проектами. Хотела издать сборник: собрать лучшее из того, что написал Морис. Но после него осталось так много рукописей. Понадобились бы годы, чтобы в них разобраться. Да разве мы смогли бы найти издателя? Шансов почти не было. Маргит задавала и задавала один и тот же вопрос: «Почему Морис не писал на каком-нибудь понятном языке — польском, например, или же венгерском?» Просила меня достать учебник, чтобы учить идиш. Она ничего не прочла из того, что написал Морис, но до небес превозносила его талант, называла гениальным писателем. Потом она нашла рукопись — нечто вроде сценария — и потребовала, чтобы я предложил эту вещь театральному режиссеру или нашел кого-нибудь, кто перевел бы ее на английский.

Последние месяцы Маргит больше времени проводила в больнице, чем дома. Я навещал ее раз-другой. Она лежала в общей палате. Она так переменялась, что каждый раз я боялся, что не узнаю ее. Запавший рот без вставной челюсти. Нос заострился и загнулся — совсем как у Мориса. Маргит разговаривала со мной по-немецки, по-фран-

цузски, даже по-итальянски. Однажды я застал у ее постели еще одного посетителя — адвоката, немецкого еврея. Они обсуждали, как купить место на кладбище Климонтовской общины, рядом с могилой Мориса.

Маргит умерла в январе. Был морозный день. Дул резкий, холодный ветер. Только двое пришли на похороны: адвокат и я. Раввин скороговоркой прочитал: «Господи, милосерден Ты...» и произнес краткое надгробное слово. Потом вдруг сказал: «В наше время только сельский житель имеет эту привилегию — оставить по себе доброе имя. А в таком городе, как Нью-Йорк, имя человека часто забывают раньше, чем он умирает». Гроб водрузили на катафалк, и Маргит Леви отправилась в вечность — одна, без сопровождающих.

Хотелось выполнить обещание, данное Маргит: пристроить как-нибудь рукописи Мориса. Куда я только ни звонил — никто не соглашался принять рукописи на хранение. Я взял у нее чемодан с рукописями Мориса и два альбома фотографий, принадлежавших Маргит Леви. Все остальное выбросили на улицу. В тот день я даже не стал выходить из дома.

В чемодане я нашел, к немалому моему удивлению, пачки поблекших писем от женщин, все на идиш. Одна грозила покончить с собой, если Морис к ней не вернется. Нет, Морис Теркельтойб все не был патологическим хвастуном, как я про него думал. Я припомнил вычитанное у Спинозы: «Лжи не существует, есть лишь искаженная правда». Странная мысль мелькнула у меня: может, среди этих писем есть и письмо от Айседоры Дункан?.. В тот момент я совсем забыл, что Айседора не знала идиш.

Через год после смерти Маргит я получил от общины Климонтова приглашение — почтить присутствием торжественное открытие памятника Малке Леви. Община даже дала ей еврейское имя! Но в воскресенье пошел снег, и я не сомневался, что открытие памятника отложат. К тому же я проснулся с жестоким приступом ишиаса. Принял горячую ванну. Но не для кого и не для чего было бриться и одеваться. Да и не скажу, чтобы кто-то был мне нужен. Я взял в руки один из альбомов Маргит, несколько писем Мориса. Рассматривал фотографии, читал письма. Дремал, что-то мне снилось. Сны забыл сразу, как проснулся. Нет-нет и смотрел в окно. Пустынный парк напоминал кладбище. Дома торчали как надгробия. Падал снег. Падал медленно, редко-ми хлопьями, будто размышляя о собственном падении. Короткий день близился к концу. Солнце садилось за Риверсайд-драйв, и вода казалась пылающим факелом. Радиатор, около которого я грелся, свистел и бормотал: «Прах, прах, прах...» Его речитатив проникал внутрь вместе с теплом, исходящим от него. Он повторял вечную истину — старую как мир и глубокую как сон...

Из сборника
ДРУГ КАФКИ

Из сборника
A FRIEND OF KAFKA

ЯША-ТРУБОЧИСТ

Удар удару — рознь. Удар по голове — это вам не шутка. Мозг — вещь тонкая. Кто его знает, может, там и живет душа? Вы спросите: почему не в печенке или, пардон, в кишках? А потому. Посмотрите в глаза — и душу увидите. Глаза — это окошки, из которых она выглядывает. Был у нас в местечке трубочист. Прозывался Черный Яша. Трубочисты все черные. Как же иначе? Но Яша этот будто таким и уродился. Волосы — что сажа. Торчат в разные стороны. Глаза черные. Кожу не отмоешь — сажа въелась. Только зубы белые. Отец Яши был городской трубочист, и Яша трубочистом стал. Взрослый уже был мужчина, а все не женился. Жил вдвоем с матерью, старой пани Мацевой.

Он приходил раз в месяц. Босой. И каждый его шаг оставлял черный след на полу. Мать, упокой Господи ее душу, бежала ему навстречу и не пускала дальше. Платил ему город, но хозяйки обычно давали ему кто кусок хлеба, а кто и копейку-другую, когда Яша закончит. Такой уж был обычай. Детишки ужасно его боялись, хотя он никому не делал зла. Совершенно безобидный был этот Яша. По воскресеньям ходил в баню, мылся, потом, как и все поляки, шел с матерью в костел. Но после бани он казался почему-то еще чернее. Может, оттого и жену не мог себе сыскать.

Как-то в понедельник — помню, будто это было вчера, — пришел к нам Файтель-водонос. Рассказал, что Яша упал с крыши Тевье-Боруха. У того был двухэтажный дом на Базарной. Все жалели Яшу. Он так ловко взбирался на крышу! Будто кошка... Но если уж кому суждено несчастье, стороной не обойдет. Это ж самый высокий дом! Яша разбил голову, но не повредил ни рук, ни ног — так Файтель сказал. Кто-то повел его домой. Жил он на краю города в полуразвалившейся халупе, у самого леса.

Некоторое время про Яшу ничего не слышать было. Но что поделаешь? Городу все равно трубочист нужен. Собрались другого нанимать. Тут опять Файтель-водонос пришел — с двумя бадейками на коромысле. Вот он и говорит матери: «Фейге-Брайна! Слыхала новости? Яша-трубочист теперь мысли читает». Мать рассмеялась и даже фыркнула. «Это что за шутки?» — спросила она. «Это не шутка, Фейге-Брайна! — сказал Файтель-водонос. — Вовсе даже не шутка. Он лежит на кровати с перевязанной головой и, кто бы к нему ни пришел, все секреты его угадывает». «Спятил, что ли?» — огрызнулась мать. Не поверила. Но тут в местечке об этом заговорили. Объясняли так: удар что-то освободил в его мозгах, что-то там повернулось, и Яша стал ясновидящим.

Был в нашем местечке учитель. Нохем Мехелес его звали. Так он Яшу пророком теперь называть стал. Раньше о таком и слыхом не слыхивали. Если б удар по голове каждого делал ясновидящим, сколько б их у нас уже было!... Но ведь люди ходили к нему и все видели собственными глазами! Достоешь пригоршню монет из кармана и спраши-

ваешь: «Яша, что у меня в руке?» А он и говорит: «Трехкопеечные есть и четыре пятака, шесть грошей». Монеты пересчитают, и все сходится в точности, до последнего гроша. А другой спросил: «Яша, что я делал на прошлой неделе в Люблине?» Яша сказал, что тот был в шинке с двумя своими приятелями. Описал все в точности, будто они сейчас перед ним сидели.

До городских властей слух дошел, да и доктор узнал, что происходит. Сразу прибежали. У Мацеховой крошечная была хатенка, такая низенькая, что те, кто приходил, до потолка головой доставали. Его сразу стали спрашивать. И он отвечал. Окрестные мужики говорили, что Яша — святой. Ксендз не знал, что и делать. Еще немного, и они станут поклоняться Яше, как святой иконе! Но доктор сказал, что Яша не сможет ходить. Да и раньше-то он бывал в церкви не иначе как по воскресеньям.

Да, вот он лежит на соломенном тюфяке, этот Яша. Простой парень. Ест, пьет, играет с собакой, которую его мать держит. Однако же знает все: скажет, у кого сколько денег в карманах брюк, в нагрудном кармане. Знает, кто где деньги прячет. Знает, сколько ты выложил на выпивку позавчера.

Мацехова увидела, какой на Яшу спрос, и сразу назначила цену: по копейке с человека. И она получала их, эти свои копейки. Доктор написал в Люблин. Оттуда послали донесение выше. Приехали из Люблина, приехали из Замостья. Губернатору доложили. Тот распорядился прислать комиссию. Городское начальство испугалось. Велено было как следует подмести улицы, мусор убрать. На Базарной так вымели, что ни прутика какого,

ни соломинки не найти. Ратушу срочно побелили. И все из-за кого? Из-за Яши-трубочиста. У Гителе в заезжем доме шум и гам, моют и чистят. Кому могло присниться, что сюда пожалуют такие гости?

И вот вся компания отправилась в Яшин домишко. Они задавали вопросы, и ответы Яши наполняли страхом их сердца. Кто знает, какая вина за человеком, какие тайные дела. Все они брали взятки, и Яша это им в лицо сказал... Что вообще этот трубочист понимает? Самый главный — забыл, как его звали — настаивал на том, что Яша не в своем уме и его надо отправить в сумасшедший дом. Наш доктор еле отстоял его: пациента нельзя трогать, это убьет его.

Прошел слух, что доктор и губернаторская депутация так сцепились, таких грубостей друг другу наговорили, что чуть до драки не дошло. Но наш доктор был не просто доктор: городской врач, назначенный попечительским советом. Честный, строгих правил человек. Ни разу никому не удалось его подкупить, и ему нечего было бояться, что там Яша узнает. Все же кто-то из комиссии, видно, настроил жалобу на доктора. Потому что вскоре после этого доктора перевели в другой округ.

А что же Яша? Он поправился и опять пошел чистить трубы. Но все при нем осталось. Яша заходил в дом за своими грошами, и хозяйки непременно спрашивали что-нибудь такое. «Скажи, Яша, а что там у меня слева в шкафу?» — «Что у меня в кулаке?» — «Что у меня было на обед?» Он им все правильно говорил, а они ему: «Яша, ну как это у тебя получается? Откуда ты все знаешь?» Он пожимал плечами: «Знаю, и все тут. Это ко мне пришло, как головой ударился» — и показывал на висок. Ему бы

теперь ездить по большим городам, и люди бы деньги платили, лишь бы поглядеть на Яшу. Но кому придет в голову позаботиться об этом?

В местечке нашем было несколько воришек. Белье воровали с чердаков и вообще тащили все, что плохо лежит. Но теперь уж не украдешь! Ведь можно прийти к Яше, и он сразу скажет, кто украл и где спрятал. Мужики знали про Яшу. Если у кого уведут лошадь, тот сразу идет к нему. Несколько воров уже сидели в тюрьме. Конечно, ворам конец пришел. Они открыто везде говорили, что Яше несдобровать. Но Яша-то знал их планы наперед! Вот они явились, чтоб убить его, а он в соседском амбаре заранее спрятался. Они камень бросают, а он успевает отпрыгнуть в сторону раньше, чем камень пролетит.

Кто-то потеряет вещь, или деньги, или украшения — Яша всегда скажет, где они. Ему это ничего не стоило. Так, пустяк. Даже не задумается ни на секундочку. Ребенок потеряется — мать к Яше бежит. Воришки наши распускали слухи, будто он сам крадет детей. Но им не верили. Ему ведь никто не платил ничего. Мать его требовала денег, но сам он — никогда. Прямо дурачок какой-то. Не знал цены деньгам, и все тут.

Был у нас в местечке раввин, реб Ареле его звали. Приехал к нам из большого города. В канун Великой Субботы перед Пасхой он в синагоге читал проповедь. И о чем же? Про Яшу-трубочиста он говорил. Вот так. Неверующие, сказал он, отрицают, что Моисей* был пророком. Они думают, что все в мире должно подчиняться разуму. И откуда

* Моисей — первый еврейский пророк. Возглавил Исход евреев из Египта. Во время сорокалетнего странствования по пустыне на горе Синай получил от Всевышнего Тору и Скрижали Завета с начертанными на них Десятью Заповедями.

Яше знать, что бубличница Ите-Хая уронила венчальное кольцо в колодец? Уж если Яша-трубочист может необъяснимым образом знать, куда девалась пропажа, как можно сомневаться, что святые цадики наделены необычайной, сверхъестественной силой? Водилось у нас несколько безбожников в местечке, но тут уж и им нечего было сказать.

Со временем про Яшу узнали и в Варшаве. Газеты о нем писали. Из Варшавы прислали еще комиссию. Городской голова выслал глашатая, чтобы тот ходил по дворам и громко объявлял: все дворы подмести, все дома срочно привести в порядок. Базарную подмели так, что там не осталось ни пылинки, ни былинки. После праздников Кущей начались дожди. В местечке была только одна улица, мощеная булыжником — та, на которой костел. Чурбачки, доски, бревна положили везде, где надо пробираться через грязь, — чтобы начальство из Варшавы не завязло. Гитель, хозяйка постоянного двора, приготовила новые тюфяки, запаслась чистым постельным бельем. Все местечко бурлило, прямо ходуном ходило. Должно быть, один Яша не волновался. Ходил себе по местечку да трубы чистил. Даже, наверно, не понимал смысла происходящего — совсем не боялся этих чиновников из Варшавы.

А теперь послушайте-ка: за день до приезда комиссии прошел сильный снегопад, а потом сразу мороз ударил. У Хаима-пекаря что-то с дымоходом было не в порядке: из трубы летели сильные искры и даже языки пламени появлялись наверху. Хаим боялся, как бы пожар не вспыхнул, и послал за Яшей-трубочистом. Яша пришел с метлой и прочистил дымоход. В пекарне ведь печь часами топится, и в дымоходе, а также около трубы, скопилось много сажи. Яша стал спускаться, поскользнулся и упал.

Снова ударился головой, но не так сильно, как в прошлый раз. Поднялся и домой пошел.

Так вот, дружочек, что я тебе скажу, да и все остальные слушайте: на следующий день приехала комиссия, стали Яшу спрашивать про то да про это. А он уж ничего не знает.

Первый раз что-то открылось в нем, а на второй закрылось. Господа эти спрашивают: сколько денег в кармане? Что кто вчера делал? Что кто ел неделю назад? Но Яша только ухмыляется с самым дурацким видом и повторяет: «Не знаю».

Эти паны из Варшавы разозлились ужасно. Ругали и начальника полиции, и нового доктора... Бранились на чем свет стоит. Для чего они проделали такой долгий путь? Зачем тащились в дальнюю даль? Чтобы посмотреть на этого простофилю? Дубина неотесанная, больше ничего, этот ваш трубочист.

Начальство наше клялось-божилось, что еще день-другой назад Яша знал все-все, но гости из Варшавы и слушать ничего не хотели. Им объясняли, что Яша упал с крыши и снова ударился головой. Но вы же знаете, каковы люди: верят только собственным глазам. Начальник полиции самолично пришел к Яше и стал тузить его кулаками. Прямо по голове бил. Может, хотел обратно вернуть утерянное. Но раз дверца в мозгах закрылась, то уж закрылась. Ничего не поделаешь.

Комиссия вернулась в Варшаву и отрицала всю историю от начала до конца. Еще год-другой Яша чистил трубы в нашем местечке. Потом разразилась эпидемия, и он умер.

В мозгу человеческом разные есть дверцы, много всего-всего. Бывает, головой ударился — и что-то в мозгах нарушилось. И все это с душой, с душой связано. Без души голова не умнее, чем ноги.

МЕЧТА БАРОНА ГИРША

Что это было? Будто долгий-долгий сон: морем в Аргентину — целых восемнадцать дней неторопливого существования, неожиданные встречи с соотечественниками. В Буэнос-Айресе и Монтевидео, мое выступление в театре «Солей», и затем — поездка на машине в Энтре Риос. Там у меня была назначена лекция. Вместе со мной ехала еврейская поэтесса. Звали ее Соня Лопата. Она собиралась там читать стихи. Была суббота — теплый весенний день. Мы проезжали маленькие сонные городки, купающиеся в лучах солнца. Дорога все тянулась и тянулась — узкая дорога среди распаханых полей и пастбищ, где паслись огромные стада овец. Овцы щипали травку, и незаметно было никакого присмотра за ними. Всю дорогу Соня болтала с шофером по-испански — на языке, которого я не понимал. И одновременно Соня то сжимала мою руку, то притягивала к себе, то похлопывала по ладони. Раз даже вонзила ноготь в ладонь. Меня одолевали забытые ощущения: ясное небо без единого облачка, широкий горизонт, полуденный зной, аромат апельсиновых деревьев, доносившийся неизвестно откуда. Так иногда бывало и раньше, в прежней моей жизни.

Примерно часа в два дня мы затормозили и остановились: у дороги стоял дом — то ли гостиница, то ли небольшой салунчик. Шофер постучал. На стук никто не вышел. Он долго грохал по двери, ругался. В конце концов появился маленький

сонный человечек. Видимо, хозяин. Мы разбудили его. Прервали сиесту. Придумывая всякие мыслимые и немыслимые извинения, он пытался отделаться от нас. Но шофер был непреклонен. Не хотел пропустить обед. Хозяин отчаянно сопротивлялся... После долгих препирательств, после цветистых попреков с той и другой стороны нас наконец-то впустили. Мы прошли через патио — внутренний дворик, вымощенный разноцветными камешками. В низких широких кадках росли кактусы. Вошли в зал. Там было несколько столов, но ни единого посетителя. Вспомнилась история реб Нахмана Браславера*: про дворец в пустыне, где были накрыты столы для демонов.

Опять появился хозяин. Пошел будить кухарку. Снова попреки, стенания и препирательства. Та разбудила помощницу. Уже было три, а мы только заканчивали обед. Соня сказала: «Что поделаешь! Аргентина есть Аргентина».

Потом была долгая поездка на пароме — мы переправлялись через реку, широченную, как озеро. И вот мы приближаемся к цели нашего путешествия. Колышутся в знойном мареве хлеба, будто зеленое море перед нами. Пыль да пыль на дороге. Чем ближе к селению, тем больше пыли. Пастух на лошади — ковбой — гонит стадо коров. Дикими воплями подгоняет бычков, щелкает кнутом: тощие, облепленные грязью, и страх смерти в расширенных зрачках. Откуда они знают, что их гонят на бойню? Около дороги туша быка. Лишь кости остались да шкура.

* Рабби Нахман Браславер (1772, Меджибож — 1810, Умань) — браславский цадик, Нахман-бен-Симха из Браслава, одна из самых интересных фигур хасидского движения. Правнук Бешта (см. примеч. к с. 192) по материнской линии. Автор многочисленных притч.

Вороны пытаются склевать остатки. На выгоне бык трудится над коровой. Он взобрался на нее, глаза навывкате, налились кровью. Торчат вперед рога.

Весь этот долгий день я не думал о приближении Субботы. Но сейчас солнце клонилось к закату, и, как в детстве, явственно ощущалось ее присутствие. Припомнилось, как отец выпевал речитатив: «Сыны дома Израилева...», а мать произносила нараспев: «Бог Авраама, Бог Исаака...» Грусть и печаль овладели мною. Потом навалилась тоска. Я устал от любезностей и приставаний Сони. Отодвинулся. Мы проезжали мимо синагоги. На ней надпись: «Бейт Исраель»*. Ни огонька. Ни звука. Соня сказала: «Они тут все ассимилированные».

Добрались до гостиницы, где нам предстояло заночевать. В патио оказался бильярдный стол. А еще там были корзинки с рваными книгами. Какая-то женщина, по виду испанка, утюжила рубашку. По обеим сторонам внутреннего дворика двери вели в комнаты без окон. Наши комнаты оказались рядом. Я думал, нас встретят, но никого не было. Соня ушла переодеться. Я вышел в патио, помедлив у корзины с книгами. Боже милостивый! Сколько же тут книг на идиш. И почти на каждой — библиотечный штамп. Смеркалось. Я с трудом разбирал заголовки. Передо мной были книги, околдовавшие меня еще в юности: Шолом-Алейхем, Перец, Л. Шапиро**...

* Бейт Исраель — букв. «Дом Израиля».

** Шолом-Алейхем (наст. имя и фам. Шолом Нахумович Рабинович, 1859–1916) — классик еврейской литературы, чье творчество ознаменовало расцвет критического реализма в еврейской литературе. Писал на идиш, иврите, русском языке.

Ицхок Лейбуш Перец (1851–1915) — еврейский писатель, поэт, публицист, классик еврейской литературы. Писал на идиш.

Ламед Шапиро (1879–1948) — еврейский писатель, представитель импрессионистического направления в литературе на идиш.

А еще переводы из Гамсуна, Стриндберга, Мопассана, Достоевского. Я помнил все: переплет, бумагу, шрифт. В сумерках читать вредно, я знаю, но я напрыгал глаза и читал. Узнавал каждый рисунок, заставку, узнавал знакомые фразы, узнавал опечатки и переносы. Вышла Соня и все объяснила. Прежние поселенцы говорили на идиш. У них была библиотека. Они устраивали лекции, приглашали актеров. Новое поколение перешло на испанский. Однако же они нет-нет да и пригласят кого-нибудь из еврейских писателей. А то еще чтеца или актера. Для этого есть специальный фонд. Это делается больше для того, чтобы не подвергаться критике со стороны столичной прессы. Наверное, осталось лишь два-три старика, которые радуются этому. Остальным все уже безразлично.

В скором времени появился и один из организаторов. Низенький коренастый еврей с иссиня-черными волосами, с блестящими черными глазами. Пожалуй, его скорее можно было принять за испанца или же итальянца. И щеки красные как помидоры. С нами он говорил на скверном ломаном идиш. Перекидывался шутками с хозяином гостиницы, подмигивал ему то и дело. Зашло солнце, и сразу пала на землю такая густая тьма, что никакой лампе, никакому фонарю через эту тьму не пробиться. Первый признак ночной жизни — звенят цикады. Однако же здесь они звучали совершенно иначе, чем в Европе или в Штатах, где я живу теперь. И лягушки квакали по-другому. Иначе расположены звезды. На низком южном небе совсем иные, не привычные моему глазу созвездия. Чудилось еще — я слышу, как воют шакалы.

Через два часа началась лекция. Я рассказывал о еврейской истории, еврейской литературе, но чувствовал, что неотесанные, грубые мужчины в зале

и безобразно толстые женщины вообще не понимают, о чем это я говорю. И не слушали даже. Щелкали орехи, болтали, покрикивали на детей. Жуки, бабочки, всевозможные насекомые влетали сквозь разбитые окна, натыкались на стены. Погасло электричество, потом снова зажглось. Вошла собака, залаяла. После меня Соня читала свои стихи. Затем нас накормили ужином. Еда была страшно жирная и острая. Потом нас отвели обратно в гостиницу. Может, правильнее было бы назвать ее общежитием. Поселок плохо освещался, кругом рытвины да ухабы. Тот, кто нас провожал, рассказал, что жители этого поселка разбогатели совсем недавно, лишь в последние годы. Теперь они больше не крестьянствовали, нанимали на эту работу испанцев или индейцев, часто ездили в Буэнос-Айрес. У многих были нееврейские жены. Основным времяпрепровождением здесь была игра в карты. Поселок построил барон Гирш, чтобы вывести евреев из их эфемерного, призрачного существования. Вернуть их к созидательному крестьянскому труду. И вот все это теперь заброшено — провалилась идея барона Гирша. Пока провожатый говорил, мне приходили на ум пассажи из Библии. О Египте, о Золотом Тельце и о тех двух бычках, что Иеровоам, сын Небата*, установил в городах Бет-эле и Дане, говоря: «Вот Боги твои, Израиль!» Было что-то библейское и в этом уходе от своих корней, в забвении дела отцов, их трудов в поте лица. К этому поколению, злобному и недоброжелательному, следовало бы прийти пророку, а не писателю вроде

* Иеровоам — первый царь Северного израильского царства. Приказал установить двух золотых тельцов в городах Вефиле (Бет-Эле) и Дане — в храмах, объявив эти храмы святынями. Тем самым он хотел воспрепятствовать совершать своим подданным паломничество к Иерусалимскому Храму.

меня. Провожатый ушел, Соня пошла к себе переодеться и умыться на ночь, а я опять вернулся к корзине с книгами. Читать было уже темно, но я ощупывал обложки, трогал страницы, вдыхал идущий от них запах плесени и тлена. Я вытащил книгу из стопки, попытался прочесть ее название при свете звезд. Вышла Соня — в ночной сорочке, в шлепанцах, с распущенными волосами.

— Что вы тут делаете? — спросила она.

И я ответил:

— Да вот, зашел к себе на могилу.

Долго тянулась ночь. Тьма была хоть глаз выколи. Легкий ветерок задувал сквозь открытую дверь. Время от времени я слышал — или мне это только казалось? — шаги зверей, крадущихся во тьме. Вот сейчас эти чудища доберутся до меня и пожрут — за мои грехи! Всякие нежности, любовные игры и прочее в этом роде — все позади, все давно прошло. Но уснуть я почему-то не мог. Соня курила и курила. Она была неудержимо болтлива, говорила без передышку. Иногда я думаю, что для большинства женщин это главная страсть. Да еще тон ее речей был такой, будто она постоянно ныла и жаловалась.

Что может знать девушка в восемнадцать лет? Он тебя целует, и ты в него влюбляешься. А дальше? Ну, тут сразу начинаются разговоры про дела житейские: свадьба, дети, свой дом. Отца уже не было в живых. Мать уехала к своей сестре. Та была вдова, жила в Розарио. Мать была у нее все равно что в прислугах. Мужчины бегали за мной, но все они были женаты. Я работала на фабрике. Там делали свитера, кофты — в общем, всякие вязаные вещи. Платили нам гроши. Работницы были большей частью испанки, и что там творилось, описать тебе не могу. Они всегда были беременны и редко знали,

от кого. Некоторые содержали своих мужчин. Там такой климат, что с ума сойдешь. Там похоть — не каприз, не прихоть. Она набрасывается на тебя, как голод или жажда, справиться с этим невозможно. В те далекие дни у нас верховодило всякое жулье. Сутенеры и сводники все решали в нашей общине. Хозяйничали в еврейском театре. Чуть им пьеса не понравится, она немедленно исчезает с афиш. Тем не менее, борьба с ними уже начиналась. Их старались просто не замечать. Но главную роль сыграли члены погребального братства. Они отказывались продавать им места на кладбище. Не позволяли появляться в синагоге по большим праздникам: на Рош-Гашоно, в Йом-Кипур. Они были вынуждены устроить собственное кладбище и построить себе синагогу. Там много было старых, уже бывших сутенеров, давно женатых на бывших проститутках.

О чем это я говорила? Да, тогда они еще хозяйничали у нас. Были даже мужчины, которым платили, чтоб они совращали девушек. Сказать по правде, я нравилась хозяину. Я уже начала писать тогда. Но кому там нужна поэзия? Кому нужна литература? Газеты — да, конечно. Даже все это ворье читает еврейские газеты каждый день. Когда один из них умирал, так некрологи занимали целые страницы. Мы с вами приехали сюда в лучшую пору. Сейчас весна. Но в остальное время климат ужасный. Летом непереносимая жара. Богачи едут на Мар дель Плата или в горы. А бедняки остаются в Буэнос-Айресе. Зимой — то и дело пронизывающий ветер и резкий холод, а современного отопления тогда еще не было. Не было даже печек — вроде тех, какие в Польше. Просто замерзаешь и все. Теперь в новых домах паровое отопление, а в старых только плита — дымит, чадит, а тепла никакого. Снег выпадает редко, зато

бывает, что несколько дней подряд идет дождь, и тогда холод пробирает до костей. Болезней здесь хватает, и женщины страдают от них даже больше, чем мужчины — печень, почки и чего только еще нет. Потому здесь и кладбища такие большие.

Писатель не может писать, чтобы только в папку складывать. Я пыталась пробиться в газеты, но все напрасно: они видели перед собой юную девицу, да еще и не слишком безобразную, и липли ко мне — летели, как мухи на мед. И тут мною стал вдруг интересоваться один известный человек, который сам вел войну с этими сутенерами и жуликами. У него была жена, а у той был любовник. Почему он терпел это? Наверно, любил ее безумно. Здесь не так уж следуют религии. Ходят в синагогу только в Дни Покаяния. У испанцев много церквей, но там только женщины молятся. Почти у каждого испанца есть и жена, и любовница.

Короче, я пошла к редактору, и он сказал мне совершенно открыто: «Переспись со мной, тогда опубликую». Критики маскировали свои намерения. Но как ни крути, хотели они того же. Я не святая, нет. Но идти в постель с кем попало... Нет, этого я не могу. И был еще Лейбеле, мой теперешний муж. Он тоже писал стихи, поэмы, кое-что из этого публиковалось. Ему даже удалось издать небольшую книгу. В те давние времена, если чье-то имя я видела напечатанным черным по белому, он представлялся мне просто гением. Лейбеле показал мне рецензию какого-то критика из Нью-Йорка. У него была работа в погребальном братстве. До сего дня понять не могу, что он там мог делать. Наверно, так, мелкая сошка. Мы отправились к раввину, и вот мы уже муж и жена. Поселились в еврейском квартале Корьентес. Вскоре выяснилось, что работа его и гроша не стоит.

Приносил он очень мало, и все, что зарабатывал, сразу тратил. Вокруг него крутилась целая орава каких-то приятелей, мелких писателей, начинающих, любителей, безумно привязанных к еврейской культуре. Даже и не предполагала никогда, что такие существуют. Никогда он не бывал один, всегда с ними. Они ели вместе, вместе пили, а если б я позволила, он бы и спал с ними. Нет, он не был гомосексуалистом. Вовсе нет. Но и сексуальным он не был. Он из тех, кто не может остаться один ни на минуту. Каждый вечер я фактически выгоняла его прихлебателей, и каждый вечер он умолял меня позволить им остаться еще немного. Он никогда не ложился раньше двух. А утром мне надо было идти на работу. Куда бы он ни вел меня: в театр, в ресторан, на лекцию, даже просто прогуляться, — хвост этих шлемиелей всегда тянулся за нами. Они несли всякую чушь, обсуждали заведомую бессмыслицу, и могли заниматься этим бесконечно. Бывают ревнивые мужчины, но мой даже не представлял, что такое ревность. Если кто из его приятелей целовал меня, он радовался невероятно. А задуматься о том, что может дальше последовать, ему и в голову не приходило. Такой он был тогда, таким и по сию пору остался. Если б он только услышал, что я собираюсь с вами на эту лекцию, был бы на седьмом небе от счастья. Вы для него все равно что бог, а к богу ревновать нельзя.

У нас так и нет детей, и все должно было бы прийти к своему естественному концу. Но развод имеет смысл, если любишь кого-то другого. Годы проходят, а я никого так и не полюбила. Было у меня несколько романов с женатыми мужчинами. Вначале я была высокого мнения о творчестве своего мужа, но вскоре меня и здесь постигло разочарование. Я росла как поэтесса — по крайней мере, критики

хвалили меня, — а муж мой стоял на месте, коснел в безделье. Он все больше, все безудержнее восхищался моими стихами. Каждому хочется, чтобы им восхищались, но его восхищение почему-то раздражало меня. Он и других заразил. Мой дом стал чем-то вроде храма, а я — идолом в этом храме. Об одном он забывал: нам надо было что-то есть и платить за квартиру. Я все продолжала работать. Вечером возвращалась домой смертельно уставшая. Я была как вторая Жорж Санд. И все равно я должна была готовить обед для него и его паразитов. Я стояла над кастрюлями, а они анализировали мои стихи и восхищались каждым моим словом. Забавно, правда?

Дальше стало чуть легче. Я хоть на работу перестала ходить. Однажды я вдруг получила субсидию от общины. А теперь даже есть несколько меценатов. Время от времени мне удается что-то опубликовать в газете, но в целом все так и осталось, как было. Редко когда он заработает хоть немного, но этого недостаточно!

— Почему у вас нет детей?

— Для чего? Я даже не знаю, способен ли он стать отцом. А может, мы оба бесплодны... — Со-ня улыbnулась. — Если вы останетесь, я с вами сделаю ребеночка.

— Для чего?

— Да, для чего, в самом деле? Женщинам это необходимо. Дерево хочет давать плоды. Только мне нужен мужчина, на которого я смотрела бы снизу вверх, а не такой, которого вечно приходится стыдиться. Не так давно мы даже перестали спать вместе. Так что все это уже теоретические рассуждения.

— И он согласился?

— Ему это не нужно. Все, что он хочет — рассуждать о поэзии. Не странно ли?

— Все странно на этом свете.

— В душе я его уже оскопила, по правде сказать.

На рассвете Соня ушла к себе. Я укрылся одеялом и заснул. Пробудился от звуков, каких никогда не слышал прежде. Наверно, перекликаются между собою попутайчики, обезьянки, диковинные птицы с огромными клювами — так я себе это представил. Сквозь раскрытую дверь доносилось благоухание апельсиновых деревьев. Оно смешивалось с запахами каких-то незнакомых растений и плодов. Легкий ветерок гулял по комнате, напоенный ароматами необычных, неизвестных мне трав, прогретых солнцем. Я глубоко вдохнул утренний воздух. Поднялся, умылся под краном и вышел. Корзина с книгами еще стояла там, видимо, ожидая спасения от какого-нибудь идишиста. Я вышел из патио. Увидел женщин и детей, одетых с воскресной пышностью: в мантильях, платья отделаны кружевами, в руках молитвенники. Они направлялись в церковь верхом на лошадях. Издалека доносился звон церковного колокола. Вокруг простирались поля, волновались колосья пшеницы, зеленели пастбища. В траве пестрели цветы: желтые, белые, любых цветов и оттенков. Бычки на лугу наслаждались жизнью: беззаботно жевали все это великолепиие.

Пение птиц мешалось с шелестом листьев, колеблемых легким ветерком, и все это создавало удивительный звуковой фон. Это напомнило мне историю из Талмуда о Северном ветре, тронувшем струны лиры царя Давида. Струны зазвучали, пробудив Давида для полуночных бдений. Вышла и Соня. На ней было белое платье, отделанное красной и синей вышивкой. Она выглядела посвежевшей, веселой — такое утро кого не приведет в хорошее настроение?! Пожалуй, только теперь я разглядел ее как следует:

небольшого роста, коренастенькая, высокие скулы, раскосые татарские глаза. Добавьте сюда высокую грудь, крутые бедра и мускулистые икры — в детстве моем, бывало, к нам во двор приходил бродячий циркач с помощницей, которая катала бочку, перебирая ногами, глотала огонь — так в точности она.

И откуда она взялась, эта Соня, подумал я. Почему знать, может, она из хазар? Где только не побывал, через что не прошел наш народ за две тысячи лет своего изгнания... Но природа помнит все.

Соня глянула на меня искоса. Улыбнулась. Подмигнула понимающе, при том будто о чем-то спрашивая взглядом. Я вспомнил отрывок из Притчей Соломоновых: «Такова женщина, совершающая прелюбодеяние: она ест, вытирает рот и говорит: „Я не делаю ничего плохого“». Да, Просвещение, которым так восхищались наши поэты, которому пели дифирамбы в столь высокопарной манере, называя Гаскалу «Дщерью небес», превратило всех нас, всех до единого, в развратников, а женщин сделало продажными шлюхами.

Никто не озаботился тем, чтобы накормить нас завтраком. Мы с Соней отправились на поиски какой-нибудь кофейни. Брели по улице как двое влюбленных, как сомнамбулы. Шофер, что привез нас сюда, должен был заехать за нами лишь к часу. Нам сказали, что у него тут, в поселке, женщина. Он, может, еще и опоздает. И вот на пути дом. На крыльце сидит старик в сером старом пиджаке и таком же картузе — вроде тех, что носили в Варшаве. И обличьем он напомнил мне типичного варшавского грузчика: лицо в красных и голубоватых прожилках, клочковатая седая борода. Шея с выпирающим кадыком и крупными венами. На нем не было ни талеса, ни филактерий, но было похоже, что он читает из молитвенника — так раскачивается взад

и вперед еврей, который молится. Мы подошли ближе, и он поднял на нас глаза — когда-то, видимо, голубые, а теперь уже выцветшие, желтоватые белки сплошь в сеточках красных прожилок.

Я спросил:

— Вы молитесь, да?

Старик поколебался немного, ответил (и голос его, с небольшой хрипотцой, тоже был какой-то варшавский):

— А что, можете предложить что-то получше? Вы вчерашний лектор, правда? Я был вчера на вашей лекции. Разве эти негодяи дадут говорить, а? Разве им лектор нужен? Болячка им нужна, а не лектор! Им лишь бы локтями толкать дружка дружку да в карты резаться. Пускай ихние кишки в аду сгорят, вот что я вам скажу! И вас я вчера слушал, сеньорита, — как вас звать-то? — слушал ваши стихи, да, слушал... Не скажу, чтоб я все понял, не могу сказать. Я, знаете, простой человек, но...

Он закрыл молитвенник и встал:

— Вы поедите у меня.

Мы попытались было отказаться от его предложения — старый человек, живет один. Но он возразил:

— Когда у меня будет еще такой случай? Мне восемьдесят один уже. Когда вы приедете сюда еще, я буду уже вон там лежать, — и он указал на купу деревьев, за которыми, должно быть, и пряталось кладбище.

Ну и мебель у него в доме была! Казалось, тронешь — и развалится. Посудой, похоже, давно никто не пользовался. На голом столе в гостиной лежали свежие яйца — еще не вымытые, прямо из-под курицы. Он приготовил для нас омлет. Нарезал толстыми ломтями хлеб — с отрубями, грубого помола. Ковылял взад и вперед, не очень-то хорошо

управляясь со своими полупарализованными ногами, и все выставлял на стол еду. Принес крыжовенное варенье, зачерствевшее уже печенье, сухой сыр. А пока хлопотал вокруг нас, все говорил.

— Да, жена у меня была. Сорок четыре года прожили вместе. Ни одного дурного слова не слышал я от нее. Душа в душу жили. Как голубки. Вдруг она слегла, и все. Конец. Дети разъехались. Сын у меня доктор в Мендосе. Дочь вышла замуж в Бразилию. Живет в Сан-Паоло. Другой сын умер, осталось трое сирот. Я всегда думал, что мне суждено уйти первому. Да уж если кому судьба определила жить, так он и будет жить. Женщина не так беспомощна, когда одна остается. Как вы можете догадаться, я тут из первых колонистов. Когда сюда приехал, здесь пустошь была, и людей никого. Пока мы плыли на корабле, пели гимн Цунзера: «Благословение Господа дается возделывающему землю»*. Нам всегда говорили, что у крестьян железное здоровье, потому что они живут на лоне природы. Но это оказалось полным вздором. Как раз когда мы приехали, здесь разразилась эпидемия. Дети болели и умирали. Заболевали и слабели старики. Говорили, что тут вода отравлена, да мало ли что еще говорили. Барон прислал делегацию за делегацией, они все советовали нам заниматься сельским хозяйством, а сами не могли объяснить, как отличить пшеницу от ржи. Без конца давали советы. Что их советы! Мертвому припарки. Мы все хотели уехать, но денег на дорогу не было. Мы заключили контракты и были теперь должниками. Они связали нас по рукам и ногам. И тем не менее они назывались — как это сказать? —

* Элиокум Цунзер (1835, Вильна—1913, Нью-Йорк) — автор и исполнитель песен на идиш, драматург. Отличался палестинофильскими настроениями. До сих пор считается непревзойденным мастером песен в народном стиле.

«филантропы»! Вот! Какой-то важный человек приехал к нам аж из самого Парижа. Он говорил только по-французски. Мы не поняли ни слова. На идиши им зазорно говорить, этим важным господам.

Окрестные испанцы нас ненавидели. Все кричали: «Убирайтесь в свою Палестину!» Однажды начался дождь и шел восемь дней подряд, ни на минуту не прекращаясь. Реки вышли из берегов. Это было настоящее наводнение. Вдруг днем стало темно, как ночью. Такая сверкала молния, гремел такой гром, думали, наступил конец света. И тут еще град. Градины падали огромные, аж с гусиное яйцо. Здоровый кусище льда проделал дыру в крыше и разрушил дом. Как могла такая глыбина упасть с неба? Среди нас было несколько стариков. Они стали молиться о спасении, возносить покаянные молитвы Господу: были уверены, что Мессия уже здесь, рядом, а то, что происходит — последняя война между Гогом и Магогом*. Кто мог писать, те писали длинные письма барону, но барон ни разу им не ответил. Женщины делали только одно — плакали. И вот приехал к нам юноша. Гершеле Московер его звали. Он был — как это называется? — идеалист. Вот-вот. Носил длинные волосы и одет был в черную косоворотку, подпоясанную кушаком. Он уже побывал в Святой Земле и уехал оттуда. «Там, — говорил он, — пустыня. А здесь плодородная земля». С ним приехала молодая женщина. Ее звали Белла. Красавица была. Черные волосы и смуглая, ровно цыганка. Ослепительно белые зубы. Все мужчины были от нее без ума. Она входила в комнату, и сразу становилось светлее. Она находила утешение для каждого, всем помогала. И роды принимала, когда требовалось. Но женщины

* Гог и Магог — упоминаются в книге пророка Иезекииля. Гог и Магог символизируют языческие народы, которые впоследствии объединятся на борьбу против единого Бога.

стали жаловаться, что Белла приехала сюда соблазнять их мужей. Столько было сплетен и пересудов. И вот в разгар всего этого Белла заразилась брюшным тифом. Ничто не могло уже ее спасти. Это враги ее наслали на нее проклятие. Гершеле Московер стоял у ее могилы и отказывался читать кадиш. Через три дня он повесился. Хотите еще чашечку кофе? Пейте, друзья мои, пейте. Когда еще я смогу удостоиться такой чести? Хотите, пройдем со мной на кладбище? Это здесь, рядом. Я все вам покажу. Все наши колонисты здесь похоронены.

Мы закончили завтрак. Старик взял палку, и мы побрели на кладбище. Ограда разрушена. Кое-какие камни наклонились, некоторые опрокинуты. Все заросло сорняками, дикими полевыми цветами. Выбитые на плитах надписи полустерты, позеленели — покрыты мхом и лишайником. Там и тут торчали полусгнившие деревянные таблички. Старик указал на холм:

— Там лежит Белла. И рядом с нею Гершеле Московер. Они вместе жили и... как это сказано в Библии?

Я помог ему:

— «Любящие друг друга при жизни, и в смерти они были неразделимы».

— Вот, вы-то помните. А моя память уже не та. Что было семьдесят лет назад, помню как сегодня. А что было вчера, куда-то исчезает. Это все годы, все возраст. Я могу сидеть с вами семь дней и семь ночей, и все равно не смогу пересказать даже десятой доли того, что мы тут пережили. Разве теперешние знают об этом? Они и слышать ничего не хотят. Все теперь получают готовенькое. Всю работу за них делают машины. А они садятся в авто и едут в Буэнос-Айрес. Вот вы двое — вы муж и жена?

— Нет, мы просто друзья.

— И не собираетесь пожениться?

— У него уже есть жена. — И Соня показала на меня.

— Ну хорошо, давайте посидим.

Старик сел на скамейку. Мы с Соней еще побродили среди могил, попытались разобрать надписи на памятниках. В воздухе пахло чем-то сладким, будто медом. Запах тлена. Жужжали пчелы, перелетая с цветка на цветок. Над могилами порхали огромные бабочки. У одной крылья были в белую и черную полоску, как талес. Мы поднялись на холм и увидели камень с двумя именами — Беллы и Гершеле Московера.

Соня взяла мою руку и начала раскачивать туда-сюда. А потом вонзила ногти в ладонь. Мы стояли перед камнем и не могли двинуться с места. Не могли уйти. Каждое мгновение какая-нибудь птица подавала голос. И это были разные голоса. Воздух был напоен густым ароматом. На Сониных волосах собралась целая коллекция насекомых. Божья коровка села на лацкан моего пиджака. Гусеница заползла на брюки. На старом кладбище все смешалось. Жизнь, смерть, любовь... Соня сказала:

— Если б мы могли тут остаться, как все эти...

Вскорости мы вернулись к скамье, где нас ждал старый колонист. Он уснул. Беззубый рот приоткрылся, и теперь старик был похож на труп. Но глаза под кустистыми бровями, казалось, улыбались. Прилетела бабочка и села на козырек его кепки. И осталась там. Будто застыла. Погрузилась в свои мысли, древние, как ее род. Потом взмахнула крылышками и полетела в сторону холма, где лежали Белла и Гершеле Московер, — Ромео и Джульетта грандиозной мечты барона Гирша: превратить русских евреев в аргентинских крестьян.

Из сборника
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ

Из сборника

OLD LOVE

ПРИЕМ В МАЙАМИ-БИЧ

Я жил тогда в Майами-Бич. Однажды раздался звонок. Звонил мой старый приятель Ривен Казарский, писатель-юморист, он спросил:

— Менаше, не хотите ли совершить мицву? Думаю, это будет впервые в вашей жизни.

— Мицву? Это я-то? — возразил я. — Что это за слово такое? На иврите? На арамейском? А может, это по-китайски? Какая еще мицва, да еще здесь, во Флориде!

— Нет, Менаше, это не то чтобы мицва. Объясню сейчас. Тут есть один человек. Он мультимиллионер. Несколько месяцев назад в автомобильной катастрофе погибла вся его семья: жена, дочь, зять, маленький двухлетний внук. Он сокрушен совершенно. Тут в Майами он построил несколько доходных домов, да еще и кооперативы — наверно, дюжина будет, не меньше. Он ваш преданный читатель и большой почитатель. Хочет устроить прием в вашу честь. А если не хотите — просто встретиться с вами. Он откуда-то из ваших мест — из Люблина, что ли, или как это у вас называется, не знаю. Прямо из лагеря он приехал сюда, в Америку, — гол как сокол. Говорит на ломаном английском. И вот за пятнадцать лет стал миллионером. Как это у людей получается, никогда не пойму, наверно. Думаю, это инстинкт. Вроде как у курицы класть яйца или у вас — корябать свои романы.

— Премного благодарен за комплимент. И что же я получу за эту мицву?

— На том свете получите, на том свете. Хороший кусочек левиафана. Да платоническую любовь Сары, дочери Товима. А на нашей паршивой планете, может, он продаст вам кооперативный дом за полцены. Он перегружен деньгами, а наследство оставить некому. Он хочет писать мемуары. И чтоб вы помогли ему — может, что поправить, отредактировать. У него больное сердце. Ему вживили электростимулятор. К нему приходят медиумы, и он к ним ходит тоже.

— И когда он хочет встретиться со мной?

— Да хоть завтра. У него кадиллак. Он сам заедет за вами.

На следующий день в пять часов зазвонил телефон, и швейцар-ирландец сообщил, что меня ждут внизу. Я спустился на лифте и увидел маленького человечка — в желтой рубашке, зеленых брюках и лиловых ботинках с золочеными пряжками. Лысина на макушке, вокруг торчат редкие волосы, а круглое лицо — как румяное яблоко. Длинная сигара торчит из узкогубого рта. Он протянул влажную ладонь и пожал мне руку — раз, другой, третий. Произнес тонким, пронзительным голосом: «Для меня это и удовольствие, и большая честь. Меня зовут Макс Фледербуш».

Произнося все это, он изучал меня — смеющиеся карие глаза были слишком велики для его комплекции: женоподобные какие-то глаза. Шофер открыл дверцу огромного кадиллака, и мы сели. Сиденье было обтянуто красным плюшем, и под ногами такой же нежный и мягкий плюш. Как только я опустился на сиденье, Макс Фледербуш нажал кнопку, и окно поехало вниз. Он страхнул

наружу пепел с сигары, снова нажал кнопку — окно закрылось.

Он сказал:

— Курить мне нельзя. То же самое, что свинину есть в Йом-Кипур. Однако же привычка — мощнейшая сила. Где-то сказано, что привычка — вторая натура. Откуда это? Из Гемары? Из Мидрашей? Или просто поговорка?

— Право, не знаю.

— Ну да! Быть не может. Думал, вы все знаете. У меня есть Талмудический конкорданс, но не здесь — в Нью-Йорке. Если мне что-то нужно, я звоню моему другу рабби Штемпелю, и он разыскивает в конкордансе нужное слово. У меня три апартамента: дом здесь, в Майами, квартира в Нью-Йорке и еще в Тель-Авиве. Библиотека моя разбросана по всем этим домам. Я ищу какой-нибудь том здесь, а оказывается, он в Израиле. К счастью, существует такая штука — телефон, так что можно позвонить. В Тель-Авиве у меня есть друг, профессор в Бар-Илане. Он у меня живет — бесплатно, разумеется. Так легче дозвониться в Тель-Авив, чем в Нью-Йорк, или даже прямо здесь, в Майами. Потому что связь там — через маленькую луну, «спутник», что ли. Ах да. Сателлит. Наш общий друг Ривен Казарский, конечно, рассказал вам, что со мной случилось. Минуту назад у меня была семья, и вот — у меня отнято все, как у Иова. Но Иов был молод, и Господь воздал ему: даровал ему вновь дочерей, сыновей, снова нажил он богатство, снова появились у него ослы и верблюды. Но я уже стар и болен. Не для меня такие милости. Каждый день, что я прожил, — это дар небес. Я должен всегда быть настороже. Доктор позволяет мне глоток виски — но лишь капельку. Дочь и жена хотели взять

меня в эту поездку, но я был что-то не в настроении. Это случилось прямо здесь, в Майами. Они собирались в Диснейленд. Внезапно грузовик — а за рулем сидел какой-то пьяница — вдребезги разбивает мою жизнь. Пьяница потерял обе ноги. Верите вы в Промысел Божий? Другими словами, в предопределение, в неизбежность судьбы?

— Не знаю, что и сказать.

— Судя по вашим писаниям, вроде бы должны.

— Где-то глубоко внутри, так я думаю.

— Если б вы пережили, что мне довелось, уж точно верили бы, не сомневались. Но так уж человек устроен — и верит, и сомневается — все сразу.

Кадиллак резко затормозил и остановился. Шофер припарковал машину. Мы прошли в холл. Голливудская роскошь: ковры, зеркала, картины, люстры — лучше сказать: не холл, а вестибюль. Сами апартаменты в том же духе. Ковры такие же мягкие, как обивка в автомобиле. Картины исключительно абстрактные. Я остановился перед одной из них. То, что на ней было изображено, напомнило мне Варшаву — так выглядела корзина со всяким хламом, который выбрасывали из дома в канун праздника. Я спросил Фледербуша, что это и кем написано.

— Да чепуха. Дрянь, она и есть дрянь. Писсако или другой какой. Все они мастера пыль в глаза пускать, — ответил он.

— Кто этот Писсако?

— Он так Пикассо называет, — это материализовался неизвестно откуда Ривен Казарский.

— Какая разница? Все они хороши. Все жулики и проходимцы. Вот моя жена, мир праху ее, та разбиралась. А я нет, — сказал Макс Фледербуш.

Казарский подмигнул мне и улыбнулся. Мы с ним были дружны с давних времен, еще с Поль-

ши. Начинаял он с того, что написал несколько пьес на идиш — комедий по преимуществу. Все они провалились. Он опубликовал несколько литературных мелочей — портретов, эссе, набросков. Критики разнесли его в пух и прах. Все. Он прекратил писать. В 1939 году он приехал в Америку. Женился на вдове. Она была на двадцать лет старше Казарского и вскоре умерла. Он унаследовал состояние. Теперь он знал только с богачами. Носил бархатные пиджаки, красил волосы, а уж галстуки — и не галстуки вовсе, а яркие шейные платки, да еще расписанные вручную. Он объяснялся в любви каждой женщине — от пятнадцати до семидесяти пяти, ни одной юбки не пропускал. На вид ему никто не давал больше пятидесяти, хотя ему было уже под шестьдесят. У него были длинные волосы и бакенбарды. Черные глаза — как угли. Взгляд циничный и насмешливый: все ему теперь трын-трава. В Нижнем Ист-сайде, где мы часто собирались в кафетерии, он выделялся среди всех тем, что пародировал, да еще как, всех подряд — писателей, раввинов, партийных лидеров — так разделявал под орех, что только держись. Он похвалялся этим своим талантом, а в сущности был прилипала — жил тем, что паразитировал на других. Ривен Казарский страдал ипохондрией, а поскольку был чрезвычайно любвеобилен по натуре, всерьез считал себя импотентом. Мы были давно знакомы, даже приятельствовали, но никогда он не представлял меня тем, кто ему благодетельствовал, не вводил меня в круг своих богатых друзей. Видно, Макс Фледербуш очень уж настаивал, и потому просто нельзя было ему отказать.

Ну а теперь он изливал мне душу:

— Где это вы скрываетесь? Уж сколько я просил Ривена свести нас, и все никак. Послушать его, так вы всегда в отъезде — то в Европе, то в Израиле, то еще где, кто ж вас знает. И вдруг — раз! — а вы, оказывается, здесь, в Майами. Я в таком чудовищном состоянии — совершенно не могу оставаться один. Ни минуты. Такая жуть берет, такой мрак — это похуже любого безумия. Мой чудесный дом — сами видите, как тут все — вдруг превратился в склеп. Иногда я думаю, что герои — вовсе не те, кто получил ордена и медали за военные подвиги. Нет, герои — это закоренелые холостяки, которые годы и годы живут в одиночестве.

— Тут у вас ванная есть? — прервал я его.

— И не одна. Даже не две и не три, — ответил Макс. Он взял меня за руку и повел в ванную. Можно было ослепнуть от подобной роскоши — и от размеров, и от убранства. Прозрачная крышка на сиденье туалета была инкрустирована полудрагоценными камнями, а посередине — настоящая двухдолларовая банкнота. Напротив зеркала висела картина: маленький мальчик писает, и на струю в восхищении глядит девочка. Только лишь я поднял крышку туалета, заиграла музыка. К ванной примыкал балкон с видом на море. Лучи заходящего солнца перебежали с волны на волну. Вдали, уже почти на горизонте, покачивался на волнах корабль. Отсюда, с высоты шестнадцатого этажа, я разглядел на берегу какое-то животное: то ли теленок, то ли большая собака. Нет, это все же не собака. А что делать на пляже теленку? Неожиданно очертания предмета на берегу изменились — это оказалась женщина в длинном купальном халате — она возилась в песке, собирала ракушки.

Вскоре на балкон вышел и Казарский. Он сказал:

— Это и есть Майами. Вовсе не Макс, а жена его гонялась за всей такой чепухой. Она правила в доме, да и в делах понимала лучше. С другой стороны, не такой уж он ленивый, не такой праздный мечтатель, каким прикидывается. И откуда что берется! Откуда эта невероятная способность делать деньги? Все на свете: дома, акции, земельные участки, бриллианты — из всего они делали деньги. А уж потом, когда она погрязла в своем увлечении искусством, они и из этого стали делать деньги. Когда он говорил: покупать — она покупала, а когда велел продавать — продавала. Она показывает ему картину, так он только взгляд бросит, сплюнет и скажет: «Чушь собачья. Но у тебя это из рук вырвут. Покупай!» Стоило им только до чего дотронуться, все превращалось в деньги. Они съездили в Израиль, основали там иешиву, пожертвовали деньги на премии за ведение любого рода исследований — культурных, религиозных... Естественно, денежки к ним вернулись: ведь жертвователям положены налоговые льготы. Дочь, разбалованная девка, была сдвинутая. Нет, правда, правда! Любые комплексы, какие только можно найти у Фрейда, Юнга и Адлера — все у нее были в наличии. Она родилась в лагере для беженцев в Германии. Родителям, конечно, хотелось выдать ее за главного раввина Израиля или по крайней мере за премьер-министра. Но она до смерти влюбилась в профессора археологии с женой и пятью детьми, да и не еврея к тому же. Жена не хотела давать развод, и пришлось от нее откупиться — четверть миллиона долларов да еще алименты. Прошло лишь четыре недели после свадьбы, и профессор уже уехал на

раскопки. Что-то связанное с пекинским человеком. А уж пил он как извозчик. Это он был пьян, а вовсе не водитель грузовика. Идемте-ка, я кое-что покажу.

Казарский открыл дверь в гостиную. Там было полно гостей. Надо же, за один день созвать столько народу, такой прием устроить. Даже не все гости смогли разместиться в этой огромной гостиной. Казарский и Макс Фледербуш вели меня из этой комнаты в другую. Там тоже были гости. За такое короткое время собралось, наверно, человек двести, по большей части женщин. Надо же! В сущности, это была выставка мод: драгоценности, платья, брюки, туники, прически, туфли, сумки, косметика — женская мода. Да и мужчины старались не отставать: пиджаки, рубашки, галстуки. У каждой картины — специальная лампа для подсветки. Официанты разносили выпивку. Туда-сюда сновали белые девушки и негритянки: предлагали закуски.

В общем гуле я с трудом мог расслышать, что говорилось именно мне. Последовали комплименты, за ними рукопожатия и поцелуи. Весьма солидная дама схватила меня и прижала к своей огромной груди. Она кричала мне прямо в ухо:

— Я вас читала! Я как раз из этих местечек, что вы описываете. Мой дедушка приехал сюда — как вы думаете, откуда? Ишишок это местечко называется. Там он водил машины, а здесь завел собственное дело по перевозке грузов. Если отец с матерью не хотели, чтоб я что-то поняла из их разговора, то говорили на идиш. Это потому, что я очень плохо учила язык.

Я глянул на себя в зеркало. Ну и ну! Все лицо в помаде. Пока я стоял и стирал помаду, успел по-

лучить кучу предложений. Кантор предлагал положить на музыку один из моих рассказов. Композитор требовал, чтобы я написал для него либретто оперы по одному из романов. Президент образовательной программы для взрослых приглашал меня выступить через год у них в синагоге. Тогда меня наградят почетным знаком. Молодой человек с волосами до плеч просил рекомендовать ему издателя или по крайней мере агента. Он во всеуслышание заявил:

— Я должен творить. Это для меня физическая потребность.

Только что, минуту назад, тут было полно гостей, и вот все они сразу ушли, остались только Ривен и я. Со столов убрали остатки еды, недопитые стаканы, пепельницы и расставили по местам стулья. До чего же быстро и сноровисто это было сделано. Никогда в жизни не доводилось мне видеть такого совершенства. Внезапно откуда-то возник Макс Фледербуш. И где он раскопал такой галстук — белый в золотую крапинку? Он сказал:

— Пора обедать.

— Я столько всего съел, что у меня нет ни малейшего аппетита.

— Вы должны пообедать с нами. Я заказал столик в лучшем ресторане Майами.

Мы все трое направились к кадиллаку, и тот же шофер сел за руль. В непроглядной ночной тьме я ничего не видел, а потому и не пытался понять, куда же мы едем. Через несколько минут мы подъехали к роскошному отелю и остановились перед входом. Сверкающие огни, одетые в униформу швейцары. Один со всяческими церемониями распахнул дверцу автомобиля, другой услужливо распахнул перед нами входные стеклянные двери. В холле

отеля — не просто сверхроскошь, а уж не знаю, как это и назвать. Сверкают огни, тропические растения в массивных кадках, в клетке попугай. Нас провели через коридор с приглушенным светом, а там уже с поклоном встречал метрдотель: он ожидал нашего прихода и сразу провел к заказанному столику. Угожливо склонился к нам, буквально сияя от счастья, — казалось, он безумно рад, что мы так благополучно добрались. Тут подошел и другой. Оба в смокингах, в ажурных рубашках, галстуки — бабочкой, оба в лакированных ботинках. Ни дать ни взять близнецы — так это, во всяком случае, выглядело. Говорили они с иностранным акцентом, и похоже, не притворялись. Развернулась долгая дискуссия о выборе блюд и выпивки. Когда эти двое услышали, что я вегетарианец, с сожалением и досадой переглянулись. Однако это длилось лишь одно мгновенье. Тут же они стали уверять меня, что подадут лучшее из блюд, какое пробовал в своей жизни какой бы то ни было вегетарианец. Один принимал наши заказы, другой записывал. Макс Фледербуш заявил на своем ломаном английском, что вообще-то он не голоден, но если ему предложат что-нибудь эдакое, то, пожалуй, он попробует. Он то и дело вставлял идишистские словечки, но официанты вроде бы его понимали. Он подробно, до мелочей объяснил, как именно поджарить рыбу и как приготовить овощи. Точно указал, какие добавить пряности и приправы. Ривен заказал бифштекс. Дошла очередь и до меня. Я попросил фруктовый салат и творог.

Когда официанты ушли, Макс произнес:

— Скажи мне кто в прежние времена, что когда-нибудь я буду сидеть в таком роскошном месте и заказывать такие блюда, что бы я подумал:

шутник, да и только! Как только такое в голову приходит? Одно желание у меня было — невыполнимое, конечно: хоть раз перед смертью досыта наестся — хоть сухого хлеба, о большем я и не мечтал. И вот я — богатый. Вой-ва-авой! Меня обслуживают, просто пляшут вокруг моей персоны. И однако брэнной плоти не дано вкусить вечного блаженства, не дано человеку радоваться. Нет ему покоя. Ангелы небесные весьма ревнивы. Сатана не любит людей, злословит о них, а Всемогущий так легковерен — Его можно убедить в чем угодно. Все не может никак простить, что праотцы наши поклонялись золотому тельцу... Хорошо бы сфотографироваться на память.

Только он это сказал, откуда ни возьмись — человек с камерой! «Улыбку!» — скомандовал он. Макс Фледербуш попытался улыбнуться. Один глаз смеялся, а другой — никак: будто плакал. Ривен принялся гримасничать и подмигивать. А я как сидел, так и остался сидеть. Фотограф сказал, что сейчас проявит пленку и минут через сорок вернется.

Макс Фледербуш продолжал:

— О чем это мы говорили, а? Да, я живу в роскошных апартаментах, а только — будь она проклята, эта роскошь! Богатый, элегантный, изысканный дом — для меня он теперь Геенна огненная. Вот что я вам скажу: в каком-то смысле это будет похуже лагерей. Там, по крайней мере, мы надеялись. Тысячу раз на дню мы утешали себя тем, что гитлеровское безумие не может продолжаться вечно. Стоило услышать звук самолета, как нам казалось, что вторжение уже началось. Мы все были молоды тогда, и жизнь лежала перед нами. Редко кто кончал жизнь самоубийством. А сейчас что?

Люди сидят тут и ждут смерти. Сотни людей. Недели не проходит, чтоб кто-нибудь не отдал Богу душу. Все они богачи, нажили состояния, выворачиваясь наизнанку, пупы надорвали, может, даже нечестными путями, а теперь не знают, что с этими деньгами и делать. Сидят на диете — все до единого. А уж эти — тьфу, глаз ни на одной не остановишь. Пофрантить — и то не хочется. Кроме газетной страницы с финансовыми новостями, ничего не читают. Сразу после завтрака садятся за карты. Но сколько можно дуться в карты? А приходится, иначе от скуки подохнешь. Устали от карт, начинают сплетни. И как не надоест злословить, всякие гадости друг о друге рассказывать. Или начинают вести кампанию — сегодня они выбирают президента, а назавтра уже хотят объявить ему импичмент. Да так непримиримо, так ожесточенно — прямо смертельная схватка. Если он тронет хоть кого из лоббистов — все, считай, революция. Лишь одно приносит им хоть немного утешения — это почта. За час до того, как появиться почтальону, в холле уже толпа. Стоят с ключом в руке, будто сейчас Мессия придет, не иначе. Стоит почтальону задержаться, холл гудит возмущением, потом взрывается криками. А если почтовый ящик у кого пустой, так он роется там да стенки внутри ощупывает, будто можно что-то сотворить из ничего — из воздуха. Всем им за семьдесят, все получают чеки от Фонда социального обеспечения. Если чек не приходит вовремя, они просто с ума сходят — будто без куска хлеба останутся. И во всем подозревают почтальона. Если надо отправить письмо, три раза непременно тряхнут конверт, а женщины приговаривают что-то, может, бормочут какие заклинания.

Сказано где-то в «Пиркей авот»*, что, если человек помнит о своем смертном часе, у него не будет грехов. Смерть здесь повсюду, как воздух. Вот, скажем, я встречаю знакомого в бассейне, мы с ним поболтали, а назавтра я узнаю, что он уже на том свете. Только человек умер, его вдова — а если умерла жена, то вдовец — начинают искать себе пару. Едва могут высидеть шиву — нет терпения. Часто бывает, что женятся между собой соседи по дому. Вчера еще они поносили друг друга последними словами, проклинали страшными проклятьями, какие только существуют на свете, а сегодня — глядите-ка! — они уже муж и жена. Несутся на вечеринку и танцуют там на трясущихся ногах. Завещания и страховые полисы переписываются, игра начинается заново. Пройдет месяц, ну, может, два — глядишь, а новобрачный уже в больнице. Сердце, почки, простата.

Я не стыжусь сказать: я ничуть не умнее их, но все же не такой дурак, чтобы искать себе новую жену. Не могу делать этого да и не хочу. У меня тут есть свой доктор. Он свято верит в пользу прогулок. И вот каждое утро после завтрака я отправляюсь на прогулку. На обратном пути захожу в брокерскую контору. Там все они сидят, это старичье, уставившись на табло, наблюдая, как курс акций мечется туда-сюда, будто бесенок какой. Они прекрасно понимают, что не смогут воспользоваться этими акциями. Все останется наследникам, а дети их и внуки чаще всего так же богаты, как и они сами. Но курс поднимается, и, полные оптимизма, они покупают акции еще и еще.

Наш друг Ривен хочет, чтобы я писал мемуары. Да уж, мне есть что рассказать. Я прошел через ад.

* «Пиркей авот» (ивр.) — «Поучение отцов».

Мало сказать так. Наверно, не один ад. Десять. Вот этот самый тип, что сидит тут с вами, потягивая шампанское, провел девять месяцев в тайнике за стенкой погреба, ежеминутно ожидая смерти. Да, это был я, собственной персоной. Я там был не один. Нас там было шестеро мужчин. Шестеро мужчин и одна женщина. Знаю, что вы собираетесь спросить. Мужчина всего лишь мужчина. Даже на краю могилы. Она не могла жить со всеми нами. Жила с двумя — мужем и любовником. Но и других, жалея, старалась хоть как-то приветить, приласкать. Если б в тайнике была какая-нибудь хитроумная машина, и можно было бы записать, что там случалось, что говорилось, какие фантазии вспыхивали и гасли в нашем воспаленном сознании, все ваши великие писатели выглядели бы просто дурачками в сравнении с тем, что там происходило. В подобных обстоятельствах души обнажаются, и никому не дано описать нагую душу: Шмальцовники* — так это будет по-польски — доносчики то есть, знали о нас и постоянно вымогали деньги. У каждого из нас что-то было — у кого деньги, у кого немного ценных вещей. Пока мы могли, то покупали себе куски жизни — так про это можно сказать. И так сложилось, что эти скоты шмальцовники приносили нам хлеб, творог, сыр, разные другие необходимые вещи — даже не втридорога, а в десять раз дороже их настоящей цены.

Конечно, я могу описать все в точности, как оно было, привести факты, но чтобы вы могли се-

* Шмальцовники — так в Польше во время Второй мировой войны называли тех, кто охотился за евреями и выдавал их немцам.

бе это представить, нужно перо гения. Кроме того, человек склонен забывать. Если вы меня сейчас спросите, как этих мужчин звали, будь я проклят, если смогу вспомнить. Женщину звали Хильда. Это я помню. Одного мужчину звали Эдек. Эдек Саперштейн. Другого Зигмунт. Но Зигмунт... кто? Когда я лежу в постели и не могу заснуть, это возвращается, да так явственно, будто было вчера. Но не все, поверьте.

Да, воспоминания. Но кому они нужны? Сотни таких книг уже написаны. Обычными людьми, не писателями. Они присылают их мне, а я посылаю чек. Но читать их я не могу. Каждая из них для меня яд, и сколько яда способен проглотить человек? Почему так долго не несут мне рыбу? Наверно, она еще в океане плавает. И ваш фруктовый салат надо еще вырастить. Знайте: если вы пришли в ресторан и там полумрак — так это с единственной целью вас обмануть. Метрдотель — один из польских детей Израиля, а корчит из себя француза. Может, он и сам беженец. Когда вы сюда приходите, то должны сидеть и ждать, пока не подадут заказ. Чтобы счет, который потом принесут, не казался чрезмерно большим. Я не писатель и не философ, но, когда лежишь вот так полночи и не можешь уснуть, мозги крутятся как мельница. Какая-то дичь лезет в голову. А вот и фотограф! Быстро же он. А ну, дайте посмотреть.

Фотограф вручил каждому из нас по две фотографии, и мы сидели и разглядывали их.

Макс Фледербуш спросил:

— Чего вы боитесь? Вы пишете о духах, о привидениях. Это я знаю. Но сейчас, похоже, вы увидели настоящее привидение? Так ли это, хотел бы я знать.

— Я слышал, вы ходите на спиритические сеансы?

— А? О чем это вы? Ах да. Хожу. Впрочем, если быть точным, это они ко мне ходят. Все это блеф, обман один, но я же ХОЧУ, чтоб меня дурачили. Женщина гасит свет и начинает говорить, и вроде бы я слышу голос моей жены. Меня не так легко надуть, но я же слышу! А вот и наша еда. Наконец-то пришли. Здешние ничем не лучше тех шмальцовников.

Распахнулась дверь, и вошел метрдотель, а за ним показались трое. Насколько я мог разглядеть в полутьме, первый был толстяк и коротышка, с квадратной седой головой. Голова сидела прямо на широких плечах, шеи не было. На нем была розовая рубашка, а огромный живот вываливался из ярко-красных брюк. Двое других были повыше и потоньше. Когда метрдотель указал на наш столик, толстяк, расталкивая других, бросился к нам и неожиданно густым басом закричал: «Мистер Фледербуш!» Тот аж подпрыгнул: «Мистер Альбергини!» Посыпались восторги и комплименты до небес. Альбергини говорил на ломаном английском с итальянским акцентом.

Макс Фледербуш представил нас.

— Вот Казарский, мой хороший друг, — сказал он. — А этот человек — писатель. Еврейский писатель. Он пишет на идиш. Мне говорили, вы понимаете идиш?!

Альбергини прервал его:

— А гезунт ойф дейн кепеле... Хок ништ кейн чайник... А гут бойчик.. Мои родители жили на Ривингтон-стрит, и все мои друзья говорили на идиш. В субботу они приглашали меня на гефилте фиш, чолнт, на кугл. Вы пишете для газет, да?

— Нет, он книги пишет.

— О, книги? Здорово! Нам тоже книжки нужны. У моего зятя три комнаты книг. Он знает французский, знает немецкий. Сейчас он врач. Но раньше он изучал математику, философию и все такое прочее. Добро пожаловать! Милости просим! Сейчас я должен вернуться к своим друзьям, а после мы...

Он протянул мне пухлую потную руку. Видимо, у него была астма. От него разило перегаром в смеси с резким запахом мужского одеколona. Говорил он громко, густым скрипучим голосом.

— Знаете, кто это? — спросил Макс после его ухода. — Один из СЕМЬИ.

— Что это — «семья»?

— Не знаете, о чем речь? О! Так вы все еще гринго!* А столько лет в Америке живете! Это Мафия. Пол-Майами им принадлежит. Не смейтесь, они и в самом деле всем тут заправляют. Дядя Сэм опутал себя такой массой законов — наверно, миллионном законов связал себя по рукам и ногам. И получается, что эти законы не людей защищают, а преступников. Когда я был маленьким и ходил в хедер, мы там читали про Содом. Я не мог понять, как это можно развратить целый город. А потом постепенно начал понимать. В Содоме были законы, но наш с вами родич Лот и другие законодатели так их «подправили», что правое стало несправедным, добро превратилось во зло и наоборот. Мистер Альбергини и правда живет в моем доме. Когда меня постигло это несчастье, он прислал мне цветы — такой огромный букет, что даже в дверь не проходил.

— Доскажите же про погреб, где вы сидели — вместе с другими мужчинами и единственной женщиной, — попросил я.

* Гринго — «зеленый», новичок в Америке.

— Ага! Так и знал, что заинтригую вас. Я разговаривал с одним из писателей о своих мемуарах. Когда я дошел до этого места, он сказал: «Упаси Господь! Этот кусок надо убрать. Мученичество и секс не надо смешивать. Об этих людях надо писать только хорошее». Поэтому, наверно, у меня и настроение пропало. Зачем тогда писать? Евреи в Польше не были ангелами. Просто люди. Люди из плоти и крови, как вы да я. Мы страдали, но мы продолжали быть мужчинами со своими мужскими желаниями. Один из пяти был ее муж. Зигмунт. Именно он осуществлял связь со шмальцовниками. Зигмунту как-то удавалось вести с ними дела. У него было два револьвера. У нас было решено, что если убежище будет раскрыто и мы попадем в руки к палачам, то сначала уьем как можно больше врагов, а потом уже застрелимся сами. Увы! — это была одна из наших иллюзий. Все случилось не так. Зигмунт был сержантом польской армии в двадцатом году. Добровольцем пошел в легион к Пилсудскому. Получил медаль за меткую стрельбу. Потом он приобрел гараж и занимался импортом запчастей к автомобилям. Один из шмальцовников раньше у него работал. Если б я стал подробно рассказывать, как это все происходило в нашем тайнике и чем закончилось, пришлось бы до утра сидеть. Хильда была славная, порядочная женщина. Она поклялась, что будет верна Зигмунту до смертного часа. А теперь скажу, кто был ее любовником. Не кто иной, как ваш покорный слуга. Она была на семнадцать лет старше меня и вполне могла бы быть моей матерью. Она и обращалась со мной по-матерински. «Ребенок» — так она звала меня. Так и пошло. Ребенок туда, ребенок сюда. Ребенок то, ребенок это. Муж ее был бешено ревнив. Гро-

зился, что убьет нас обоих, если между нами что-то начнется. Грозился кастрировать меня. Разумеется, ему не составило бы труда это сделать. Постепенно она сумела усыпить его подозрения. Как это происходило — не описать, не изобразить, не рассказать, будь даже у вас талант Толстого или Жеромского. Она убеждала его, уговаривала, прямо-таки гипнотизировала. Ни дать ни взять — Самсон и Далила. А я ничего этого не хотел. Остальные четверо мужчин ужасно злились. Но я-то был еще мальчик — не был готов ни к чему такому. Импотентом сделался. Каково это: двадцать четыре часа в сутки быть запертым в холодном, сыром подвале вместе с пятью мужчинами и одной женщиной, — словами не описать. Невозможно. Пришлось отбросить всякий стыд. Ночью едва-едва хватало места распрямить ноги. От постоянного сидения у всех был запор. Нам приходилось все делать перед женщиной. Это такой стыд, такие муки, что сам Сатана не выдумает. Мы стали циниками. Ругались грязными словами, чтобы скрыть стыд. Я с удивлением обнаружил тогда, что богохульство имеет свои резоны. Надо хлебнуть глоточек. Ну же... Лехаим!

Да уж, нелегко пришлось. Сначала ей пришлось усыпить его подозрения. Потом надо было пробудить во мне желание. Мы занимались этим, когда он спал. Или притворялся, что спит. Двое из оставшихся четверых занимались любовью друг с другом. До чего может дойти человеческое существо... Какой стыд! Если человек создан по образу и подобию Бога, я Богу не завидую...

Мы все это терпели, мы прошли все степени человеческой деградации — все, что только можно и что нельзя вообразить. Но мы не теряли надежды. Спустя некоторое время мы покинули тайник

и ушли. Каждый своим путем. Зигмунта схватили и замучили до смерти. Его жена — моя мистрисс, как сказали бы здесь, в Америке, — бежала в Россию, там вышла замуж за беженца, недавно умерла от рака в Израиле. Один из этих четверых теперь богач. Живет в Бруклине. Теперь он заделался праведником, кается во всех мыслимых грехах, дает деньги Бобовскому рабби, а может еще какому-то. Писатель, которого я упоминал — он что-то вроде критика, — утверждает, что наша литература должна сконцентрироваться исключительно на святости и мученичестве. Вот уж чушь! Глупейшая ложь!

— Пишите всю правду, — сказал я.

— Прежде всего, я не умею. Не знаю как. Вот-вторых, я будто каменею. Видимо, я вообще не способен писать. Лишь сажусь и беру перо, начинает болеть рука. Еще и впадаю в дремоту. А что пишете вы, я читал. Порою мне казалось, будто вы крадете мои мысли.

Не следовало бы вообще говорить об этом, да уж все равно. Скажу. Майами-Бич переполнен вдовицами. Как они прослышали, что я остался один, начались звонки и визиты. Не перестают до сих пор. Подумать только! Мужчина остался один, да и к тому же у него вроде бы миллионы? Я стал пользоваться бешеным успехом. Просто неловко. Вообще-то мне нравится быть вместе с кем-нибудь. После похорон и прежде чем состоятся ваши собственные, можно ухватить кусочек свинства, именуемого удовольствием. Но женщины не для меня. Какая-нибудь ента* приходит ко мне и плачется: «Не хочу жить, как моя мать, с комплексом вины.

* Ента — снисходительно, слегка пренебрежительно о женщине.

Хочу взять от жизни все, что можно, и даже больше». А я ей на это: «Беда в том, что не каждый может...» Мужчины и женщины — то же, что Яков и Исав: если один возвышен, другой унижен. Если женщины становятся распутницами, мужчины превращаются в перепутанных девственников. Как сказал пророк: «Семь женщин прилепятся к одному мужчине». Ну и что вообще будет? Как вы думаете? Вот, к примеру, будут ли писатели продолжать писать через пятьсот лет?

— Очень даже. И о тех же самых вещах, что и сегодня, — ответил я.

— Предположим. А через тысячу лет? Через десять тысяч? Боюсь и подумать, что род человеческий сохранится так долго. А как тогда будет выглядеть Майами-Бич? Сколько будет стоить квартира?

— Майами-Бич окажется под водой, — сказал Ривен, — а квартира с одной спальней — для рыбы — будет стоить пять триллионов долларов.

— А что будет в Нью-Йорке? В Париже? В Москве? И останутся ли еще евреи?

— Только евреи и останутся, — сказал Казарский.

— Останутся? И какие же они будут?

— Полоумные евреи. В точности как вы.

НЕ ДЛЯ СУББОТЫ

В субботу днем на крыльце разговаривали о разном. Случилось так, что речь зашла о хедере: о меламедах, бегельферах, о мальчишках из хедера. Соседка наша Хая Рива жаловалась, что ее внуку учитель закатил такую оплеуху, что у того зуб вылетел. Вообще-то меламед этот — Михель его звали — был известен как хороший учитель. Но уж и щипался же он! Как ученики говорили, если Михель ущипнет, аж Краков увидишь. И затрещину мог дать — искры из глаз посыпятся. Прозвище у него было: «Почеши-ка меня!» Потому что если у него спина чесалась, он давал свой кнутик кому-нибудь из учеников и просил почесать под рубашкой.

На крыльце сидела тетя Ентл, а с нею еще Рейзе Брендл — обе в чепцах, в нарядных цветастых платьях. Чепец на тете Ентл был шит стеклярусом и еще отделан четырьмя лентами: желтая, белая, красная, зеленая. Я сидел тут же и слушал. Тетя Ентл глянула вокруг, улыбнулась. На меня посмотрела.

— Что тебе тут сидеть с нами? Нечего мальчику делать среди женщин. Шел бы лучше, почитал «Пиркей авот».

Ясное дело, она собирается рассказать какую-то историю. И это не для ушей одиннадцатилетнего мальчика. Я ушел в дом. Но остался в сених. Спря-

тался в чулане, где мы держали пасхальную посуду, там же — кадлушка с рваными книгами, старая наволочка с давними отцовскими рукописями. Через широкие щели слышно было каждое слово. Я уселся на перевернутую тяжелую деревянную ступу, в которой толкли мацу на Пасху — муку из мацы делали. Сквозь щели заглядывало солнце, и в его лучах плясали разноцветные пылинки. Я услышал, как тетя Ентл сказала:

— В маленьком местечке вряд ли может произойти что-то ужасное. Сколько там сумасшедших? Сколько мошенников? Самозванцев? Может, пять, ну от силы десять. Да и все их делишки долго в тайне не держатся. Быстро наружу выходят. Не то в большом городе. Там злые дела, преступления даже, могут оставаться нераскрытыми по нескольку лет. Вот когда я жила в Люблине, был там галантерейщик один — реб Иссар Мандельбройт. В лавке у него чего только не было: и шелк, и атлас, и бархат, и разная другая мануфактура. А еще мелочи разные — тесьма, кружева, ленты — в общем, что для шитья требуется. Первая его жена умерла, и он женился на молодой девке, дочери мясника. Волосы как огонь, а уж на язык остра! Дети реб Иссара от первой жены уже взрослые были, свои семьи имели. А от второй — Даша ее звали — только мальчик Янкеле. На мать походил в точности: рыжие пейсы и голубые глаза сияют — ну маленькие зеркальца, да и только. Там Даша всем заправляла. Что ж, если старик женится на молодой, так оно и бывает.

В хедере у Янкеле был учитель. Учителю этому вообще нельзя было детей доверять. Но откуда людям знать? Звали его Фивке. То ли разведен был, то ли вдовец. Огромного роста и как цыган

черный. Ходил в коротком пиджаке, сапоги с высокими голенищами, как у русских. Он пришлый был, не из Люблина. Учил Пятикнижию, а еще немного польскому, немного русскому. В те годы богатые евреи хотели, чтоб их дети и польский знали, и русский.

Сначала про себя скажу. У второго моего мужа — да будет благословенна его память! — уже внуки были, когда мы поженились. Но жена умерла и оставила малое дитя — мальчика Хазкеле. А уж любила я его, наверно, больше, чем могла бы любить собственного ребенка. Каждый день я ходила в хедер с миской супа и куском хлеба для моего Хазкеле. Приходила в два часа — как раз в перемену, когда дети во дворе играют, сиделись мы с ним на бревно, и я кормила его обедом. Он теперь уже отец, живет далеко отсюда, но если б довелось его встретить, расцеловала бы с ног до головы. И вот прихожу как-то, как всегда, суп принесла и хлеб, а на дворе никого. Только маленький мальчик вышел помочиться. Спрашиваю: «А где же все?» — «У нас день порки сегодня», — отвечает мальчик. Я не поняла сперва. Дверь в хедер была приотворена, я заглянула и увидела Фивке: он стоял на лавке с ремнем в руке и вызывал детей одного за другим для битья! Одного за другим: Береле! Шмереле! Кореле! Гершелеле!... Каждый подходил, спускал штанишки и получал пару ударов по голенькому задку. Потом возвращался на длинную скамью. Мальчики постарше смеялись, будто это игра такая, будто им все нипочем. Но самые маленькие горько плакали. Как у меня сердце не разорвалось на месте, не знаю — наверно, я крепче железа была. Поискала глазами Хазкеле. Этот сумасшедший учитель так был занят, что

не видел меня. Я решила: если он сейчас вызовет Хазкеле, я подбегу, выплесну горячий суп прямо в лицо и вцеплюсь ему в бороду. Но, видно, моего Хазкеле уже выпороли, потому что все скоро кончилось.

Я побежала в лавку к мужу. Неслась как отравленная мышь и сразу рассказала ему, что видели мои глаза. А он ответил только: «Детей надо наказывать время от времени». Он раскрыл Библию и прочел из Притчей Соломоновых: «Кто жалеет розгу, не любит сына своего». Хазкеле вообще не пожаловался даже. Сказал только: «Мама, это не больно совсем». И все ж я настаивала, чтобы муж забрал Хазкеле от этого дурного человека. А уж если жена на чем стоит, муж слушает. Но только Господь знает, сколько слез я пролила.

— И как таких земля носит, — сказала Рейзе Брендл.

— Надо было позвать полицию, заковать его в цепи и отправить в Сибирь, — заметила Хая Рива. — Такой убийца пускай бы в тюрьме сгнил.

— Легче сказать, чем сделать, — возразила тетя Ентл. — Когда зуб выбьют — это похуже порки.

— Да, правда.

— История только начинается, — сказала как пропела тетя Ентл. — Вот забрали мы нашего Хазкеле, и после Больших Праздников* он пошел в другой хедер. Прошло два, ну может, три месяца, и я услышала ужасную историю. Весь Люблин ходунном ходил. Фивке устраивал день порки каждый месяц. И вот однажды Даша, жена реб Иссара Мандельбройта, принесла обед своему Янкеле.

* Большие Праздники — от Рош-Гашоно до Йом-Кипура, т. е. от Нового года до Судного дня.

Что же она увидела? Ее сокровище, ее Янкеле распростерт на скамье для порки, и Фивке его ремнем хлещет. Ребенок горько рыдает. И тут Даша сделала то, что собиралась я: выплеснула горячий суп прямо в лицо этому извергу. Другой бы утерся и держал язык за зубами. Но не то Фивке. Он отпустил Янкеле, швырнул Дашу на скамью для порки. Он, прости Господи, задрал ей юбку, порвал штаны и выпорол настолько жестоко, насколько был способен. А силы ему не занимать было, на десять львов хватит, сущий казак. Ремнем порол настоящим, из брюк вынул, не то что ремешок для детей. Можете представить, что там творилось. Даша кричала и выла, будто режут ее. Люблин шумный город, это правда. Но люди услышали ее вопли и сбежались посмотреть, что происходит. Парик с головы свалился, и локоны ее — вот они. Эта сучка не брила голову, подумать только! Кто там оказался, попытались оттащить его. Не тут-то было. Сапогом ударит, и все. Случилось так, что в хедере только женщины были. Ну какая женщина с таким справится, с разбойником эдаким? Он нанес ей ровно тридцать девять ударов — так наказывали отступников в прежние дни. Потом выволок наружу и швырнул в канаву.

— Боже праведный, неужто нашлось эдакое чудовище среди евреев? — спросила Рейзе Брендл.

— Мерзости и грязи везде хватает, — сказала Хая Рива.

— Золотые слова, — согласилась тетя Ентл. — Если я расскажу, что в Люблине в тот день творилось, ушам своим не поверите. Даша примчалась домой ни жива ни мертва. Как она рыдала, как стонала и выла, на всю улицу было слышно. Едва лишь реб Иссар услышал, что случилось с его лю-

бимой женой, немедленно отправился к раввину. Вопрос встал об отлучении и черных свечах. Слышанное ли дело — выпороть замужнюю женщину, нанести ей такое бесчестье, так опозорить? Рабби тут же послал шамеса к Фивке и велел привести его на бейс-дин, но Фивке стоял на крыльце со здоровой дубиной в руках и хрипел: «Кто меня силой хочет взять, пускай только попробует!» Он говорил грязные слова и о раввине, и о членах совета, и про всю общину тоже скверные слова говорил. Ясное дело, ему пришлось оставить хедер. Кто пошлет ребенка к этакому отпетому негодяю? Уф-ф! Вот рассказываю, и уж от одного этого мурашки по спине.

— Может, в него дибук вселился? — спросила Хая Рива.

Тетя Бнтл водрузила на нос очки в медной оправе, потом сняла, положила на колени. Затем продолжила рассказ:

— Реб Иссар говорил жене: «Дашеле, ну что я могу? Раз Фивке отказывается идти к раввину, он будет наказан как-то иначе». А Даша кричала на него, визжала прямо: «Ты трус! Собственной тени боишься! Если меня любишь, возьми и отомсти этому преступнику!» И все же она поняла, сообразила, что муж ее слишком стар и слаб, чтобы бороться с этим дикарем Фивке. Она достала пригоршню серебряных монет из сейфа и пошла туда, где собиралось хулиганье и ворье, вшивота всякая. Она крикнула на всю площадь: «А ну, кто хочет заработать, бери палку или нож, пошли со мной!» Она швыряла медные монетки и звенела серебром перед этим сбродом. Все они бросались подбирать монетки, да мало кто захотел пойти с ней. Даже самые задиристые не очень-то желали

ввязываться в драку. Какой-то мальчишка, увидав, что творится, побежал к Фивке предупредить, что к нему идут. Фивке орал: «Пусть только попробуют сунуться! Вот я им покажу!» А как подошли поближе, схватил топор и давай размахивать, над головой крутить. Тут им страшно стало. Совсем перепугались. Ведь такой — по глазам видать — ни на что не посмотрит, враз голову отрубит. Убежали они, а Даша осталась стоять со своими деньгами. Он на нее с топором, она бежать, а он все гонится, еле спаслась. Прямо сумасшедший дом. Несколько женщин пошли в полицию, к самому главному начальнику — помог чтобы. А он и говорит: «Пускай он сперва убьет ее, а тогда мы его в тюрьму посадим. Ведь нельзя же его наказать, пока он не совершил преступления».

Ясно, Фивке не мог больше быть меламедом, кто к нему пойдет, все бегали от него как от чумы, а стало быть, нечего ему было в Люблине делать. Думаю, все знаете: такой городишко есть, недалеко от Люблина, Пяск называется. В мое время Пяск был знаменит на всю Польшу своими ворами. Поднимались среди ночи, запрягали лошадей, на бричках въезжали в местечко, грабили лавки — и назад в Пяск. Нескольких сторожей даже убили, когда те пытались не пустить их. Ну, короче, Фивке пришел в Пяск и стал там меламедом. Какие б ни были они отчаянные, воры эти, а тоже хотели, чтоб их дети вкусили хоть малую толику образования. Да только кто к ним поедет, в Пяск этот. Поди найди туда меламеда. Так они рады были, что Фивке у них появился, прямо на седьмом небе от счастья. А он теперь принимал к себе в хедер только тех детей, чей отец был вором. Рано

или поздно каждый из воров попадался — и в тюрьму. Так что в Пяске всегда было больше женщин, чем мужчин. Лавочники продавали им все в кредит, пока мужья на свободу не выходили. Те всегда отдавали свои долги. От кого-то узнали мы, что Фивке этот взял под свое покровительство «соломенных вдовушек» — так их называют. Лекарем заделался: ставил банки, отворял кровь, пиявками лечил, если заболит кто. И в Люблине бывал, приносил подарки. Откуда брал? Да крал попросту, как все они. И скажу вам, душеньки мои, не просто вором стал этот Фивке, а вором среди воров, сказать можно, раввином ихним, что ли. Делил добычу, чтобы все по справедливости, а ежели бывали стычки с полицией, Фивке всегда первый — тут как тут. Такое правило у воров, что нету у них никакого оружия с собой: одно дело украсть, а другое — кровь пролить. Но у Фивке был пистолет. Он стал конокрадом. Если, бывало, поймают его мужики, когда он коня угоняет, так из пистолета стреляет в них, а то и конюшню подожжет. Уж сколько местечек было, где его ночь напролет караулят: там с ножами, там с колотушками, а он все равно уйдет. Даже если поймают, как-то он ухитрялся убежать. Да сами знаете, судьи и адвокаты — они всегда преступнику помогают. Потому что если защищать тех, у кого украли, то на что же им жить-то. Уж такой Фивке был обходительный, кого хочешь заговоришь, и каждый раз как-то выпутывался, что бы ни случалось. Прямо чудеса про него рассказывали. Даже если его в тюрьму посадят, ночью разломает решетку и уйдет. Ищи-свищи потом. Иногда и других освобождал, кто уже давно сидит или же не в первый раз.

— А потом что было? — спросила Хая Рива.

— Подождите-ка. Горло пересохло. Пойду принесу сливового компоту и цимесу. Да еще погляжу, что у нас там на субботу припасено.

Я вышел из чуланчика, чтобы не попасться на глаза тете Ентл. И правильно сделал. Она угостила меня плюшками-пампушками, что испекли на субботу, и еще грушу дала. Спросила только:

— Где ты был? Читал «Пиркей авот»?

— Да я уж прочитал недельную главу, — ответил я.

— Ступай-ка назад в ешибот, — сказала Ентл. — Подобные истории не для тебя.

Я вернулся обратно и услышал, как тетя Ентл продолжает:

— Реб Иссар Мандельбройт совсем состарился и не мог больше вести дела. И вся торговля перешла к Даше, к этой трепливой бабенке. Янкеле, ее сыночек, учился у рабби. По вечерам Даша часто заходила к нам — так, поболтать. Каждый раз, лишь разговор коснется до Фивке, она обязательно спросит: «Ну и что вы думаете о моей порке?» Да так скажет, будто у него спрашивает. Мать моя, мир праху ее, скажет бывало: «Не стоит он того, чтобы мы про него говорили, мерзавца этого. Бывает хорошая мука, а бывают обсевки». Но Даша улыбалась, облизывала губы: «Откуда мне было знать, что меламед, ученый человек, может быть таким бесстыдником?» Она проклинала его всеми проклятиями, какие только знала. А казалось, будто она в восторге — такой удалец-молодец этот Фивке. Храбрости и отваги ему не занимать. Когда в тот раз Даша ушла, мать сказала:

«Не будь она реб Иссара жена, я б ее на порог не пустила. Она ж похваляется тем, что этот изверг так надругался над ней. Подумать — такое бесчестье!» И мать строго-настрого запретила мне с ней водиться.

И вот реб Иссар умер. Янкеле был еще мал, и потому Даша оформила опеку над состоянием. Она сразу же уволила всех, кто работал у реб Иссара. Без куска хлеба их оставила. Да ей-то что за дело! Новых наняла. Купила землю, где благородные живут, и дом стала строить — с двумя балконами да еще резным коньком на крыше. А уж побрякушек на себя навесила столько, что и ее-то не разглядеть. Духами себя поливала, да еще всякие пудры, помады... От сватов отбою не было с предложениями, только она всем отказывала. Она, видите ли, должна была посмотреть на каждого да еще и поговорить с ним. Один — не слишком деловой, другой — не достаточно солидный, третий — не очень умен. Сказано где-то в Библии, что, когда раб становится королем, земля трясется от страха.

А теперь послушайте-ка. Немножко еще осталось. Недалеко от Люблина местечко есть. Маленькое такое, ну просто деревня. Ваволиц называется. Известна она тем, как там Пурим празднуют два дня, четырнадцатого и пятнадцатого месяца Адара. Там сохранились остатки стены, построенной, как эти из Ваволица вообразили, еще до времен Моисеевых. Из-за стены этой — от какой-то крепости она осталась, — в Ваволице празднуют Пурим как самый великий праздник. Ну а уж напиваются — просто вдребезги. Каждый пьян как положено: не отличает Мордехая от Амана. Вот это уж случай так случай для воров

из Пяска. В Пурим всегда полнолуние. И вот поздней ночью, когда городишко спал, пяскеры явились — на быстрых конях, запряженных в повозки, — грабить лавки. Не знали они, что русская армия проводит учения где-то неподалеку. А было это вскоре после польского восстания. Власти были настороже, следили за поляками. И вот по дороге воры наткнулись на полк казаков — верхом на конях, и полковник с ними. Ну и затряслись они, когда казаков увидали. Душа в пятки ушла. Русские спросили, куда это они направляются, и Фивке, он немножко знал русский, сказал, мол, они торговцы, едут на ярмарку. Но полковник не дурак был — он знал, что тут нет поблизости никакой ярмарки. Он отдал приказ надеть на воров наручники и отправить в тюрьму — в Люблин. Фивке пытался вырваться, но попробуй драться с казаками — у них ружья, у них пики. Его связали как барана — и в тюрьму. В Люблине есть такие притоны, воровская малина, одним словом, где скупают краденое. Вот они всю ночь ждали этих воров с добычей. А как солнце взошло, поняли: случилось что-то, разбежались, расползлись по норам. Будто мыши. Дурные вести дошли и до жен воров из Пяска. Никогда прежде не было, чтоб их так много попало сразу. И вот — Ваволиц празднует Пурим, а в Пяске Девятое Ава. Мало этого, так еще старые и больные воры не выдержали, когда их били казаки, и выдали этих барыг: сказали, где ихняя воровская малина находится. Тех тоже в тюрьму позабирали. Там были очень богатые люди и почтенные члены совета общины из Пяска. Теперь их так ославили и семьи опозорили. Когда в деревнях услышали, что Фивке в тюрьме,

в цепях, так столько свидетелей нашлось, что говорили — повесят его.

Мне тогда понадобились кружева, платье я шила, и я пошла к Даше в лавку. Даша к нам не ходила с тех пор, как матери не стало. И все же у нее был лучший товар во всем местечке. Вхожу я в магазин, а она сидит за конторкой, волосы рыжие непокрыты, а разодета как барыня. Притворилась, будто не знает меня. А я и скажи ей: «Даша, ну вот и дожила ты, теперь наказан обидчик твой». А она зло так на меня посмотрела и отвечает: «Мстить — не еврейское дело», — повернулась и ушла. Хотела спросить ее, с каких это пор она столь правоверной еврейкой стала, да такую важную барыню эта Даша из себя строила, что я уж и не стала спрашивать. Мне другая девушка подобрала, что нужно было, и я ушла. На улице встретила знакомую и рассказала, какая Даша важная да благородная теперь. А она и говорит: «Ты спишь или что? Не знаешь, что у нас творится?» И рассказала, чем Даша теперь занимается: ходит в Пяск и носит туда хлеб, сыр — это для жен тех воров и перекупщиков, что в тюрьме сидят. Еще что нужное приносит. Бросает лавку свою без призора и водит с ними дружбу. Ентл-золотко, она влюбилась в него, «порщик мой» — так она Фивке называет — и вбила в голову, что спасет его. Эта женщина сказала, что Даша наняла лучшего в Люблине адвоката. Я уж не знала, смеяться мне или плакать. Как это может быть? Боюсь, не надо было рассказывать такую историю в канун субботы.

— Спасла она его? — спросила Рейзе Брендл.

— Они поженились, — ответила Ентл.

Стало тихо. Все молчали. Потом Хая Рива спросила:

— Как же она его вытащила?

Тетя Ентл прижала палец к губам и задумалась.

— Верно только то, что ничего нельзя знать наверняка, — сказала тетя Ентл. — Подобные вещи делаются тайно. Слышала я, будто она дала денег, и немало, губернатору, да и себя в придачу. Про эту сучку я чему хочешь поверю. Кто-то видел, как она входила в губернаторский дворец, одетая так, что кто хочешь соблазнится, не только губернатор. Три часа она там пробыла. Не псалмы же они там читали, понятное дело. Еще рассказывали, будто она ждала Фивке у ворот тюрьмы и, как вышел он, бросилась к нему, целовала его и плакала. А шпана люблинская обзывала ее по-всякому и свистела вслед. Знаю только еще, что губернатор освободил всех воров, только двое оставались в тюрьме, да и те скоро на волю вышли.

Да, они поженились, но не сразу, а через несколько месяцев. Он сбрил бороду и стал носить польское платье. Продал дом в Пяске и жил теперь с Дашей в ее новом доме. Янкеле отказался жить с матерью и отчимом, ушел в иешиву. Там живет теперь. Кто видел, как Фивке в одночасье стал галантерейщиком, тому никакого театра не надо. Он столько же понимал в галантерейном деле, как я в китайской грамоте. Если б реб Иссар Мандельбойт мог видеть, что случилось с его состоянием, в могиле бы перевернулся.

Сначала казалось, все у них хорошо. Она звала его Фивкеле, а он ее Дашеле. Ели с одной тарелки. Раз они были такие богатые, им еще хотелось почета и уважения. Он купил себе место в синагоге у восточной стены, а она — у самых перил — на балконе, где женщины молятся. Но по правде сказать,

ходили-то они молиться только на Великие праздники. Она не умела читать, а он открыто говорил, что в Бога не верит. Их прозвали: кат* и катована. Это по-польски так. Ей хотелось присоединиться к тем, кто помогает бедным, но женщины не приняли ее. Когда поняли, что у евреев им не будет ни почета, ни уважения, стали водиться с поляками. Но поляки тоже их сторонились. Ну, тогда они стали водить компанию с русскими. Теперь офицеры да полиция толклись у них постоянно. Такому если дашь чего повкуснее и водки нальешь, он сразу растает. Как воск. И делай с ним что хочешь. По вечерам у них теперь постоянно играли в карты, пили. У русских это называется «вечеринка». Даша так много времени проводила с этими распутниками, что в лавку свою вообще не ходила. У реб Иссара Мандельбройта только честные сидельцы были, а Даша набрала одних жуликов.

Пока конкуренции не было, лавка худо-бедно существовала. Но вот еще одна галантерейная лавка появилась — рядом совсем, полквартала только. Хозяин там был Зелиг — не наш, не люблинский. Из Бечова пришел. Маленький такой человек. Он покупал товар у тех, кто разорится. С самого первого дня торговля у него пошла хорошо. И чем лучше были дела у него, тем хуже у Даши с Фивке. Будто кто проклятие наложил. Фивке грозил, что подожжет лавку. Но она была так близко от его собственной, что обе могли сгореть. Он грозился убить Зелига, грозился покалечить его, но уж если не суждено, то не суждено. Маленький да чахлый он был, Зелиг этот, а вот

* Кат — палач (польск.).

никого не боялся. Вы никогда не видели, чтобы он шел — нет, он несся как дикий зверь, как рысь. А кричать да ругаться он мог громче, чем Даша и Фивке вместе. И взятки давал: «начальникам», так он говорил. Он нанял тех, кого Даша выгнала, и они раскрыли ему все секреты торговли, которые знали от реб Иссара. Жена Зелига была тихая, спокойная, ну чисто горлица. Она редко в магазин приходила. Дома сидела да рожала детей одного за другим. Все думали, что у Даши теперь будут еще дети с Фивке, но детей у них не было. Единственный ее сыночек Янкеле оставил ее. Он женился где-то в Литве, а мать даже на свадьбу не пригласил. Я забыла еще сказать, что Фивке растолстел ну просто ужас как. У него теперь был огромный живот, а нос — с красными и синими прожилками, как у настоящего пьянчуги.

Раз приходят утром продавцы в магазин, а двери открыты. Воры из Пяска забрались туда среди ночи и все шкафы обчистили — те самые воры, которых Даша спасла от тюрьмы и чьим женам так помогал Фивке. Если дела идут плохо, этому уже нет конца. Фивке ревел просто, потрясал руками и орал, что он всех их поубивает. Да только что он мог сделать? Ничего. В каждом человеке живут какие-то скрытые силы, и не объяснишь, что это, и вдруг — раз! — сильный становится слабым, а спесивый и заносчивый — покорным, смиренным. Записано где-то в Святых книгах, что каждому зверю, каждому человеку свое время. И если царствует лис, лев должен склониться перед ним.

— А что потом было? — спросила Хая Рива.

— Ох, не для субботы это. Не хочу даже и рот свой осквернять такими разговорами.

— Ну ладно, Ентл. Скажи. Что ж, мы так и не узнаем конца? Сколько ж нам ждать?

— Она стала проституткой. А Фивке сводничал. Приводил к ней. Больше русские ходили. Когда их соседи-поляки узнали, что у них творится, то дом подожгли. Сгорел дом. В те времена страховки от пожара не было, и у Даши ничего не осталось. Лавку они потеряли, а теперь вот и дом. Переехали совсем на край города, в бараки, и устроили у себя бордель. Обо всех этих ужасных делах в другой раз.

— Так что случилось-то?

— Нет, не в субботу только. Не для субботы это.

— Ентл, я теперь всю ночь не засну. — Хая Рива даже голос повысила.

У тети Ентл такое лицо стало — не перескажешь. Она помолчала, потом сплюнула в платок.

— Он ее порол, засек до смерти.

— Кто-нибудь видел?

— Нет. Никто не видел. Однажды утром он бегом прибежал в погребальное братство. Плакал и кричал, что его жена вдруг упала и умерла. Женщины пришли в дом и забрали труп в сарай, где их обмывают. Они положили ее на специальный стол, раздели. Когда увидели ее голой, поднялся такой вой, такие крики и плач. Она была вся исполосована, вся в рубцах и опухла. Женщины из похоронного братства не такие уж слабые. А все же одна там в обморок свалилась.

— Фивке-то арестовали, мерзавца этого?

— Он сам повесился. Их обоих похоронили ночью. За оградой кладбища.

Стало тихо. Тетя Ентл поправила чепец.

— Говорила же я, не для субботы это.

— Ну, и какой в этом смысл? — спросила Рейзе Брендл.

— Никакого.

Я вышел из кладовки, но тетя Ентл не заметила меня. Она что-то шептала себе под нос. Подняла глаза к небу.

— Солнце садится, — сказала она, — время читать «Господь Авраама...»

Мы сидели под тентом, за столиком уличного кафе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Завтракали. Моя гостья, женщина далеко за сорок, с ярко рыжими крашеными волосами заказала апельсиновый сок, омлет и черный кофе. Она подсластила кофе сахарином — достала его наманикюренными ногтями из перламутровой коробочки, в каких обычно держат лекарства. Я знал ее еще по варшавским временам — актрисой в театре-варьете, в «Кунде». Было это лет двадцать пять назад. Морис Рашкас, мой издатель, был ее мужем. А потом она стала подругой моего приятеля Менахема Линдера, писателя. Здесь, в Израиле, она вышла замуж за Иегуду Гадади, журналиста, лет на десять моложе ее. В Варшаве по сцене ее звали Шибта. В еврейском фольклоре Шибта — демон женского рода. Злой демон: соблазняет ешиботников, склоняет их к разврату. А еще крадет детей по ночам у молодых матерей, лишь те зазеваются. Девичья фамилия Шибты была Клейнминц. В «Кунде» Шибта пела двусмысленные куплеты, произносила скабрзные шутки и монологи. Писал для нее Линдер. Хороша была — глаз не оторвать. Газетчики с восхищением отзывались о ее смазливом личике, соблазнительной фигурке, дерзкой мимике и телодвижениях. И тем не менее «Кунда» продержалась недолго, не более двух сезонов. Шибта пыталась играть и драматические роли,

но ничего у нее не получалось. Полный провал. Во время войны до меня доходили слухи, что она погибла: то ли в гетто, то ли в концлагере. И вот она сидит напротив, прямо здесь. На ней белая мини-юбка, белая блузка, большие темные очки от солнца, соломенная шляпа с широкими полями. Брови выщипаны, на щеках румяна. Браслет на запястье. Камея. Кольца. Издали она сошла бы и за молодую. Но вблизи ее выдавала дряблая, морщинистая шея. «Цуцък» — так называла меня Шибта в Варшаве. Это прозвище она и дала мне тогда, во времена нашей молодости.

— Цуцък, — сказала она, — если б мне кто сказал там, в Казахстане, что в один прекрасный день мы будем сидеть вот так вот здесь, в Тель-Авиве, я бы сочла это за глупую шутку. Но раз остался в живых, все может быть. Разве поверишь, что я по двенадцать часов подряд, в лесу, на двадцатиградусном морозе пилила деревья. Все мы были голодные, завшивевшие, одеты в какую-то рвань. Так было. Да, чуть не забыла. Гадади хотел взять у тебя интервью для газеты.

— Пожалуйста. С удовольствием. Где это он за получил такое имя?

— Откуда мне знать. Все они тут поназывали себя именами из «Агады». На самом деле он Зейнвель Зильберштейн. Да у меня самой была чуть не дюжина имен. Между тысяча девятьсот сорок вторым и сорок четвертым меня звали Нора Давыдовна Стучкова. Каково? Смешно, правда?

— Почему вы с Линдером расстались?

— Так и знала, что спросишь. Цуцък, это все так странно, так невероятно — то, что случилось. Сама иногда не верю, что это было. С тридцать девятого года была не жизнь, а сплошной кошмар. Иногда

проснусь посреди ночи и не сразу могу сообразить, где я, как меня зовут, кто рядом со мной. Протяну руку, коснусь мужа, и он начинает ворчать: «Ма ат роца?»* Тогда понимаю, что я в Святой Земле.

— Все же почему ты и Менаше расстались?

— В самом деле хочешь знать?

— Ну да.

— Всего никто не знает. Но тебе, Цуцук, расскажу. Да и кому еще, как не тебе. Дня не прошло с тех пор, чтобы я не думала о нем. И это несмотря на все, что со мною было. Никого я так не любила, никому не была так предана. Такого уже не будет. В огонь пошла бы за него. Не думай, это не пустая фраза — я делом доказала. Небось думаешь, у меня только ветер в голове. Ведь в глубине души ты так и остался хасидом. Но самая праведная, самая богобоязненная и благочестивая еврейская жена не сделала бы и десятой части того, что я сделала для Менаше.

— Расскажи, Шибта.

— Ну ладно. Уже потом, когда ты уехал в Америку, настало наше счастливое время. Да, знали, что ужасная война все ближе и ближе. Оттого каждый день был как подарок. Менахем читал мне все, что ни напишет. Я перепечатывала рукописи, навела порядок во всем этом хаосе. Ты знаешь, какой он всегда был несобранный, разбрасывал рукописи, да и страницы не нумеровал. Никогда не знал, сколько их в рассказе. Одно было у него на уме — женщины. Я изнемогла в этой борьбе и в конце концов сдалась. Сказала себе: «Вот такой он. Какой уж есть. Ничто не в силах изменить его». Несмотря на это, он все больше и больше привязывался ко

* Чего тебе? (*иврит*).

мне. Мне удалось устроиться маникюршей, на это мы и жили. Ты не поверишь, я даже готовила для его баб. Годы шли, и ему все больше надо было убеждаться, что он величайший Дон Жуан. На самом же деле бывало так, что он становился прямо-таки импотентом. Вот он гигант, а на следующий день сущий инвалид. И зачем ему нужны были эти неопрятные, распущенные бабы? Большое дитя, да и только. Так все и шло, пока не разразилась война. Ни для кого это не было неожиданностью: уже с июля на улицах Варшавы рыли окопы, строили баррикады, даже раввины брали в руки лопаты и рыли рвы. Теперь, когда Гитлер собирался вторгнуться в Польшу, поляки забыли свои распри с евреями, свои претензии к ним, и мы все стали — одна нация, один народ, спаси и помилуй нас, Господи. Уже после твоего отъезда я купила несколько стульев и диван. Наш дом стал как игрушка. Цуцк, несчастье — дело нескольких минут. Воздушная тревога, вот был дом — и нет его. Трупы валяются прямо в сточных канавах. Говорили, что надо спускаться в подвал. Но и там было так же опасно, как на верхних этажах. Женщины хоть готовили еду, это как-то заполняло время, давало смысл существованию. А Менаше ушел к себе в комнату, сел в кресло и сказал: «Хочу умереть». Не знаю, что делалось у других — телефон сразу же отключили. Бомбы рвались прямо под окнами. Менаше задернул шторы и читал Дюма. Все его воздыхатели и почитатели исчезли. Ходили слухи, что журналистам предоставят поезд — чтобы эвакуироваться. В такое время нельзя сидеть дома. Это просто сумасшествие. Но Менахем поступал именно так. Не выходил из дому, пока по радио не объявили, что всем физически трудоспособным мужчинам

надо идти к Пражскому мосту и покинуть город. Не было смысла брать вещи, потому что поезда не ходили. А сколько можно унести на себе? Разумеется, я пошла с ним. Не осталась в Варшаве.

Главное забыла сказать. В тридцать восьмом, после нескольких лет полного безделья он начал большую вещь — роман. Пробудилась его муза, и он написал книгу — лучшее из всего, поверь моему слову. Я переписывала, перепечатывала, а если какие-то места мне не нравились, он переделывал. Это было нечто автобиографическое, но все же не совсем. Когда газеты и журналы узнали, что он пишет роман, все загорелись желанием его печатать. А Менаше вбил в голову, что не напечатает ни строчки, пока не закончит. Уперся, и все тут. Оттачивал каждую фразу. Некоторые главы переписывал по три-четыре раза. Называлось это «Ступеньки» — неплохо, потому что каждая глава описывала иную фазу его жизни. Закончена была лишь первая часть. А задумана была трилогия.

Когда я упаковывала наши нехитрые пожитки, то спросила его: «Рукописи брать?» — «Только „Ступеньки“, — так он сказал. — Остальное пускай читают наци». Он взял два чемодана, а я рюкзак. Сложили одежду и обувь, сколько можно было унести, и пошли. Впереди брели тысячи мужчин. Редко-редко женщины. Похоже было на большую похоронную процессию — да так оно, в сущности, и было. В большинстве они погибли — кто под бомбами, кто от рук нацистов, кто в сталинских лагерях. Были иные оптимисты — что несли огромные чемоданы. Так им пришлось бросить эту тяжесть, еще не дойдя до моста. С трудом волочили ноги, еле живые от голода, холода, бессонницы. По дороге выбрасывали пальто, обувь, костюмы. Но Менаше всю ночь

тащил оба саквояжа. Мы направлялись в Белосток, потому что Сталин и Гитлер поделили Польшу, и Белосток теперь принадлежал России. По дороге мы встречали массу журналистов, писателей и тех, кто считал себя таковыми. Все тащили с собой рукописи, и даже в нашем отчаянном положении я находила силы смеяться. Кому теперь нужна их писанина?

Вздумай я рассказывать, как мы добирались до Белостока, до утра бы с тобой сидели. Один саквояж Менаше бросил, но сначала проверил, что рукописи там нет, упаси Господь. Он впал в такой мрак, такое отчаяние, что даже разговаривать перестал. Оброс седой щетиной — забыл дома бритву. И первое, что он сделал в первом попавшемся городишке, — побрился. Некоторые из них были уже совершенно разрушены. А другие уцелели, и жизнь текла, будто никакой войны и не было. Поразительно: кое-кто из молодых, кто следил за литературой на идиш, просили, чтобы он прочел лекцию о состоянии современной литературы. Так уж устроен человек. За минуту до смерти он полон желания жить. Один такой даже влюбился в меня, пытался обольстить. Не знала, прямо, смеяться или плакать.

Что творилось в Белостоке — и представить невозможно. Город находился на территории России, опасности войны уже казались позади. Те, кто остался в живых, вели себя так, будто заново родились. Из Москвы, Харькова, Киева приехали советские еврейские писатели — приветствовать своих коллег от имени партии. Теперь коммунизм стал наиболее ходовым товаром. Те, кто были коммунистами в Польше, ужасно заважничали. Они думали, что их вот-вот пригласят в Кремль и предложат высокие посты. Таких было немного. Но даже те, кто

в Польше были антикоммунистами, теперь притворялись, что втайне им симпатизировали или же были попутчиками. Похвалялись пролетарским происхождением. У каждого кто-то нашелся: у одного дядя — сапожник, у другого деверь был кучером, у третьего родственник сидел в тюрьме. А некоторые даже обнаружили, что их предки пахали землю.

У Менаше отец был рабочим, но он этим не хвастал — гордость не позволяла. Говорили: хорошо бы выпустить большую антологию, открыть издательство для писателей-эмигрантов. Будущие издатели просили, чтобы Менашем принес что-нибудь из своих рукописей. Я там была и сказала про «Ступеньки». Хоть Менаше и терпеть не мог, когда я его хвалила — сколько раз мы из-за этого ссорились! — я все же сказала, что про эту вещь думаю. Все необычайно заинтересовались. Уже был создан фонд, чтобы субсидировать такие публикации. Договорились, что я принесу рукопись на следующий день. Обещали приличный аванс и квартиру получше. На этот раз Менаше не упрекал меня за то, что я пела ему дифирамбы.

Вернулись домой. Я раскрыла саквояж. Там лежал конверт с рукописью «Ступеней». Достала ее, но не узнала ни рукопись, ни бумагу, ни машинку. Понимаешь, дорогой Цуцык, вот что оказалось: кто-то из начинающих авторов дал ему прочесть рукопись, и он сунул ее в конверт, в котором до того хранил свой роман. И всю дорогу мы тащили бредятину какого-то графомана!

Даже сейчас как вспомню, дрожь берет! А Менаше разболелся, потерял в весе десять килограммов, краше в гроб кладут. Боялась, с ума сойдет, будет метаться и бесноваться. А он... совершенно упал духом. Говорит: «Ну, значит, так тому и быть».

Ладно бы, ну нет у нас рукописи, которую можно продать. Но тут и другая опасность. Могли же заподозрить, что он написал что-то антисоветское и поэтому боится показывать. Белосток прямо-таки кишел стукачами. НКВД еще не обосновалось в городе, но многих интеллигентов уже арестовали или же выслали. Цуцук, я знаю, ты не умеешь слушать, нет у тебя терпения совершенно, и потому привожу только голые факты. Я не спала всю ночь. А утром встала и сказала: «Я пойду в Варшаву».

Только он услышал это — побледнел как смерть. И говорит: «Ты что, рехнулась?» А я в ответ: «Варшава еще пока на месте. Не допущу, чтобы твоя рукопись пропала. Она не только твоя. Моя тоже». Он бесновался, кричал, размахивал руками, клялся, что повесится или же перережет себе горло, если я посмею отправиться в Варшаву. Даже ударил меня. Битва наша продолжалась два дня. На третий день я отправилась в Варшаву. Надо сказать тебе, многие мужчины пытались вернуться. Они тосковали по детям, по женам, по дому — если он еще существует. Кроме того, они уже поняли, что их ждет в сталинском раю и решили, что лучше уж умереть в своей постели, вместе с родными и близкими. Я говорила себе: рисковать жизнью из-за рукописи — это надо сумасшедшим быть. Но уже ничего не могла с собой поделаться. Будто наваждение какое. Я взяла свитер, теплое белье, буханку хлеба. Зашла в аптеку и попросила яду. Провизор — он еврей оказался — устоял на меня в изумлении. Я объяснила, что в Варшаве у меня остался ребенок и что я не хочу попасть живой в лапы к нацистам. Он дал мне цианистый калий.

Я не одна была такая. До границы со мной добирались еще несколько мужчин. Я им повторила

ту же байку: изнываю, чахну от тоски по ребенку — и они окружили меня такой любовью, так заботились обо мне, прямо совестно было. Не позволяли нести узел с вещами и вообще относились ко мне как к дочери. Мы все прекрасно знали, что нас ждет, попадись мы немцам. Но такие обстоятельства делают людей фаталистами. И на этот раз — было нечто несуразное, нелепое и смешное в моей аванюре. Шанс попасть в Варшаву, найти рукопись и вернуться живой в Белосток — такой шанс был один на миллион.

Цуцык, я пересекла границу безо всяких приключений. И добралась до Варшавы. И дом стоял на месте. А спасло меня вот что: сплошные дожди, холод, тьма кромешная по ночам. В Варшаве не было электричества. Евреев еще не загнали в гетто. Да я и не слишком-то похожа на еврейку. Повязывала волосы платком и легко сходила за крестьянку. Избегала встреч с прохожими. Едва увижу, кто-то идет, спрячусь и пережду. Нашу квартиру уже заняли. Там жила семья, у которой дом разбомбили и ребенка убили. Они спали на наших постелях, носили наши вещи. Но рукописи не тронули. Глава семейства следил за еврейской прессой, и Менаше был его кумиром. Когда я постучала в дверь и сказала, кто я, они ужасно перепугались. Подумали, что хочу обратно вселиться. Когда же я сказала, что пришла из Белостока за рукописью, просто дар речи потеряли.

Я выдвинула ящик стола, и прямо сверху лежал роман. В квартире я провела еще два дня. Люди эти делили со мной еду — все, что могли достать. Глава семейства уступил свою кровать — мою то есть. Устала до того, что проспала четырнадцать часов подряд. Проснусь, съем что-нибудь и опять сплю. Ну а следующим вечером отправилась в обратный

путь. Подумать только, добралась до Варшавы, вернулась в Белосток — и ни разу не встретила с немцами. Не все я пешком шла. Случалось, крестьяне подвозили. Бредешь и бредешь себе полями, лесами, проселками — и нет там ни нацистов, ни коммунистов — не то что в городе. То же небо, та же земля, так же поют птицы. На все ушло десять дней. Я торжествовала — такое у меня было настроение. Во-первых, нашла рукопись, пронесла ее под блузкой. Во-вторых, доказала себе, что не трусиха. Хотя, по правде сказать, пересечь границу в обратную сторону, в Россию, не представляло особого труда. Русские не чинили препятствий беженцам.

В Белосток вошла под вечер. Был легкий морозец. Подхожу, открываю дверь нашего обиталища — а состояло оно всего из одной комнаты — и тут... Что я вижу!? Мое сокровище в постели с бабой! Знаю ее как облупленную: никуда не годная, бездарная поэтесса, а уж страшна как смертный грех. Тускло горела керосиновая лампа. Печка топилась: где-то они достали дрова, а может уголь. Нет, дорогой мой Цуцык, я не устраивала сцен, не кричала, не стенала, не ругалась, не плакала — не доставила им этого удовольствия. Оба уставились на меня. Молчали. Я открыла дверцу, достала рукопись из-под блузки, бросила в огонь... Думала, Менаше набросится на меня. Нет, не произнес ни слова. Рукопись не сразу охватил огонь. Пришлось помешать кочергой в печке. Я стояла. Смотрела. Огонь не торопился. Не спешила и я. Лишь когда «Ступеньки» превратились в пепел, я с кочергой в руке подошла к этой бабе: «Убирайся. Убирайся немедленно. Не то не жить тебе».

Так она и сделала. Напаялила свое барахло и ушла. Скажи она хоть слово, наверно, убила бы. Ко-

гда так рискуешь жизнью, то и чужая жизнь уже ничего не стоит.

Менаше смотрел, как я раздеваюсь. Ни слова не произнес. Да и за всю ночь мы почти ничего друг другу не сказали. «Я сожгла твои „Ступеньки“», — объяснила я. — «Да. Видел». И все. Мы обнялись. Оба знали, что это в последний раз. Никогда не был он так страстен, так нежен со мной, как в ту ночь. А поутру я поднялась, упаковала вещи — немного было их у меня. И ушла. Не боялась я больше ни холода, ни голода, ни дождя, ни снега. Тоска и одиночество — и это меня не страшило. Я ушла из Белостока. Наверно, лишь поэтому осталась жива. Добралась до Вильны, устроилась работать в столовой. Довелось повидать, что из себя представляют эти наши так называемые большие личности. Как играют в политику, как выворачиваются наизнанку ради тарелки каши, ради крыши над головой. А в срок первом я выбралась из России.

И Менаше там был, так мне говорили. Но ни разу я не встречала его с тех пор — может потому, что не хотела. В каком-то интервью он сказал, что нацисты забрали его рукопись, и он собирается написать роман заново. Больше он ничего не написал, насколько мне известно. В сущности, это и спасло ему жизнь. Напиши он хоть что-нибудь, да если б еще опубликовали, не миновать ему общей судьбы — всех ликвидировали, и ему туда же была бы дорога. Правда, он все равно уже умер.

Долго сидели мы и все молчали. А потом я спросил:

— Шибта, можешь не отвечать, я только из чистого любопытства.

— Что ты хочешь узнать?

— А ты, ты сама была верна ему? Я имею в виду — физически.

— Нет, — ответила она после некоторого молчания. — Никому бы я этого не сказала. А тебе говорю. Правду говорю, Цуцык. Нет.

— Но почему же, если ты так сильно любила Менаше?

— Не знаю, Цуцык. Не знаю, как не знаю, почему сожгла рукопись. Ведь он и до этого изменял мне с разными бабами. Смирилась же я с тем, что могу любить человека, который спит не только со мной. А как увидела в нашей постели эту образину, во мне, наверно, снова проснулась актриса, и я разыграла драму. Он же легко мог остановить меня. А вместо этого только смотрел.

Снова мы помолчали. Потом она сказала:

— Никогда не приноси в жертву все ради того, кого любишь. Если рискуешь жизнью — так, как это сделала я, — уже ничего не остается, чтобы отдать.

— А в романах всегда женятся на спасенных де-вушках, — заметил я.

Она напряглась, будто натянутая струна, но ничего не ответила. Показалась мне вдруг уставшей, измученной — возраст проступил, прорезались морщины. Я не ожидал, что она вымолвит хоть слово. «Вместе с рукописью я сожгла способность любить», — вот что она напоследок сказала.

Из сборника
СПИНОЗА С БАЗАРНОЙ

Из сборника
THE SPINOZA OF MARKET STREET

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Вы мне будете рассказывать! Конечно, цадик совсем не то, что простой человек. Где уж нам до святого праведника. И способности не те, и то, что он скажет, не сразу и поймешь, не то что самому додуматься. Но дайте же мне рассказать, что было с моим собственным тестем.

Я тогда еще был молодой человек, почти мальчик, последователь рабби из Кузмира — найдется ли кто более достойный, чем этот человек? Мой тесть жил в Рачеве. Я учился в иешиве и ходил к нему обедать*. Он был богатый человек и держал дом на широкую ногу. Вот, к примеру, посмотрите-ка, что происходило во время обеда. Только после того, как я омою руки и произнесу благословение на хлеб, теща моя вынимала из духовки булочки. Горяченькие, с пылу с жару! И как только она ухитрялась так сделать, чтоб они поспевали минута в минуту? В бульон полагалось положить крутое яйцо. Я не привык к такой роскоши. В собственном моем доме хлеб пекли на две недели вперед. Я натирал чесноком ломоть хлеба и запивал его холодной колодезной водой. Вот и весь обед.

В доме тестя все блестело и сверкало: начищенные медные кастрюли, латунные дверные ручки

* В еврейской общине было принято, чтобы бедный ученик иешивы ходил обедать в богатый дом.

и замки. Прежде чем переступить порог, надо было как следует вытереть ноги о соломенный коврик. А что творилось, когда готовили кофе с цикорием! Ну суета, ну круговерть, ну суматоха! Теща моя происходила из миснагидов — врагов хасидов — а уж миснагиды знают толк в земных удовольствиях.

Мой тесть был достойный человек: честный, порядочный, в Талмуде разбирался, в математике разбирался, а еще и лесом торговал. В лесу у него была своя избушка, ему часто по делам приходилось ночевать там — тогда он брал с собой ружье и двух больших собак: чтобы не напали грабители. Он знал логарифмы. Мог сказать, здоровое дерево или нет, лишь постучав обухом топора по коре. Умел играть в шахматы — и часто проводил время с соседом-шляхтичем за игрой. Но лишь выдавалась у него свободная минута, он сидел за книгой. А «Обязанности сердца»* всегда с собою в кармане носил. Трубку курил. Красивая была трубка — с серебряной инкрустацией, с янтарным мундштуком. Талес хранил в специальной кожаной сумке, а для филактерий у него имелся серебряный футляр. Во-первых, он был ярый миснагид, другого такого поискать! Ну как огонь вспыхивал, лишь заходила речь о хасидах. Называл их еретиками, отступниками и не стеснялся злословить даже по адресу самого Баал-Шема**. Когда я в первый раз услышал, что он говорит, прямо затрясло. Хотел собрать пожитки свои

* «Обязанности сердца» — «Хобот галевовот», книга нравоучительных притч философа и ученого XI века Бахьи-ибн-Пакуды.

** Баал-Шем — Израиль Бешт (1700, Зап. Украина — 1760, Меджибож, Украина), основоположник хасидизма, праведник и чудотворец.

и сразу — прочь отсюда. Но рабби был против развода. Ты ведь женат на своей жене, — так он мне сказал, — тебя же не с тестем поженили. И он рассказал мне о Етро — тесте Моисея, который тоже не был хасидом. Меня поразило тогда, что Етро стал святым в конце жизни. Но ни к чему ставить телегу впереди лошади...

Был у него и еще недостаток — вспыльчивый был, раздражался по пустякам, а потом сам об этом жалел. Совершенно не мог себя контролировать. Любые свои слабости, любые недостатки характера мог преодолеть, только не этот. Если какой-нибудь торговец не отдавал долг вовремя, — хоть грош оставался должен, — он приходил в ярость, обзывал вором, жуликом и какие только оскорбительные слова ни находил для него. А в дальнейшем вообще не желал иметь с ним дело. Если заказывал сапоги и городской сапожник хоть самую малость ошибался — сапог был чуть шире или чуть уже, чем требовалось, — он его просто с грязью смешивал.

Все должно было идти только так, как он хочет. Вбил себе в голову, что в еврейском доме должна быть такая же чистота, как у знакомого польского помещика, и настоял, чтобы жена позволила ему проверять горшки и кастрюли. Если хоть пятнышко находил, приходил в ярость. Над ним даже подшучивали дома: что, если он найдет дырку в терке? Семья любила его, в городе он пользовался уважением. Но сколько можно такое терпеть? В конце концов он рассорился со всеми. Купцы отказывались иметь с ним дело. Даже теща моя уже не держивала.

Раз как-то я взял у него ручку, а сразу вернуть забыл. Ему понадобилось написать письмо в Люб-

лин, и он стал лихорадочно искать свою ручку. Тут я вспомнил, что ручка у меня, и поспешил вернуть ее. Но он уже впал в такой раж, что совершенно не владел собой. В ярости он ударил меня по лицу. Ну хорошо, если б это был мой отец, следовало бы стерпеть. В конце концов, я его собственная плоть и кровь. Но чтобы тесть ударил зятя: это неслыханно! Теща прямо заболела. Жена моя горько плакала. Сам я тоже был в расстройстве: вот тебе и раз! Но я видел, что тесть места себе не находит, расстроен ужасно, прямо поедом себя ест. Тогда я пошел к нему и сказал:

— Послушайте, отец, не принимайте это близко к сердцу. Я прощаю вас.

Вообще-то он очень мало разговаривал со мной. Потому что он был человек обстоятельный, аккуратный. А я, наоборот, ужасно расхлябанный, неловкий. Когда снимал пальто, никогда не мог вспомнить, куда повесил. Если мне давали деньги, никогда не клал их сразу на место. Если я выходил пройтись и мне доводилось пересечь рыночную площадь, то долго не мог сообразить, в какой же стороне наш дом, хотя Рачев — совсем маленькое местечко. Дома все одинаковые, и не мог же я в окна заглядывать: моя там жена или другая какая женщина. Ну, когда я уж совсем заблужусь, открываю дверь дома и спрашиваю: «Скажите, мой тесть не здесь живет?» Там, в доме, начинали хихикать и смеяться. Тогда я решил: не буду никуда ходить, кроме как в иешиву и обратно. Лишь много позже я сообразил, что у дома моего тестя был такой отличительный знак, ни с каким другим не спутаешь — около дома росло огромное, в три обхвата дерево с кряжистыми корнями. Ему, наверно, было уже лет двести, а то и больше.

Как бы там ни было, то из-за одного, то из-за другого, но мы с тестем постоянно ссорились. Поэтому он избегал меня. Но после этого случая с ручкой он заговорил со мной сам.

— Барух, ну что мне делать? — спросил он. — Я знаю, что это ужасный грех — как злословие, как идолопоклонство. Уж сколько лет я старался следить за собой, сдерживаться, но только хуже вышло. Наверно, я попаду в ад — одна мне дорога. Да и на этом свете дела мои плохи. Враги мои хотят погубить меня. Боюсь, как бы мне не оставить всех вас без куска хлеба.

Я ответил:

— Отец, поедemте со мной в Кузмир, к рабби Хаскелю.

Он аж побелел. И как закричит:

— С ума сошел! Не знаешь, что ли, что я не верю во всех этих цадиков!

Ну, тогда я решил придержать язык. Во-первых, не хотел, чтобы он наговорил мне чего-нибудь такого, о чем сам же потом будет жалеть. Во-вторых, нельзя было допустить, чтобы он произносил скверные слова о святом человеке.

Вообразите теперь: после вечерней молитвы он подошел ко мне и сказал: «Барух, едем в Кузмир». Я был просто ошеломлен. Но почему нет?.. Он решил ехать, и мы стали немедленно собираться в путь. Стояла зима, пришлось нанять сани. Лежал глубокий снег, и дорога была небезопасна. В лесу волки, да и грабителей, бродяг всяких хватает. Но таков уж характер у моего тестя. Раз ему загорелось, то все! Теща было подумала, что муж ее — упаси Господь! — совсем спятил. Он облачился в тулуп, надел валенки, а на них — лапти, потом прочитал специальную молитву о плавающих и путешеству-

ющих. Я же смотрел на происходящее как на приключение. Неужели же я еду в Кузмир, а со мною — мой тесть собственной персоной? Найдется ли кто счастливее меня? Тем не менее я дрожал от страха: кто знает, что ждет нас впереди — всякое может случиться.

За время поездки тесть не произнес ни слова. Всю дорогу шел снег, падал крупными хлопьями. Вьюжило, и на окрестных полях вьюга намела высокие сугробы. Философы говорят, что каждая снежинка — единственная и неповторимая, что все имеют они разную форму. Но снег — это вещь в себе. Он падает с небес, оттуда снисходит мир на весь белый свет. Белое — цвет сострадания и милосердия. Так сказано в Каббале. А красное означает закон.

В теперешние времена снег — это просто пустяки, чепуха какая-то. Идет день, ну самое большее два. Но тогда — вот это был снег так снег! Снегопад мог продолжаться аж целый месяц без перерыва! Гигантские снежные сугробы громоздились друг на друга, дома заносило по самую крышу, и приходилось рыть изнутри выход из дома. Небо и земля сливались воедино, и не отличить было одно от другого. Почему к старости борода становится белой? Это неспроста, все связано одно с другим. По ночам мы слышали, как воют звери в лесу. А может, то было завывание ветра.

Мы приехали в Кузмир в пятницу после полудня. Тесть пошел к рабби поздороваться. Ему позволили войти сразу. Самая середина зимы, глубокие морозы, и потому мало кто из учеников смог приехать к своему учителю. Я ждал в иешиве. Мурашки по коже, звон в ушах — одним словом, места себе не находил. По характеру тесть мой — человек упрямый. Очень даже может поспорить с раб-

би Хаскеле — уж он найдет, что поперек сказать. Он вышел только минут через сорок. Лицо белое как мел. Что борода, что лицо. А под кустистыми его бровями глаза как угли горят.

— Не будь канун субботы, я б уехал сию же минуту, — сказал он.

— Что случилось?

— Этот твой цадик просто дурак! Невежда! Я вырвал бы ему пейсы, не будь он такой старик.

Тошнота подступила у меня к горлу, я почувствовал сильный привкус желчи во рту. Я уже жалел об этой истории. Так разговаривать с рабби Хаскеле!

— Что же он такого сказал?

— Подумать только, он сказал, что мне надо стать льстецом! Расхваливать каждого, кто только ни встретится, кем бы он ни был, хоть подлецом из подлецов. И так восемь дней подряд! Если б у этого твоего рабби была хоть капля здравого смысла, он понял бы, что я ненавижу лесть как чуму. Я заболеваю, даже чуть соприкоснувшись с чем-то подобным. По мне так льстец хуже разбойника, хуже убийцы.

— И что же вы думаете? Будто рабби не знает, что лесть — это очень плохо? Поверьте, рабби знает, что делает.

— Что он такое знает? Один грех не может уничтожить другой. Ничего он не понимает в Законе, этот твой рабби.

Я был совершенно подавлен. Что теперь делать? Но я еще не был в микве, и пора было идти — скоро уже стемнеет. Да, забыл упомянуть, что тесть мой никогда не ходил в микву. Не знаю почему. Таковы уж эти ортодоксы, миснагиды эти — так я думаю. Да еще он гордый был, высокомерный. Ниже его достоинства — раздеваться при других. Когда я вернулся в иешиву, субботние свечи уже горели.

Рабби Хаскеле обычно зажигал свечи и произносил благословение задолго до наступления субботы. Он сам, не жена его. Жена зажигала свои свечи. Но это я уже о другом...

Я вошел и сразу увидел рабби. Он был весь в белом. От лица его исходило сияние. Будто солнечный свет. Ясно было, что он уже не с нами — он витает в высших мирах. И когда он пропел: «Возблагодарим же Господа за милосердие Его, да пребудет оно с нами вечно...», аж стены задрожали. Он хлопал в ладоши и слегка приплясывал все время, пока молился.

Лишь несколько человек было при этом. Но то были самые близкие, сами уже известные святыми делами, а один даже — близкий друг рабби. Пока они нараспев читали молитвы, явственно ощущалось, как их слова поднимаются к небесам. Никогда, даже здесь, в Кузмире, мне не приходилось испытывать такое благоговение при наступлении Святой Субботы. Ощущение наступающего праздника было столь реально, что казалось — можно дотронуться руками. Глаза сияли. А я, похоже, едва мог удержаться на земле. Так получилось, что я молился, стоя у окна. Снегом занесло все — нет ни дорог, ни тропинок, ни крыш. Нельзя понять, где кончается земля и начинается небо. Казалось, свечи горят прямо на снегу, а луна и звезды касаются крыш. Те, кто не молился в Кузмире в канун субботы, не способны представить, что мир может быть таким... Я говорю об этом мире, а не о том, куда мы все уйдем рано или поздно...

Я взглянул на тестя. Он стоял в углу, со склоненной головой. Как правило, гордыня всегда была написана на его лице. Теперь же это был совершенно другой человек. После молитвы все пошли к накрытому столу.

Как я уже говорил, рабби к приходу субботы облачился в белое. На нем был белый шелковый лапсердак с серебряными застёжками, расшитый цветами. Как и всегда перед субботней трапезой, рабби удалился к себе в библиотеку и некоторое время пробыл там один, читая нараспев главы из Мишны и Зоги. Почтенные его ученики и последователи сидели на скамьях, а те, кто помоложе, и я в их числе, ждали стоя.

Когда рабби вышел к нам, он напевал: «Мир да будет со всеми нами...» и «О, достойнейшая из женщин, как найти ее...» Затем он благословил вино и произнес молитву над субботней халой. Съел крошечный кусочек, размером всего лишь с оливой. Немедленно после этого начались застольные субботние песнопения. Но можно ли это так называть? Тело его плавно раскачивалось из стороны в сторону, он ворковал словно голубь. Это звучало как пение ангелов. Его общение с Господом было столь полным, что душа его почти оставила тело. Каждый видел: святой человек уже не с нами. Он там, высоко в небесах.

Кто знает, каких высот он достиг, как описать это? В Талмуде сказано: «Кто не испытал радости, подобной этой, тот не знал радости никогда». В одно и то же время он находился у себя дома в Кузмире и в Чертоге у Господа, у подножия Трона Славы. Такой восторг, такой экстаз невозможно даже вообразить. Я совершенно забыл о тесте да и о самом себе тоже. Я больше не Барух из Рачева — нечто бестелесное, абсолютно легкое и призрачное... Был уже час ночи, когда трапеза окончилась и мы вышли из-за стола. Такой встречи Царицы-Субботы никогда не было прежде, да не будет и снова — разве что когда придет Мессия.

Но я забыл рассказать главное. Рабби толковал Закон. Его толкование было связано с тем, о чем они говорили с моим тестем при личной беседе.

— Что делать еврею, если он неверующий? — спрашивал рабби. — Пусть он притворится верующим. Всемогущему не нужны ваши добрые помыслы. Поступок — вот что принимается в расчет. Только то, что вы сделали, имеет значение. Вы раздражены? Гневаетесь на кого-то? Ну и сердитесь себе. Но при этом говорите вежливые слова, будьте дружелюбны в то же самое время. Бойтесь быть притворщиком? Не нравится лицемерить? Бойтесь прикинуться другим? Тем, кем вы на самом деле не являетесь? Но ради чего вы лжете? Ради вашего Отца Небесного, да будет благословенно Имя Его. Да знает Он о ваших намерениях. И о тех помыслах, которые руководят вашими намерениями, Всемогущий тоже знает. Вот в чем суть дела.

Как мне передать смысл того, что говорил рабби? Каждое слово сверкало как бриллиант, жгло как огонь и проникало в самое сердце. И все же главное было не слова. Не так уж много сказал рабби. Но сам его тон, жесты... Зло нельзя победить одним лишь желанием, одной волей. Зло бестелесно. Оно проявляет себя через слова. Не предоставляйте силам зла уста ваши — это путь победить его. Вот, к примеру, Валаам, сын Веора. Он хотел проклясть детей Израиля, но вынужден был благословить их. И потому имя его упоминается в Библии. Когда человек не предоставляет злу уста свои, оно остается немым.

Почему я рассказываю так бессвязно, перескакиваю с одной мысли на другую? Тесть присутствовал на всех трех субботних трапезах у рабби.

И когда субботним вечером он пришел проститься, то беседовал с ним наедине целый час. По пути домой я спросил: «Ну как, отец?» — и он ответил: «Твой рабби — великий человек».

Обратная дорога в Рачев оказалась очень трудной. Хотя была середина зимы, на Висле трещали льдины, громоздились друг на друга, потом плыли вниз по течению. Одним словом, ледоход, как на Пасху. И тут же мороз, гремит гром, сверкает молния. Несомненно, это дело рук Сатаны! А как же иначе? Мы были вынуждены оставаться на постоялом дворе аж до вторника, там же застряли и многие другие миснагиды. Никто не мог продолжать путь. Настоящая буря свирепствовала и не давала даже выйти наружу. Ветер так выл в печной трубе, что дрожь брала.

Миснагиды суть миснагиды. Все одинаковы. Все без исключения. Как обычно, они стали отпускать свои шуточки, насмехаться над хасидами. Тесть мой хранил молчание. Они все хотели вызвать его на разговор, однако он отмалчивался. Они и так и этак: «Ну, что скажешь про того? А про этого?» Тесть не поддавался и лишь добродушно отшучивался. Они знали, что тесть едет от рабби Хаскеле и просто умирали от любопытства.

Что мне еще сказать вам? Тесть последовал совету рабби Хаскеле. Он перестал огрызаться, перестал бросаться на людей. Глаза сверкали гневом, но разговор — сама изысканность и предупредительность. Бывало, замахнется, трубка в руках, но всегда остановит себя и говорит скромно и вежливо. Довольно быстро в Рачеве поняли, что мой тесть теперь — совершенно другой человек. Остановил на улице какого-то малыша и ущипнул за щечку. А если водонос нечаянно плеснет водой

прямо на пол в доме, он никогда и виду не покажет, насколько это его бесит. Скажет только: «Как дела, реб Йонтле?» или «Холодно там, а?» Чувствовалось, что стоит это ему невероятных усилий. Зато благородство, великодушие — налицо.

Со временем раздражительность его пропала совершенно. Теперь он ездил к рабби Хаскеле три раза в год. Стал мягким человеком и таким добродушным, ну просто невероятно. Теперь у него вошло в привычку, стало правилом: хочешь сорваться — делай наоборот. Тогда самый злейший грех оборачивается добрым делом. Главное действовать, а не обдумывать да размышлять. Он даже начал ходить в микву. А когда тесть мой состарился, у него появились и собственные ученики. Можно сказать, свой двор появился... Это было уже после смерти рабби Хаскеле. Тесть не уставал повторять: «Если не можешь быть хорошим евреем, поступай как хороший еврей. Ибо как ты поступаешь — такой ты и есть. А иначе как? Почему человек не хочет поступать так, как считает правильным? Почему даже не пытается? Вот, к примеру, пьяница в шинке. Почему он пьет? Почему не пытается поступить иначе?»

Рабби однажды сказал: «Почему „не пожелай ничего чужого“ — самая последняя из Десяти Заповедей? Потому что прежде надо избегать делать плохое. Тогда потом и не возникнет желания так поступать. А если сидеть да ждать, пока все страсти улягутся, и не пожелаешь никогда достичь святости».

И так во всем. Если вы несчастливы, поступайте как счастливый человек. Счастье придет. Если вы в отчаянии, разуверились во всем, поступайте так, будто нет у вас сомнений. Вера придет. Придет потом.

Из сборника
БЕЙС-ДИН У МОЕГО ОТЦА

Из сборника
IN MY FATHER'S COURT

РАСТОРГНУТАЯ ПОМОЛВКА

Часто бывало, я служил отцу посыльным. Сколько раз меня посылали — то вызвать членов Дин-Тойре, то участников раввинского суда. Одно такое поручение до сих пор сохранилось в моей памяти. Молодой человек, модно одетый, явился к отцу и потребовал, чтобы его невесту вызвали для судебного разбирательства. Невеста жила на Крохмальной в доме № 13. Отец сразу же послал меня за ней — и чтобы с отцом пришла.

В сущности, дойти туда от дома № 10 — пара пустяков. Только пересечь улицу и все. Но дом этот граничил с печально известной площадью, где шлялись без дела карманные воришки и всякое хулиганье. Там же скупщики краденого обдeldывали свои делишки. А те дома, что выходили на площадь, — в них были тайные бордели. Даже обычная торговля велась каким-то странным манером: если кто-нибудь хотел купить, к примеру, партию печенья, надо было тащить номер из шапки или же крутить деревянное колесико. Обычные жильцы тут тоже жили — порядочные женщины, чистые, целомудренные девушки, набожные, соблюдающие Закон еврей.

Было лето. На площади толпился народ. Во дворе дома № 13 играли дети. Мальчики — в солдатиков, в «казаки-разбойники», девочки — в «классы», в «дочки-матери». Запускали дрейдл, игра шла на

орехи. Столько соблазнов задержаться: можно в одно поиграть, в другое. Но посыльный есть посыльный.

Я подымался по лестнице. Первый этаж еще ничего себе. Выше первого этажа все по-другому: облупленные стены, шатаются перила, грязь на лестнице. Двери раскрыты настежь. На кухнях чадят керосинки, поднимается пар, стучит молоток, жужжит швейная машинка, поют портниха и ее ученицы. Те, к кому меня послали, жили на самом верху. Я открыл дверь — и увидел мужчину с окладистой темной бородой и девушку, очень скромно, но прилично одетую. Мужчина сидел за столом. Он обедал. Девушка наливала бульон, а может, борщ. Мужчина сердито глянул на меня:

— Чего тебе?

— Вас просят прийти на Дин-Тойре.

— Кто это меня вызывает?

— Жених дочери.

Мужчина проворчал что-то. Девушка тоже смотрела недовольно.

— И что нам теперь делать? — спросила она отца.

— Раз зовут, надо идти, — отозвался он с мрачным видом.

Закончил есть, торопливо произнес молитву. Девушка оделась, пригладила волосы перед зеркалом. Как правило, меня начинали расспрашивать — что да почему, да зачем вызывают. На этот раз отец и дочь хранили молчание. Мрачное, тяжелое молчание. Так мы и пришли к нам домой. Отец предложил мужчине сесть. Девушка осталась стоять — женщине не было места в комнате моего отца.

Отец задавал обычные вопросы:

— Кто истец?

— Я истец.

— И что вы хотите?

— Хочу расторгнуть помолвку.

— Почему?

— Потому что не люблю ее, — ответил молодой человек.

Отец был явно смущен. Я залился краской. Отец девушки мрачно стоял здесь же, неуклюжий, угрюмый, темноволосый, с окладистой большой бородой. А она пахла шоколадкой и духами. На высоких, тонких каблуках. Как можно сказать, что не любишь такую? Это я не понимал. Но молодой человек — тот еще франт, на принца похож. Что ему хорошенькая девушка!

Отец дернул себя за бороду:

— И что еще?

— Это все, рабби.

— Ну а вы что скажете? — отец так задал вопрос, что непонятно было, обращается он к отцу или к дочери.

— Я люблю его, — ответила девушка сухо и почти что сердито.

В большинстве случаев отец быстро приходил к решению. Он всегда старался примирить стороны, достигнуть хоть какого-то компромисса. Но разве сейчас это возможно? Отец поглядел на меня, будто спрашивая: «Ну а ты что скажешь?» Но и я был в растерянности. И тут он произнес нечто, чего я от него никогда не слыхивал. Не так давно было введено в обычай, что раввин мог пригласить кого-нибудь из тяжущихся, чтобы обсудить обстоятельства дела наедине. Отец часто говорил, что не одобряет такую практику —

раввин выносит приговор и потому не должен тайно беседовать ни с одной из тяжущихся сторон. И вдруг слышу: «Пожалуйста, пройдемте со мной».

Он поднялся и сделал знак отцу девушки. Вместе они вошли в соседнюю комнату, я отправился следом. Если есть какой-то секрет, мне его обязательно надо знать. Разве нет? Дверь оставалась открытой. Уши мои тянулись, чтобы услышать, что же говорят отец и этот, второй. Но глаза сами собой устремлялись на молодую пару.

И тут я увидел нечто из ряда вон выходящее: маленькая, тоненькая девушка подошла к жениху, они заговорили, потом заспорили на повышенных тонах, и внезапно раздался звук пощечины. Потом — еще раз. Не помню теперь, кто сделал это первым, но знаю только, что они оба это сделали, да так тихо и спокойно — совершенно не в обычаях Крохмальной улицы. Дали друг другу по пощечине — и разошлись. Отец ничего этого не слышал. Мне показалось, отец девушки почувствовал: что-то случилось — но не подал виду. Я заплакал. Впервые вдохнул я аромат тайны, которая всегда существует между мужчиной и женщиной, пряный аромат любви.

А в спальне разговаривали. Отец сказал:

— Если он не хочет жениться, что я могу сделать.

— И мы не хотим его, — проворчал мужчина, — это подонок. Скот. Все, что есть отвратительного. Хуже не бывает. За другими бегает. Нет такого греха, который бы за ним не водился. Мы б давно от него избавились, да он все дарил ей подарки. А подарки мы не хотим возвращать. Из-за этого только она и говорит, что его любит. А во-

обще-то она его не выносит. Но подарки мы не вернем.

— Что за подарки?

— Кольцо, бусы, брошка.

— Можете вы как-то прийти к соглашению?

— Ни за что! Ничего не вернем. Ничего!

— Гм, да. А теперь выйдите и пошлите сюда его... Прошу вас.

Отец все-таки вышел сам и вернулся обратно с женихом. «Ну же», — сказал он, и молодой человек проворно вошел.

— Вы действительно не хотите на ней жениться? — спросил отец.

— Нет, рабби.

— Может, есть кто-нибудь, кто вас помирит с невестой?

— Нет, рабби. Это невозможно.

— Мир и согласие — на этом держится Вселенная.

— С ней мир невозможен.

— Она хорошая еврейская девушка.

— Рабби, мы еще не поженились, а она уже изводит меня — все насчет денег. Я уже должен отдавать ей отчет в каждой копейке. Если сейчас такое, что же будет потом? У меня старая мать, я должен кормить ее. Когда есть работа, я зарабатываю сорок рублей в неделю. У нее отец жадный, скупее любого скупца. Они хотят только копить деньги. Последнюю копейку выманят у кого хочешь. Если мы идем в ресторан, она заказывает самое дорогое из всего, что есть. И не потому, что голодная — нет, просто ей надо взять верх надо мной, власть показать. Если я захожу к ним так, без подарка, отец рвет и мечет. Она уже заказала подарок на Пурим! Сказала точно, что ей пода-

рять. И так во всем. И еще они боятся, что я их обману как-то... Не знал никогда, что такие люди на свете бывают. Зачем все это? Я не жадный. Пускай все ее будет. Но когда я принес ей бусы, она бегала от одного ювелира к другому, лишь бы похвастаться. Нет, рабби, такая жизнь не для меня.

— Вы действительно хотите покончить с этим?

— Да, рабби.

— А подарки?

— Пусть останутся ей, и сама пусть останется...

— Ладно. Теперь вернемся.

Отец снова поглядел на них на всех. Когда уходил, ничего не знал о них. И вот теперь все ясно. Он спросил обе стороны, согласятся ли они с тем решением, которое он вынесет. Они согласились. Отец получил плату. Приговор состоял в следующем: раз обе стороны отвергают друг друга, их нельзя заставлять соблюдать контракт. Однако же подарки остаются невесте.

Девушка улыбнулась. Выглядело это как-то глупо. Глаза блеснули. Казалось, там золотые блики. Золотые сережки покачивались, и миниатюрное кольцо с бриллиантом сверкало на пальце.

— Рабби, я хочу, чтобы он написал бумагу с просьбой простить его.

Насколько помню, обе стороны написали такое заявление. В случае расторжения помолвки так предписывал обычай. Оба поставили подписи — написали имя и фамилию. Необычайная образованность для Крохмальной. Когда все было кончено, молодой человек продолжал сидеть. Наверное, не хотел выходить вместе с ними.

— Пошли уже. Быстро! — позвал девушку отец.

А потом она сказала такое, что крепко запечатлелось в моей памяти. Девушка скороговоркой произнесла:

— Да прежде чем встретиться еще раз с таким, как ты, лучше обе ноги сломать!

Я был тогда совсем мал и все же понял: она по-прежнему его любит. Помолвку пришлось расторгнуть только из-за того, что ее отец такой жадный.

БОЛЬШОЙ ДИН-ТОЙРЕ

Споры, которые приходилось разбирать моему отцу, — это все были мелкие, незначительные дела. Суммы, о которых могла идти речь, — двадцать рублей, ну может, пятьдесят. Я знал, что есть раввины, которые решают тяжбы с большими деньгами: там ворочают тысячами. Там каждая сторона представлена и своим арбитром. Но это все у тех, богатых раввинов, что живут в северной части Варшавы. В нашем районе такого не бывало.

Но вот как-то раз — стояла зима — такая тяжба добралась и до нашего дома. До сего дня не понимаю, почему эти состоятельные люди решили довериться суду моего отца — ведь было прекрасно известно, насколько это наивный, совершенно не от мира сего человек. Мать сидела в кухне и очень переживала. Она боялась, что отец не разберется во всех перипетиях столь сложного дела. Еще с вечера отец снял с полки судебник «Гошен Мишпат» и погрузился в чтение: раз уж он ничего не понимает в делах и в коммерции, по крайней мере надо быть уверенным в том, что он знает Закон. Вскоре явились тяжущиеся стороны и привели своих представителей — арбитров. Один из тяжущихся был высокий, с редкой клочковатой черной бородкой и сердитыми агатово-черными глазами. В шубе до пят, блестящих галошах, и шапка меховая. Во рту — все время сигара с янтарным мунд-

штуком. Полон сознания собственной важности и учености. Так и прет из него — какой он пронизательный, сколько всего знает. Когда он снял галоши, я увидел на красной подкладке золотые буквы — я бы даже сказал, монограмму. Привел арбитра — раввина с совершенно белой бородой и молодыми смеющимися глазами. У него было круглое брюшко и серебряная цепочка поперек шелкового жилета.

С противной стороны — маленький человечек, почти карлик — в лисьей дохе, с толстой сигарой во рту. И этот привел арбитра — с окладистой, седой, но какой-то желтоватой бородой, крючкова-тым носом и круглыми, как у птицы, желтыми глазами, очень к этому носу подходящими. Он снял шляпу и некоторое время оставался с непокрытой головой. Потом надел атласную ермолку — вроде тех, что носят литваки*.

В нашем доме изучение Торы и Закона считалось единственно достойным занятием. Эти же люди принесли с собой какую-то суетность, приземленность. С изумлением и любопытством наблюдал я все это — глядел во все глаза. Раввины пикировались, пошучивали. Улыбались вежливой, хорошо заученной улыбкой. Мать накрыла чай — и принесла что было из сладостей, оставшихся с субботы. Подала лимон. Раввин со смеющимися глазами обратился к ней: «Реббецин, как бы это сделать, чтобы лето было?» — так он пошутил. Смотрел на мать, не отводя глаз, тогда как отец глаза всегда опускал.

Мать залилась краской, будто школьница, и явно растерялась. Но тут же овладела собой и ответила:

* Литваки — литовские евреи.

— Раз сейчас зима, значит, и зима нужна для чего-то.

Спустя некоторое время началось слушание дела. Речь шла о больших суммах — тысячах рублей. Изю всех детских силенок я старался постигнуть, что же они обсуждают, но скоро потерял нить. Что-то такое о купле-продаже, о заказах на погрузку, о партиях каких-то товаров. Обсуждали кредит, чистый доход, валовой доход, смотрели бухгалтерские книги, счета, расписки, судили-рядили про участие в прибылях. Оба раввина — арбитры, взявшиеся уладить дело, прекрасно разбирались во всей этой деловой терминологии — как рыба в воде. А отцу постоянно требовались разъяснения.

Меня задевало, что он многого не понимает, и я переживал за него. Время от времени обсуждение прерывалось: приходили женщины, жившие поблизости, — им надо было срочно выяснить: может, резник не так зарезал курицу? Вправду ли она кошерная?

Дин-Тойре не закончился в один день, продолжался день за днем, и конца не предвиделось. За это время я много чего узнал, много понял. Оказывается, не все раввины такие, как мой отец. Достав авторучки, они чертили на бумаге: прямые линии, круги, квадратики, разные замысловатые завитушки. То и дело посылали меня купить что-нибудь для подкрепления сил: то яблок, то плюшки им принести, даже за колбасой и холодной телятиной посылали. Никогда бы отец не дотронулся до мяса, купленного в гастрономе — там, где продается колбаса и сосиски, будь там хоть сто раз строгий кошер.

А эти ели копчености и с видом знатоков обсуждали качество. Несколько раз тяжба прерыва-

лась, потому что одному из раввинов, к примеру, вздумалось передохнуть, рассказать подходящую к случаю историю. Тут же другой, чтобы не отстать, не ударить лицом в грязь, в свою очередь рассказывал анекдот или случай какой-нибудь. Заходил разговор о дальних странах, о лечебных водах. Оказывается, раввины эти бывали и в Германии, и в Вене, и где только они не были. Отец сидел во главе стола: он — главный судья, но видно было, что ему не по себе, что он стесняется присутствия этих важных особ, которые так степенно и неторопливо беседуют обо всяких диковинах.

Прошло время, и я стал разбираться, в чем предмет спора. К собственному изумлению, понял вот что: этим арбитрам нет дела до того, что правильно, что нет, где истина, где ложь. Каждый старался лишь обойти, перехитрить другого, оправдать свою сторону и найти противоречия в аргументах и доводах противной стороны.

Я негодовал, меня возмущали эти изворотливые раввины, и в то же время меня снала зависть к их детям. По разговорам понятно было, что дома у них дорогие ковры, мягкие диваны, красивые вещи и еще много всякого такого. Очень редко, но все же кто-нибудь из них нет-нет да и упомянет о жене, и это уже было чудо из чудес. Никогда, ни разу в жизни не слышал я, чтобы отец заговорил о матери во время разговора с другими мужчинами.

Нескончаемый этот Дин-Тойре длился и длился, все более запутываясь, сложности возрастали, возникали новые нюансы. На столе росла стопка бумаг, вычислений. Вызвали бухгалтера, он пригласил еще кучу бухгалтерских книг. Настроение высокого, с черной бородой, постоянно менялось.

Вот говорит спокойно, не спеша, будто у него каждое слово на вес золота — а то как грохнет кулаком по столу, да все угрожает передать дело в гражданский русский суд. Тогда седой, маленький, отвечает ему тоже резко, грубо, сердито да все повторяет, что он никакого суда не боится. Что до него, так хоть в высший трибунал подавайте. А два их арбитра, хоть и были на ножах, терпеть не могли друг друга, — мирно беседовали, один другому подносил спичку — прикурить. Оба не уставали говорить: приводили изречения мудрецов, суждения ученых-талмудистов, мнения законоведов. Отец почти ничего не говорил, не требовал разъяснений. Лишь время от времени с тоской поглядывал на полки с книгами. Ради раздоров и споров по каким-то сделкам этих богатых евреев он тратит время, которое мог посвятить Торе. Он жаждал вернуться к своим книгам, к комментариям — прямо-таки изнывал, томился по ним. Однако же внешний мир с его расчетами, подсчетами, с его ложью и вероломством вторгался в нашу жизнь.

Меня постоянно посылали за всякой ерундой — ни дать ни взять мальчик на побегушках. Вот одному понадобились папиросы, а другому — сигары. Зачем-то нужна польская газета, и за ней опять посылают меня. Но чаще всего посылали за едой. Я и не подозревал раньше, что можно столько есть — всякие сладости, лакомства, и не в праздник, а просто в будни на ходу жевать. Раввину со смешливыми глазами, к примеру, захотелось баночку сардин. Ясное дело, раввины так много ели потому, что платили-то не они, а те, кто их нанял. Говорили об этом открыто, пересмеиваясь да перемигиваясь.

В последний день вообще стоял невообразимый шум и гам. Сплошная суета и суматоха. Чуть что — один из спорщиков порывался убежать, и раввину приходилось удерживать своего клиента. Может, это все игра? Я уже понимал, что часто говорят одно, а имеют в виду совершенно другое. Когда злятся, говорят спокойно. А если человек доволен, то притворяется рассерженным, делает вид, что просто в бешенстве. Стоит одному раввину не прийти или задержаться, как другой перечисляет все его слабости и пороки. Однажды раввин со смешливыми глазами пришел на полчаса раньше остальных. И как начал сыпать оскорбления по адресу своего противника — остановиться не мог. «Если он — раввин, то я — английский король», — вот что он даже сказал.

Отца как оглушили:

— Как же так можно? Мне известно, что он разрешает споры по сложным вопросам соблюдения Закона ...

— Его решения! Ха...

— Но если все так, как вы говорите, такого нельзя допускать... Чтобы евреи ели тrefное...

— Ну, может, он знает, как найти сноску в «Берер Хейтев»... Он, видите ли, уже и в Америке побывал.

— Что же он там делал, в Америке этой?

— Штаны шил.

Отец отер пот со лба.

— Вы это серьезно?

— Ну да.

— Наверно, он нуждался в деньгах. Ведь записано, что лучше обмывать трупы, чем просить подаяние... Работа — не позор.

— Все это так, конечно. Но далеко не каждый сапожник — рабби Иоханан.

Отец признался матери со вздохом, что будет счастлив, если Дин-Тойре возьмется рассудить вместо него другой раввин. Он и так слишком много времени оторван от занятий. Он уже больше не может — подумать только, потратить столько времени на всю эту неразбериху и путаницу, все эти «дробь» (так отец называл любые арифметические операции более сложные, чем сложение, вычитание и умножение). Он предвидел, что в любом случае спорщики не подчинятся его приговору. И еще он боялся, что дело в конечном счете может быть передано в гражданский суд, и тогда его, вполне вероятно, вызовут как свидетеля. Сама мысль о том, что придется стоять перед чиновниками, давать клятву на Библии, сидеть там в окружении жандармов — одна эта мысль приводила его в содрогание. По ночам он стонал, утром подымался раньше обычного, чтобы прочесть молитвы в мире и покое и успеть проглядеть хотя бы страницу из Гемары. Он ходил туда-сюда, мерил шагами свою комнату и громко, дрожащим голосом молился: «Господи, Ты дал мне душу. Сохрани ее в чистоте. Ты — Создатель, Ты сделал это. Ты дал мне дыхание, вдохнул в меня душу. Ты волен взять ее у меня, но позволь в будущей жизни возродиться душе моей...» Казалось, он не молится, а оправдывается перед Творцом Вселенной. Целовал филактерии и кисточки талеса лихорадочно, истово — не как в обычные дни.

Да уж, последний день был невероятно бурным. На этот раз не только спорщики, но и их арбитры то и дело переходили на крик. От прежних дружеских отношений не осталось и следа, они ругались и поносили друг друга. Да, ругались, кричали, давали выход своим до сих пор сдержи-

ваемым чувствам, пока не замолкли в изнеможении. Тогда отец вынул платок и дал тяжущимся ухватиться за него — в знак того, что они готовы подчиниться его решению. Я стоял рядом, и меня била дрожь. Ведь я точно знал, что отец ничего не понял во всех этих запутанных обстоятельствах дела и что он сейчас произнесет приговор, столь же неподходящий, как не подходит удар кулаком для приветствия при встрече субботы. И вдруг до меня дошло, что на протяжении многих прошедших часов отец во всем разобрался — в конце концов ухватил суть этих споров и разногласий по поводу участия в прибылях. Он произнес старую и испытанную формулу компромисса: равные доли... Воцарилась тишина. Ни у кого не хватило духу что-нибудь сказать. Тот, что с редкой бородкой, молчал, уставившись на отца диким взглядом. Маленький человечек скривился, все равно как кислятины наелся. Раввин с желтыми глазами нагло ослабилась, и среди желтых его зубов блестела золотая коронка — это лишний раз убедило меня в том, что он побывал в Америке.

Наконец все очнулись, и тут началось: они не желали подчиниться приговору. Пошли обидные намеки, оскорбления... Отец стоял на своем. Говорил просто: «Я же спросил, хотите ли вы полное решение вопроса или согласны на компромисс?» — «Даже компромисс должен иметь свои резоны». — «Я уже сказал. Это мое решение. И у меня нет отряда казаков, чтобы заставить вас его исполнить».

Арбитры удалились, чтобы все досконально обсудить со своими клиентами. Они ворчали, ругались, протестовали, высказывали обиды и претензии. Помню, самые громкие протесты исходили как раз от того, который на самом-то деле извлек

пользу из отцовского решения. Потом договорились до того, что компромисс вообще невозможен. Но, в конце концов, и так — плохо, и этак — не очень хорошо. Может, лучше ничего и не придумаешь? Все же они были деловые партнеры и потому ударили по рукам. Тем дело и кончилось. Раввины опять послали меня в лавку. После того, что тут было, можно и подзакусить. После всех ссор и споров надо восстановить силы! Снова эти двое были лучшие друзья, и один из них даже сказал, что порекомендует другого, чтобы тот разобрался в одном известном ему деле! Наконец все ушли. В кабинете остался только дым от выкуренных сигар и папирос да стол, заваленный бумагами, шкурками от фруктов, обедками, остатками всякой снеди. Отец получил щедрый гонорар — двадцать рублей, помнится. Я видел — у отца на душе неприятный осадок. Он попросил мать как можно быстрее убрать со стола. Открыл дверь, чтобы выветрился запах — запах, напоминающий о богатстве, о роскоши, о тщете и мирской суете. Эти тяжущиеся были деловые люди. В конце-то концов, что с них взять. Но раввины — эти чрезмерно ловкие и хитроумные раввины! — вот что причинило отцу глубокую боль.

Как только мать привела стол в порядок, отец сел, чтобы возобновить привычные занятия. Взялся за книги рьяно, нетерпеливо, с невероятным пылом и рвением. Здесь, в этих святых книгах, никто не закусывал сардинами, никто не делал скользких намеков, не льстил, не хвастался, не говорил двусмысленностей, не острил так, что не хотелось этого слушать. Здесь царствовали святость, преданность истине, почитание учителей.

В хасидском бейт-мидраше, куда отец ходил молиться, прослышали об этом деле — о поразив-

шем всех, сенсационном Дин-Тойре. Там обсудили это и с моим отцом. Говорили, что теперь он прославился на всю Варшаву, у него такая репутация — дальше некуда... Отец только отмахнулся: «Да нет, ничего хорошего...»

И тогда отец рассказал мне о ламедвавниках — тридцати шести праведниках, тайных святых: портных, башмачниках, водносах, от которых зависит, чтобы мир продолжал существовать. Отец говорил об их бедности и смирении, о том, что они к тому же притворяются невеждами — лишь бы никто не догадался об их истинном величии. Он говорил об этих святых с особой, страстной, горячей любовью. Потом добавил: «Одна кающаяся сокрушенная душа имеет большую цену перед Всемогущим, чем тридцать шелковых кафтанов».

КЛЯТВА

Когда бы ни проходил у нас Дин-Тойре, отец повторял снова и снова: «Ни в коем случае никаких клятв, никакой божбы». И не только против этого он категорически возражал — даже против поручительства, против честного слова, против рукобития как гарантии исполнения обещанного. Никто, ни один человек не может полагаться на собственную память, — доказывал, убеждал отец. Значит, никто не может поручиться даже за то, что он считает непреложным. Записано ведь, что когда Господь провозгласил: «Не произноси всуе имя Божие...», всколыхнулась земля и задрожали небеса.

Часто встает в моем воображении такая картина: Гора Синайская объята пламенем, Моисей стоит там со Скрижалями в руках, и слышится с небес глас могучий — Глас Бога. Задрожала земля, заколыхалась, встрепенулись моря и океаны, погибли города, разрушались, разбивались на куски горы... Задрожали небеса, и солнце заколебалось, и луна и звезды...

Но эта женщина в большом черном парике, мужеподобная, в турецкой шали на широких плечах, ничего так не желала, как поклясться. Она просто жаждала, умоляла, требовала — дать ей эту возможность. Совершенно не помню, что за Дин-Тойре в тот раз у нас собрался. Помню только, что

там была эта женщина и несколько мужчин, которые в чем-то ее обвиняли. То ли о наследстве шла речь, то ли об утаенных деньгах. Если правильно помню, дело касалось довольно крупной суммы. Эти люди грозили ей, звучали резкие, грубые слова: ее называли воровкой, гнусной обманщицей и разными другими оскорбительными словами. Но женщина тоже в долгу не оставалась. На каждое обвинение она отвечала подобным же обвинением или ругательством. Над верхней губой у нее росли волосы — такие женские усики. На подбородке — жировик, и на нем тоже росли волосы, как бы небольшая бородка. А голос — грубый, резкий, словно у настоящего мужика. Женщина вела себя очень агрессивно, никак не желала смириться с обвинениями, ни одно оскорбление не желала проглотить, не оставляла без ответа. И только пронзительно визжала:

— Рабби! Зажгите черные свечи, откройте Ковчег Завета! На свитке хочу поклясться! Только на чистом клясться я хочу! На Святой Торе!

Отца прямо трясло:

— Что за спешка такая — божиться?!

— Рабби, позволено божиться, если я правду говорю. Я готова побожиться перед черными свечами! Могильным холодом, смертью, пусть очистит меня клятва!

Она была, наверно, откуда-то из провинции, из местечка, потому что женщинам из Варшавы такие клятвы, выражения такие были не свойственны. Она сжимала руки в кулаки и так с размаху грохала по столу, что аж чайные стаканы тряслись. Чуть что, подбегала к двери, будто собиралась уйти. И опять возвращалась — с новыми доказательствами своей невинности, с новыми обвинениями в адрес про-

тивной стороны. Неожиданно она высморкалась — да так громко, с таким трубным звуком — можно было подумать, что в шофар протрубили. Я стоял у отца за стулом и трясся от страха — боялся, эта дикая фурия, просто мегера какая-то, все у нас расколотит: стол, стулья, отцовскую кафедру, порвет книги, побьет мужчин — в общем, сделает что-нибудь ужасное, невероятное по жестокости. Мать моя, хрупкая как тростиночка, очень деликатная, то и дело испуганно заглядывала в дверь. Жуткая, сверхъестественная сила исходила от этой женщины.

Тяжущиеся все больше и больше распалились, появлялись новые доказательства правоты обеих сторон, новые обвинения. Один из обвинителей, маленький еврей с красным носом и куцей сивой бородкой, осмелился по новой повторить обвинения — и вруней ее назвал, и воровкой, и растратчицей, и все такое в том же роде. Вдруг женщина вскочила. Сейчас она набросится на этого человека, убьет его на месте — так мне вообразилось. Однако же она сделала нечто другое: открыла Ковчег, молниеносно ухватила за свиток Торы внутри Арнкодеша и завопила раздирающим душу голосом: «Клянись на Святом Свитке, что говорю чистую правду!» И снова перечислила все доводы, что приводила в свое оправдание до того.

Отец вскочил, чтобы вырвать свиток. Но не успел. Поздно было. Противники ее застыли недвижно — окаменели будто. Голос женщины перешел в какое-то хрипение, потом она разразилась рыданиями. Целовала чехол свитка, плакала и стенала так, будто воеет по покойнику или у нее крестился кто в семье.

У отца в кабинете воцарилось напряженное молчание. Отец аж побелел — стоял и тряс головой:

нет, нет, нет. Мужчины уставились друг на друга — растерянные, сбитые с толку, в совершеннейшем замешательстве. Все кончено. Ничего нельзя сделать — ни сказать, ни возразить. Женщина ушла первая. Потом ушли мужчины. Отец стоял в углу, утирал слезы. Они лились и лились, стекали по щекам. Все эти годы он избегал даже поручительства, даже честного слова, рукобития — и вот в нашем доме женщина поклялась на нашем Свитке, на Святой Торе. Отец опасался сурового возмездия. Мать ушла в кухню, тоже весьма обескураженная. Отец открыл Ковчег, поправил деревянную ручку — будто хотел, чтобы Свиток простил его за все, что здесь случилось. Так это выглядело.

Обычно, когда Дин-Тойре заканчивался, отец рассказывал нам в семейном кругу все обстоятельства дела. На сей раз не произнес ни слова. Наверное, взрослые уговорились не упоминать о случившемся. Зловещее молчание нависло над нашим домом. Отец больше не болтал со мной о чем попало. Он ходил в бейт-мидраш к хасидам и подолгу засиживался там над молитвенником. Однажды только сказал, что есть у него одна лишь просьба к Всемогущему — чтобы ему больше не пришлось зарабатывать на хлеб раввинским судом. Я часто слышал, как он вздыхает и шепчет с мольбою: «Всемогущий! Отец наш небесный! О, помоги же нам, Господи...» И добавлял иногда: «Сколько можно? Сколько это будет продолжаться?»

Я знал, о чем он: как долго будет продолжаться изгнание? Сколько еще будет править миром Зло? И сколько может длиться власть Сатаны?

Мало-помалу случай этот стали забывать. Отец больше не замыкался в себе: разговаривал с нами, рассказывал всякие хасидские притчи, разные

истории. Прошли три недели траура по разрушению Храма, затем — Девять Дней. Наступило Девятое Ава. После Пятнадцатого Ава отец снова вернулся к своим книгам, стал заниматься по вечерам. Пришел месяц Элул, и в хасидской синагоге на нашем дворе каждый день звучал шофар, чтобы напугать и отогнать Сатану, расстроить его злые козни. Все шло своим чередом, как в прежние годы. Отец подымался рано. К семи часам уже завершал утреннее омовение и садился за стол — прочесть положенную главу из Талмуда. Делал он все тихо, неспешно, так, что ни мать, ни нас, детей, никогда не будил.

И вот однажды утром, на рассвете, раздался стук в наружную дверь — стучали резко, нетерпеливо. Отец испугался. Мать села на кровати. Я соскочил с постели. Никто никогда не являлся, не стучал в дверь так рано поутру. Ни задавать вопросы относительно Закона, ни вести диспуты и рассуждения никто не приходил в такую рань. Приходили днем. А сейчас стучали так сильно, так сердито, что было ясно: это полиция. По субботам немногочисленная паства собиралась у нас дома — приходили вместе молиться. Но разрешения у нас не было. Отец всегда жил в страхе, что его могут упрятать в тюрьму. Согласно русским законам, он не имел права даже совершать бракосочетание или давать развод. Конечно, как человек, занимающийся чем-то сомнительным, недозволенным, словом, «фиксер», — он платил некоторую мзду околоточному и городовому. Но кто может знать, что этим русским в голову взбредет? Отец боялся идти открывать. Он не знал ни слова по-русски. Да и по-польски говорить не умел. Мать надела халат и пошла к двери. Я влез в штаны, сунул ноги в ботинки, поплелся за ней. Жутко волновался, просто трепетал

от того, что сейчас увижу городского в форме прямо в нашем доме. Прежде чем открыть дверь, мать спросила по-русски: «Кто там?» «Откройте же!» — сказали на идиш. Я побежал к отцу сообщить хорошие новости: незнакомец — еврей и, стало быть, не жандарм. Отец воздал хвалу Творцу Вселенной. Я бросился назад, в кухню, — и там, к большому удивлению, увидел женщину, которая тогда клялась перед свитком Торы. Немного погодя мать ввела ее к отцу. Отец поднялся с постели.

— Х-мм, ну что там теперь? — спросил он довольно-таки раздраженно.

— Рабби, я — та женщина, которая клялась тут, — начала она.

— Г-мм, ну? Ну?

— Рабби, я хочу поговорить один на один.

— Выйдите, — сказал нам отец.

Мать вышла и меня увела. Желание подслушать, о чем пойдет речь, буквально снедало меня, но та женщина бросила на меня мрачный взгляд, давая понять, что разгадала все мои штучки. Лицо ее заострилось, щеки впали, мертвенная бледность — будто болезнь какую перенесла. Из комнаты отца слышалось лишь бормотание, вздохи, потом молчание, снова вздохи, снова бормотание. Что-то там происходило тем ранним утром осеннего дня месяца элул. Но что же именно? Вот бы узнать! Мать вернулась в постель. Я снова разделся. Я устал, веки мои отяжелели, но заснуть было невозможно — надо же дождаться, когда вернется отец. Прошел уже час, а они все шептались. Я уж задремал было, как двери открылись, и вошел отец.

— Что там такое? — спросила мать.

— О, горе нам, горе! Вой-ва-авой! — отвечал отец. — Азохль-вей! Конец света! Конец концов!

— Но что случилось?

— Лучше бы тебе не спрашивать, а мне не отвечать. Уже время, чтобы пришел Мессия. Все в таком состоянии... «Лучше бы мне умереть, забвению предать душу мою...»

— Скажи наконец, что случилось?

— Увы, женщина дала ложную клятву. Она не может найти покоя... Она созналась — по доброй воле. Подумать только — дать ложную клятву перед свитком!

Мать так и сидела на кровати. Молчала. Отец начал раскачиваться как обычно. Но было в этом раскачивании что-то такое — в общем, он делал это не так, как в другие дни. Тело его откидывалось назад, потом наклонялось вперед — как дерево, которое мечется во время бури. Пейсы мелко тряслись от каждого движения. Снаружи уже всходило солнце. Красноватый отблеск упал на лицо отца. Рыжая борода пламенела.

— И что ты ей сказал, отец?

Он сердито обернулся:

— Ты что, не спишь еще?! Спать сейчас же!

— Отец, я все слышал!

— Что ты там услышал такое? Ох, как сильны в человеке дурные наклонности, до чего сильны! Из-за малых денег человек душу прозакладывает! Она побожилась, поклялась на Торе! Теперь она раскаивается. Значит, несмотря ни на что, она хорошая еврейка. Раскаяние помогает всегда. — Внезапно он воскликнул: — Даже Навузардану* — после покаяния — было даровано прощение. Нет

* Навузардан — военачальник царя Навуходоносора. В 587 г. до н. э. разрушил Иерусалим, выселил жителей (вавилонский плен). По повелению Навуходоносора освободил пророка Иеремию.

такого греха, который нельзя было бы смыть покаянием.

— Ей надо будет поститься?

— Во-первых, она должна вернуть деньги, ибо записано: «Пусть возместит отнятое силой...» Скоро Йом-Кипур. Если человек раскаивается от всего сердца, Всемогущий — да будет благословенно имя Его! — дарует прощение. Он милосерден. Нет предела милосердию Его. Он снисходит к нам и прощает, Господь наш!

Потом уже я узнал, что эту женщину по ночам мучили кошмары. Она не могла заснуть. Отец и мать являлись ей, одетые в саваны. Отец наложил покаяние: соблюдать пост по понедельникам и четвергам, давать деньги на бедных, воздерживаться от мяса некоторое время, исключая субботу и праздники. И еще: она должна вернуть деньги тем мужчинам, и обязательно здесь, в нашем доме, — так мне это видится теперь, так запечатлелось в памяти.

Шли годы, но отец все никак не мог забыть этот случай. Если во время Дин-Тойре кто-нибудь лишь упоминал о клятве, следовал рассказ об этой женщине. А мне все представлялось, что свиток Торы тоже вспоминает... что по ту сторону бархатной занавеси, прикрывающей Ковчег, — когда бы отец ни рассказывал эту историю — по ту сторону прислушивается свиток...

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Есть люди — у них судьба прямо на лице написана. Вот такой человек был Моше Блехер* с Крохмальной, из дома № 10. Простой кровельщик, бедняк — а что-то в нем было. Ну, во-первых, выглядел он необычно: смуглый до такой желтизны, будто он не здесь загорел, а на него изливало свет солнце Святой Земли: прямо йеменит или же еврей из Персии, страны Ахашвероша**, которого жгло южное солнце во времена далекой древности, избородив лоб глубокими морщинами. Во-вторых, в глазах была какая-то сонная мечтательность, невиданная в здешних краях. Казалось, глаза его способны и разглядеть тайны прошлого, и предвидеть будущее. Что-то наподобие библейского мудреца. Он знал все цитаты, все комментарии, касающиеся Мессии. Особенно увлекался туманными пассажами из книги пророка Даниила, прямо-таки был поглощен ими. Когда на них ссылался, глаза приобретали отсутствующее выражение.

Мне нравилось смотреть на Моше Блехера, когда он работал на крыше. Крыши в Варшаве — остроконечные, крутые. Очень опасно даже стоять на

* Блехер (*идиш*) — жестянщик.

** Так звучит по-еврейски имя царя Артаксеркса.

такой крыше. Но этот человек рассказывал по ним с уверенностью лунатика. Я обмирал от страха, глядя, как он удерживается на крыше у самого края — там, где проходит водосточный желоб, а внизу — бульжная мостовая. Чудо, что он там удерживался, вопреки, как мне казалось, законам тяготения. А ему хоть бы что, обычное дело. Да еще остановится, подымет голову и смотрит на небо — будто ждет, что нас сейчас посетит ангел или серафим протрубит о приходе Спасителя.

Даже отца его вопросы иногда ставили в тупик. Он находил противоречия в Талмуде. Хотел знать, сколько еще надо принять мученичества, страданий от прихода первого Мессии, бен-Иосифа, до второго — бен-Давида. Любил обсудить: что это за осел, на котором приедет Мессия? А как насчет легенды о том, что он остановится у ворот Рима перебинтовать раны? Он прямо-таки негодовал: что это такое сказал рабби Гиллель*, будто Мессия не освободит евреев, потому что это уже было во времена царя Езекии**? Как мог святой человек сказать такое? И каково истинное значение того, что сказано в Мишне: все, что отделяет настоящее от Пришествия Мессии, — это отсутствие еврейского государства? Может ли такое быть? И сколько времени, к примеру, должно пройти от прихода Мессии до воскрешения мертвых? И когда же огненный храм будет перенесен с небес на землю? Когда же? Когда?

* Рабби Гиллель — ученый (около X в. н. э.), председатель Синедриона. Согласно раввинской литературе, его идеалом была любовь к миру, стремление любить людей и приближать их к Закону. «Золотое правило» рабби Гиллеля гласило: «То, чего не хочешь, чтобы делали тебе, не делай никому другому».

** Езекия — иудейский царь (725–697 до н. э.).

Моше Блехер жил в полуподвале, но дома у него всегда было чисто прибрано. Горит керосиновая лампа. Постели застланы. Никакогохлама, как у других бывает. У стены — застекленный книжный шкаф, в шкафу книги, выстроенные в ряд. Мне часто случалось бывать у него, потому что он выписывал газеты на идиш и я брал их для отца. Моше Блехер сидел за столом, на носу — очки, а палец — на газетной строке: в поисках новостей — новостей из Палестины или из тех стран, где может начаться война с Армагеддоном*, где сам Господь станет швырять камни с небес на врагов наших. Его интересовали и те местности, где, как полагают, находился Эдем, где протекает река Самбатион** — там затерялись десять колен Израилевых... Моше Блехер знал о них все, что только можно знать, и как-то обмолвился, что, если бы кто-нибудь мог позаботиться о его семье, он бы уж давно отправился на поиски пропавших братьев.

И вот вдруг мы узнаем, что Моше Блехер собрался на землю предков. Всем семейством. Я не помню всех его домочадцев. Помню, у него был взрослый сын. А может, два сына. Решение ехать в Палестину для этого человека не каприз, не причуда какая-то. Нет, глубоко продуманное, выстраданное решение. Никто и не удивился, наоборот, все любопытствовало: почему он ждал так долго?

* Армагеддон — место завершающей битвы земных царей с Богом в «долине Магеддонской»; от «хар» — гора, «Мегиддо» — название местности.

** Река Самбатион — легендарная река, которая в будни бурлит и кипит, а по субботам остается спокойной. За Самбатион ассирийцами была уведена часть исчезнувших колен Израилевых.

Всех подробностей я уже не помню, это было так давно, но отдельные эпизоды запечатлелись в памяти. Многие пришли попрощаться с ним. Приносили записочки, которые надо было положить к Стене плача, на могилу Рахили. Пещера Махпела тоже удостоилась их внимания... Старики просили прислать горсть земли из Палестины — положить на могилу. Жестянщик наш расхаживал взад и вперед, полный радостного ожидания, возбужденный предстоящим путешествием. Взгляд блуждал где-то далеко и выражал неземное блаженство. Святая Земля будто запечатлелась на его челе, и без того изборожденном глубокими морщинами, как географическая карта.

И вот как-то вечером — было довольно рано — к нашему дому подкатил фургон. Да такая громадина, прямо настоящий вагон. Не знаю, зачем этому семейству понадобилось такое... Может, они брали с собой всю обстановку? И тут, в мгновение ока, откуда ни возьмись, на Крохмальную набежали евреи. Прощались, говорили: «В добрый путь!», целовались, плакали, желали, чтобы Мессия уже скорее пришел и положил конец галуту. Раз Моше Блехер собрался в Палестину всем семейством, наверно, Конец Дней не за горами: его отъезд внушал мысль о приходе Мессии, а сам жестянщик казался его предтечей.

Прошло несколько месяцев. И вот отец получил письмо: довольно грустные были вести. Моше Блехер писал, что в Святой Земле нет для него работы. Мучается, живет в крайней нужде. Все это время семья сидит на рисе и воде. И домашние наши, и соседи очень огорчились. Они любили жестянщика да и надеялись, что он, поселившись

в Святой Земле, вызовет туда всех евреев с Крохмальной улицы. Каждый чувствовал себя хоть в какой-то степени его родственником.

И вот был день — канун Йом-Кипура. Все положенные церемонии проходили, как всегда, у нас дома. Как и водится, в полдень были выставлены тарелки для пожертвований: каждый мог положить монету-другую на разные благотворительные надобности — для больных, на бедных, на невест без приданого, для учеников иешивы. Отец выставил еще одну тарелку и положил туда записочку: для реб Моше Блехера. А под ней — письмо, пришедшее ему.

Те мужчины и женщины, что приходили к нам молиться в канун Йом-Кипура и в другие праздники, не имели обыкновения сорить деньгами. Отнюдь. Четыре гроша, шесть, десять — такую примерно лепту вносили они на благотворительные нужды. Но у этого блюда — последнего — были, видимо, особые, притягательные свойства. Туда клали гривенники, полтинники, рубли. А кто-то даже положил трехрублевку. Моше Блехер живет на рисе и воде! — такая новость никого не обрадовала. Все равно как дурное предзнаменование — как знак, что Спасение отдалается...

После Йом-Кипура отец отослал деньги Моше Блехеру. Того, что собрали, наверно, должно хватить на приличный запас риса и воды (в те времена и воду в Святой Земле надо было покупать). Но, как оказалось, и это не помогло. А может, нашему романтичному Моше Блехеру не удалось свыкнуться с тем, что он наконец-то живет на Земле Обетованной. Может, реальность оказалась не столь привлекательной, как мечталось. Может, не смог примириться с тем, что в стране Господ-

ней правят турки. Или же ссорился с теми, кто не верит в Бога, бреет бороду, не соблюдает законы Торы... Поползли слухи, что Моше Блехер возвращается.

И он вернулся. Глубже, резче стали морщины. Еще больше потемнела кожа под солнцем Палестины. И седины в бороде прибавилось. Странно блестели глаза: необычный, чудесный свет. Приходило в голову: будто человек умер, оказался в Раю, а потом почему-то вышло так, что вернулся на Землю.

Опять он часто приходил к нам. Отец мог расспрашивать его часами. Он отвечал. Все повидал. Везде побывал. И все-таки невозможно было понять, почему же он вернулся. Казалось, он что-то таит, что-то ото всех скрывает.

Снова бродит Моше Блехер по крышам. Только чаще останавливается. Смотрит по сторонам. Что он ищет там, на высоте? Снова приходит к отцу потолковать о сложных пассажах в Библии. Он привез мешок песку из Палестины — белого как мел. И много-много камешков — набрал в старых развалинах, на руинах и около памятников на святых могилах. Когда кто-нибудь умирал, Моше Блехер давал горсть песка из Земли Обетованной — для могилы. Никогда никому не отказывал. Родные пытались заплатить ему, но не такой человек Моше Блехер, чтобы торговать святынями.

Может, что-то и не так в моем рассказе. Но когда вспоминаешь давнее, такое случается. Дети Моше Блехера обзавелись семьями, и они с женой остались вдвоем. Не надо теперь так много работать, можно было больше времени проводить дома, читать. По-видимому, перед отъездом в Пале-

стину Моше Блехер был резко настроен против сионистов — они пытались претворить его мечту в реальность, в практическую жизнь. А Моше Блехеру нужен был Мессия. Только Мессия. Но прошло время, и он стал с большей симпатией относиться к их идеалам. В конце концов, если Мессия не хочет прийти, евреи, что же, должны ждать бесконечно? Может, Всемогущий хочет, чтобы евреи сами ускорили приход Спасителя? Может, евреи сначала должны поселиться в Святой Земле, а уже потом Мессия принесет Спасение? Помню, как он спорил с отцом. Отец считал, что сионисты — отступники, неверующие, богохульники, что они принесли лишь грязь и скверну в Святую Землю. Моше Блехер возражал: «Может, так предопределено. Может, они предвестники Мессии, бен-Иосифа, передовой отряд. Они, возможно, раскаются и уверуют, станут соблюдать Закон. Кто может знать, что предопределили Небеса?»

— Человек должен быть евреем до того, как отправиться в Святую Землю, — возражал отец.

— А кто же они такие? Разве гой? Они жертвуют собой ради евреев. Осушают болота, болеют малярией. Истинные мученики. И это все не в счет?

— Только Господь выстроит новый Храм. Стало быть, впустую вся их работа.

— А кто построил первый Храм? Люди. Не ангелы. Царь Хирам отправил рабов Соломону и прислал ему кедровое дерево для строительства Храма.

Оба горячились. Спор разгорался. Отец подозревал, что Моше Блехер стал сионистом. Нет, конечно, пока он еще верит в Бога, пока он — настоящий еврей, но очень уж его сбивают с толку. Да-

же доктор Герцль* ему нравится. И споры зашли в тупик. Моше Блехер, кажется, и сам запутался. Бывало, не только со взрослыми, но и с детьми продолжает обсуждать все это. Мальчишки в бейт-мидраше спрашивают его:

— А правда, что в Святой Земле такие огромные звезды? Прямо как сливы?

— Правда, дети, правда.

— Правда, что жена Лота так и стоит около Мертвого моря? А коровы слизывают с нее соль?

— Слышал я, что вроде бы так.

— И вы сами слышали, как Рахиль** плачет о своих детях?

— Сам я не слышал, но святой человек может и услышать.

— Реб Моше, а вы ели хлеб в Святой Земле?

— Ел, дети, ел. Если был хлеб, конечно.

Я уже начал подумывать, что Моше Блехер с ума сходит. Наверно, все же это было из-за тяжелой ностальгии — потому что однажды настал день, и Моше Блехер вернулся в Святую Землю.

На этот раз к ним не приехал огромный фургон. Никто не целовался на улице, не посылал с ним письма. Моше Блехер и его жена попросту исчезли. Прошло немного времени, но все уже скучали по нему и старались разузнать хоть что-то. Ясно было лишь одно: он не смог преодолеть тоски по стране предков, стране фиговых деревьев, финиковых пальм и миндаля. Это там козлы

* Теодор Герцль (1860–1905) — австрийский журналист. В 1897 году созвал в Базеле Первый сионистский конгресс, на котором была принята программа заселения Палестины и создания Еврейского государства.

** Рахиль — праматерь Рахиль, любимая жена патриарха Иакова, мать Иосифа и Бенямина.

съели хлеб у Иоханана Праведного. И там же теперешние мужчины и женщины строят новые поселения, сажают эвкалипты и говорят на святом языке изо дня в день.

Годы шли, но ни словечка не получили мы от Моше Блехера. Я долго помнил его и часто о нем думал. Как он там? Опять живет на рисе и воде? Может, заработал все же на кусок хлеба? Или в поисках десяти колен Израилевых он уже по ту сторону реки Самбатион? От такого человека, как Моше Блехер, всего можно ждать.

Дверь в кухню отворилась: вошла женщина в платке (в Варшаве это была уже редкость), со смуглой кожей, нос короткий и толстый, полные губы, и глаза какие-то желтоватые. Обычная женщина из простых, ничего приметного. Большой фартук обтягивал живот и полную большую грудь. На ногах — какие-то бесформенные туфли. Наверно, лотошница на базаре, а может, прислуга. Такие, как правило, сразу же спрашивают, дома ли раввин, и мать отсылает их в соседнюю комнату, к отцу. Но эта не двинулась дальше порога — глядит на мать, в глазах — немой вопрос, и будто умоляет о чем-то.

— Хотите у раввина что-то спросить?

— Реббецин, дорогая! Сама не знаю, чего хочу. Чистая вы душа, должна же я кому-нибудь сердце раскрыть. Задыхаюсь, не могу больше в себе держать. Сохрани вас Господь от всякого зла, а я... Душит меня здесь вот, прямо здесь...

И она показала на горло. Зарыдала, полились слезы, и лицо, залитое слезами, покраснело. Я сидел на табуретке в уголке с книжкой — читал сказки.

Сразу ясно стало, что сейчас я услышу необычную историю. Мать, видно, забыла про меня, а та женщина вообще не заметила. И вот что я услышал.

— Милая вы моя! Я такая грешница. Душа моя сокрушена... — И опять она зарыдала. Всхлипывала и рыдала, и сморкалась в фартук. Слезы лились

и лились — без остановки. Мать предложила ей присесть на сундук.

— Если человек искренне раскаивается, из самой глубины сердца, Господь принимает покаяние, — мать говорила так, как говорят ученые — знатоки Библии и Талмуда. Тексты эти она знала даже лучше, чем отец. Вдоль и поперек знала книги «Обязанности сердца» и «Путь праведных» — не в переложении на идиш, а в оригинале — на иврите. Прекрасно разбиралась в поистине бесконечном море законов, могла приводить наизусть множество раввинистических изречений и поговорок, нравоучительных притч и иносказаний. Слова матери прозвучали весомо.

— Смею ли я обратиться к Господу с покаянием, коли по моей вине живет на свете необрезанный... — говорила женщина и рыдала, рыдала не переставая. — Кто знает, может, теперь он сам — гонитель евреев? Как знать, может, он сам евреев избивает? Нет, ничто мне не поможет, сколько бы я ни раскаивалась, сколько бы себя ни грызла. Как увижу пьяного или гицеля, думаю сразу — а вдруг это он? Ох, реббецин, горе мое велико. По ночам спать не могу. Годы идут, а мне все хуже и хуже. Верчусь и кручусь на кровати, глаз сомкнуть не могу. Лучше б мне и вовсе не родиться.

Мать ни слова не произнесла. Но по лицу было видно, что она поняла. А я никак не мог понять, что же тут такое. И вот что я затем услышал. Много лет назад эта женщина бросила незаконного ребенка. Кто-то соблазнил ее. Она оставила ребенка на пороге костела. В корзинке. А когда немного погода пришла туда, вернулась, его уже не было. Унесли. Наверно, отдали в приют, куда принимают подкидышей. А может, по-другому как с ним случилось — Сатана

один знает. Она была бедная. Сирота. Боялась даже расспросить. Заставляла себя забыть. Теперь она уже бабушка. Всю жизнь работала и работала. Без роздыха. Вроде почти совсем удалось забыть свою беду. А теперь это мучает ее сильнее и сильнее. Она — мать выкреста! Кто знает, что с ним теперь? Может, это городской, что стоит на углу? Может, он — сам нечистый? Новый Аман*? Может, нарожал кучу безбожников? Горе мне, горе! В мои-то годы! Вой-ва-авой! Как можно забыть такой грех! Долго ли жить мне еще на земле? Как предстать в другом мире? Ни прощения нет, ни оправдания... Будь проклят день, когда я дала уговорить себя пойти на злое дело. Жизнь потом стала сплошная бесконечная пытка. Она стыдится идти в синагогу. Ведь она нечистая. Такая, как она, не может, не смеет возносить молитвы Господу. Вот если б Всевышний послал Ангела Смерти, чтобы освободить ее...

И опять она разразилась плачем и стенаниями, и опять запричитала. Мать сидела белая как мел. Губы сжаты. Даже не стала сразу утешать ее — поэтому я понял, насколько тяжел грех, что та совершила. Наконец мать сказала:

— Что ж тут поделаешь? Остается лишь молиться Всемогущему. — И добавила после недолгого молчания: — Праотец наш Авраам — ведь от него произошли все христианские народы тоже.

— Реббецин, вы думаете, мне можно поговорить с ним? С самим раввином? С мужем вашим?

— Чем он может помочь? Дайте денег на бедных. Если есть силы, поститесь. Человек не может сделать больше, чем позволяют силы.

* Аман — сановник при дворе персидского царя Артаксеркса. Хотел уничтожить всех евреев, но был повешен сам.

— Реббецин, люди говорят, такие дети потом идут в пожарные. Им жениться не позволено, потому что, как позовут, по первой тревоге они должны мчаться на пожар.

— Правда? Ну тогда, по крайней мере, у него нет детей. Нет новых идолопоклонников.

— Реббецин, ему, наверно, уже около сорока теперь. Мне сказали, если поставить сорок свечей, зажечь и сказать тайное заклинание, — он умрет.

Мать аж передернуло:

— Что вы такое говорите?! И жизнь и смерть наша в Руке Господней. Да и не его это вина. Онто в чем виноват? Он подходит под талмудическое определение — «ребенок, захваченный в плен». Нельзя его судить за это. Разве не были насильно крещены многие и многие еврейские младенцы во времена Хмельничины*? Только Всевышний знает меру вины каждого человека. Тот, кто сказал вам об этих сорока свечах, видно, не представлял, о чем говорит. Не дозволено молиться о смерти другого человеческого существа — по крайней мере, если не известно наверное, что тот — нечестивец и совершил зло...

— Как я могу это знать? Я — может, сжалится надо мной Господь — я знаю только, что жизнь моя горька, беспросветная несчастная жизнь. Хожу по улицам и каждого разглядываю. Как только сердце мое не разорвалось еще — наверно, оно крепче

* Времена Хмельничины (т. е. восстания Богдана Хмельницкого и борьбы за украинскую государственность, особенно 1648 г.) в еврейском народном сознании остались как эпоха звериной жестокости и больших бед. Истребление около четверти еврейского населения страны, где была самая многочисленная и образованная еврейская община, оказало влияние на весь еврейский мир. Раввины видели в событиях Хмельничины признаки скорого прихода Мессии.

железа. Иду по улице, потом по другой, и каждый поляк, что навстречу попадается, кажется мне моим сыном. Хочу бежать за ним, спросить, а боюсь. Люди, верно, думают, что я спятила. И почему я еще в здравом уме, не сумасшедшая, только Господь один знает. Реббецин, если кто прикоснется к сердцу моему, отравится сразу — ядом напоена душа моя!

— Думается, вы уже искупили грех.

— Что же мне делать? Посоветуйте что-нибудь!

— Как это случилось? И где его отец?

Женщина принялась снова рассказывать. Уже в подробностях. Всего не могу припомнить. Она жила в прислугах. В очень состоятельной семье. Встретила простого парня. Мастерового. Он обещал жениться. Соблазнил ее — улестьил бойкими речами. Как узнал, что ребенок будет, враз исчез. Разве станет мужчина о таких пустяках беспокоиться! Через несколько лет она вышла за вдовца. Женщина понизила голос, потом совсем перешла на шепот. Мать лишь согласно кивала головой. Немного погодя было решено, что они спросят отцовского совета, только мать пойдет первая и объяснит, в чем дело. Мать вошла к отцу. Он выслушал. Как всегда, тяжело вздохнул. Крохмальная улица не оставляла отца в покое: то и дело врывается к нему со всем своим шумом, с криками и суетой, грубостью и невежеством, с непонятными поступками и странными выходками. Теперь вошла к отцу эта женщина. Он достал из шкафа стопку книг. Бегло просматривал, искал что-то, торопливо перелистывал страницы, иногда останавливался и читал, дергая себя за бороду. В книгах этих было и о разбойниках написано, об убийцах, ворах, развратниках, соблазнителях. И о свя-

тых тоже. Здесь, в книгах, это было частью Закона. На святом языке, записанное священными письмами, даже зло сохраняло дух Писания. На обычном, каждодневном, будничном идиш все звучало совершенно иначе. Женщина с Крохмальной бросила ребенка. Его крестили. Он стал католиком. В Святых книгах записано, как наказывается этот грех. Но в состоянии ли она выдержать наказание? Разве силы человека беспредельны? Нынешнее поколение слабое. Никуда не годится. Отец страшился быть слишком строгим. Вдруг по его вине женщина заболит? Тогда он совершит грех еще более тяжкий...

Я притаился в уголке и слушал, как отец спрашивает: «В порядке ли сердце? Не страдает ли женщина какой болезнью? Не кашляет ли она, упаси Господь?» Кончилось тем, что отец наложил такое наказание: избегать мясного в будние дни, поститься по понедельникам и четвергам — если здоровье позволяет. Читать Псалмы. Давать деньги на бедных. Женщина снова заплакала, запричитала. Всхлипывала и сморкалась. Отец утешал ее. Конечно, лучше не совершать греха. Но всегда есть путь исправить содеянное. Человеку следует делать лишь то, что ему по силам. В остальном — положиться на Создателя, ибо «в Деяниях Его нет зла». Даже то, что представляется злом, со временем в конечном счете становится добром. Отец уподобил мир плоду: есть плод и есть скорлупа, шкурка — внешняя оболочка. Ее нельзя есть. Несмышленное дитя думает, что скорлупа совсем не нужна, бесполезна. Но это не так. Она защищает плод. Без шкурки плод сгниет, испортится. Или же его черви съедят. Так что народы, принявшие христианскую веру, тоже нужны Господу. Ибо записано,

что Создатель предложил Тору сначала Исаву, потом Исмаилу*. Лишь когда те отказались, он предложил Тору евреям. В Конце Дней народы эти тоже поймут — они осознают истину, и потому праведность их позволит им войти в Рай...

От этих слов отца сердце женщины оттаяло. Подобно воску, как принято говорить. Всклипывания усилились, но теперь в них слышалось облегчение и даже радостное спокойствие. Глаза ее сияли, когда она взглянула на отца. В сущности, отец сказал то же, что и мать, только слова его звучали как-то теплее, более сокровенно, более душевно. Женщина ушла, не устывая произносить благословения, — благословляла отца, мать, детей — в общем, всю семью нашу. Жалела только, что носила горе в себе так долго. Давно следовало преодолеть стыд, пойти к цадику, излить горечь своего сердца. Он бы снял с нее эту ношу, эту невыносимую тяжесть...

Только лишь женщина ушла, отец принялся мерить шагами кабинет — такое у него было обыкновение. Я вернулся в кухню. Уткнулся в книжку. Там — короли и королевы, принцы и принцессы, боевые кони и рыцари, дворцы и пещеры, благородные разбойники... История женщины, представлялось мне, тоже отсюда — из этой книжки сказок...

Прошло лишь несколько дней, и напротив случился пожар. Я выбежал на балкон и глядел на все на это: аварийная бригада, потом — пожарные на

* Исав — старший сын Исаака и Ревекки. Будучи усталым и голодным, продал первородство за чечевичную похлебку брату своему Иакову.

Исмаил — сын патриарха Авраама и его служанки Агари. Праотец двенадцати племен исмаилитов в Аравийской пустыне.

длинных дрогах. А лошади какие — так и бьют копытом, искры высекают. За какую-нибудь минуту достали веревочную лестницу. В блестящих касках, с баграми и крючьями на веревках, пожарные молниеносно закинули лестницу к тому окну, из которого валил дым и вырывался огонь. Другие тем временем развернули шланги. Улица сверкала от всего этого блеска: медных касок и всякой пожарной машинерии. Разглядеть все в деталях, однако, ночью трудно было. Ребятня так и вилась под ногами, хотя городской без конца отгонял мальчишек. Весь народ высыпал поглазеть на зрелище. Некоторые мальчишки взобрались на фонарные столбы, другие — на стену соседнего дома. А я стоял у себя на балконе и все видел. Вдруг мне пришло в голову — будто молния пронзила: может, сын этой женщины среди пожарных? Я стал выискивать его — и сразу же узнал. Вот он, вот. С длинным лицом, черными усами. Стоял там и ничего не делал. Просто так стоял, только в небо смотрел. С каждой минутой я все больше уверялся, что это он. Конечно, он. Поразительная мысль пришла мне в голову — сойти вниз и все ему рассказать? Может, бросить записку? Так он идиш не понимает... Я уставился и смотрел на него так долго, что он, видимо, почувствовал взгляд. Поднял глаза, посмотрел удивленно — и погрозил кулаком. Обычный жест. Так поляки грозят еврейскому мальчику.

«Ты еврей! Еврей! Потомок Авраама, Исаака и Иакова, — шептал я. — Я знаю твою мать... Раскайся!»

Он растворился в толпе, затерялся среди пожарных. Убежал прочь, как Иона* бежал от Бога. Я был

* В книге пророка Ионы (пятая книга малых пророков в Библии) рассказывается, что Господь повелел Ионе отправиться в Ниневию и возвестить жителям, погрязшим в грехах,

так поглощен своими мыслями, что не заметил даже, как пожар потушили. Теперь другая мысль закралась в мою детскую голову. Может, меня тоже бросили в детстве, когда я был совсем маленький? Может, мои родители — вовсе не родители мне... Какая-нибудь прислуга подменила меня в колыбельке, и мать только думает, что я — ее ребенок... Если детей можно бросать, подменять, как вообще узнаешь, кто чей ребенок? И сразу — куча головоломных вопросов, неразрешимых загадок. Взрослые что-то скрывают от нас, детей. Какая-то тайна, секрет какой-то за всем этим. Может, мать знает, что я — не ее сын, и потому так часто бранит меня, без конца распекает?

Комок застрял в горле, проступили слезы. Я вбежал в кухню:

— Мамеле, я правда твой сын?

Мать поглядела в изумлении, широко раскрытыми глазами:

— Боже милостивый, ты с ума сошел?

Я стоял молча. Она воскликнула:

— Надо будет опять отдать тебя в хедер. Растешь тут один, как дикий зверек! Будто волчонок какой!

скорую кару. Но Иона не захотел исполнять неприятное поручение. Он сел на корабль, плывший в противоположном направлении. На море началась буря. Иону — виновника Божьего гнева — выбросило в море. Однако Иона не погиб в пучине, а оказался в чреве кита.

СЕСТРА

В те давние дни мы не знали, кто такой Фрейд. Но можно сказать, что настоящая драма — прямо-таки по Фрейду — происходила у нас дома. Сестре казалось, что мать недостаточно ее любит. Конечно, это было не так, но они и вправду очень отличались друг от друга. Брат Израиль Йошуа и внешностью, и характером пошел в материнскую родню. Гинда Эстер, напротив, в отца — унаследовала его хасидскую сентиментальность, впечатлительность, любовь ко всему человечеству, и вообще — странности и чудачества отцовской родни. Живи сестра в другую эпоху — она могла бы стать святой — или же, подобно дочери Баал-Шема Годл, которая танцевала вместе с хасидами, вытворять что-нибудь подобное. Прабабка наша Гинда Эстер, в память которой и назвали сестру, ездила к раввину в Бельцы: там надевала талес, цицес и филактерии — молилась со всеми, как мужчина. Что-то было в ней от этих женщин — словно раввины в женском обличье, они изнуряли себя постом, отправлялись в паломничество: в Палестину, помолиться у святых могил. Так и шло: от праздника к празднику, от надежды к восторгу, молитвы, песнопения и опять молитвы. В общем, хасид в юбке. У нее бывали приступы истерии, эпилептические припадки. А иногда казалось: в нее вселился дибук.

Отец игнорировал ее совершенно — ведь она девочка. И с матерью у нее не было взаимопонимания. Если у матери выпадало свободное время, она бралась за книгу, в которой обсуждались нравственные и моральные проблемы, лишь иногда отрывая взор. Отстраненно, отсутствующим взглядом глядела она в окно: там толпа, шум, и это раздражало мою мать. Хорошо ей было лишь наедине с собственными мыслями. А сестра болтала, пела, смеялась с утра до вечера — и не могла иначе. Кто ей нравился — того превозносила до небес, а уж кого невзлюбит — к тому была жестока: оскорбляла, бранила. Все в ней было через меру: от радости скакала и подпрыгивала до потолка, рыдала от огорчений, иногда падала в обморок. Ревновала старшего брата к матери, обвиняла его во всех грехах, а потом, сожалея о содеянном, бросалась целоваться. Нарыдавшись досыта, приходила в хорошее настроение, даже пускалась в пляс. Часто целовала и ласкала нас, младшеньких.

Все, что случалось вокруг, а особенно с нею самой, казалось, имело для нее огромное значение. Парикмахер, что работал напротив, влюбился в сестру и прислал письмо — объяснение в любви. Гинда Эстер тут же вообразила, что все всё знают, хихикают и сплетничают — боялась даже ходить через улицу. Стоило большого труда убедить ее, что другие девочки тоже получают такие письма и в этом нет ничего зазорного.

Как-то в субботу, услышав причитания сестры из кухни, я вбежал туда и что же увидел? В печи горит огонь, а Гинда Эстер пихает туда листы бумаги, которой прикрывают субботнюю еду. Пламя разгорелось от тлеющих искр. И только после

мы поняли, что произошло: ей показалось, будто туда демон прокрался.

Такую девушку, как наша Гинда Эстер, непросто было выдать замуж. Но сестра была хороша собой, и потому предложения ей делались. Вот реб Гедалья, варшавский еврей, — он занимался тем, что собирал деньги для иешивы в Палестине. Сыновья его избежали рекрутчины — уехали в Бельгию. Стали там гранильщиками алмазов. Но власть его над сыновьями простиралась столь далеко, что даже отсюда, из Варшавы, он устраивал их браки — на таком-то расстоянии! Узнав, что мой отец имеет дочь, реб Гедалья сначала заслал свата, а уж потом явился сам. Высокий, грузный, с окладистой бородой — и с сигарой во рту. Принес фотографию сына: молодой человек с бородкой, статный, красивый, но одет по-современному, на новый лад. Там в Антверпене, где он живет, — сказал реб Гедалья, — сын молится каждый день, ест только кошер, изучает Талмуд. Только настоящий еврейский сын может быть столь почтителен к родителям, чтобы позволить отцу подыскать ему жену. Как Элиезер, невольник Авраама, пришел за Ревеккой, так явился к нам реб Гедалья.

Отец хмурил брови, размышлял: не просто — отослать дочь за границу. А мать была довольна — ей становилось все труднее и труднее ладить с таким взбалмошным созданием, как моя сестра. Сама Гинда Эстер уже набралась кое-каких новых идей: читала газеты на идиш и книги тоже, страстно желала романтической любви, а не брака по сватовству. Вместе с другими девушками, надев шляпку, сестра чинно прогуливалась по Саксонскому саду. Дело решило одно обстоятельство: у отца не было денег на приданое, а реб Гедалья при-

даного не требовал. Помню вечер, когда состоялся предварительный стовор. Сразу же послали письмо в Антверпен — жениху на подпись. Ярко горели свечи, в кабинете отца накрыли стол — как в праздник. Реб Гедалья, с сигарой в янтарном мундштуке, степенно обсуждал Пятикнижие с отцом. В тот вечер он принес для сестры золотую цепочку, и цепочку эту вынул из красивой шкатулки. И жена, и дочери его тоже пришли. Жена — дородная, с высокой грудью, а у дочерей — красивые, необычайно длинные косы. Дочерям приходилось ждать, пока брат женится, тогда только наступит их черед. Столько разговоров велось у нас в тот вечер об этом предполагаемом женихе, будто он и впрямь был уже здесь. Так мне, по крайней мере, казалось. Сестра была в ровном, приподнятом настроении, краснела, много смеялась, благодарила всех и каждого за подарки, за добрые пожелания, за похвалы ее красоте. Отец спросил у реб Гедальи, где будет свадьба, и тот ответил: «В Берлине». Отец удивился. Но реб Гедалья сказал: «Не волнуйтесь. Евреи везде есть. Я бывал в Берлине и скажу вам — там все есть: и синагоги, и бейт-мидраши, и миква... Берлинеры* так же ездят в Гур, к тамошнему рабби, и они очень щедры на пожертвования...»

— Хвала Господу...

— И Антверпен, — продолжал реб Гедалья, — очень еврейский город. И в Париже я бывал, поднимался на эту их знаменитую башню. Беседовал с раввином тамошним. Золотая голова. У меня от него письмо есть. По-французски говорит.

И отец, и я поражались, — как это раввин говорит по-французски, живет в Париже? Отец больше

* Берлинер — берлинский (немецкий) еврей.

помалкивал, и только время от времени дергал себя за бороду. Мать тихо сидела за женским столом. Она уже устала от женской болтовни — безделушки, драгоценности, туфли, платья, угощение, разные другие покупки. Все женщины за столом были одеты по моде, а на матери платье, сшитое еще к ее свадьбе.

После заключения брачного контракта от жениха стали приходиться письма на литературном немецком идиш. В ответных письмах проявился у сестры литературный талант — первые искры в нашем семействе. Она писала жениху длинные письма, полные юмора, живого ума. Отец ничего не знал, мать же поражалась — как это вышло, что дочь так свободно владеет языком? Откуда это? Гинда Эстер росла в Леончине, потом в Радзимине и лишь недолго жила в Варшаве. Впрочем, мать и сама изумительно рассказывала, просто блестящая была рассказчица. Но письма она писала очень короткие, совершенно стандартные, по принятому шаблону.

Много другого необычного, неожиданного стало происходить у нас. Брат Израиль Иошуа еще тогда, когда ходил в бейт-мидраш, увлекся рисованием. Никому ничего не сказав, купил бумагу, карандаши, уголь, краски. И стал рисовать. Рисовал пейзажи, деревья, цветы, хаты с соломенными крышами, трубы, из которых идет дым. Рядом мужики, бабы, коровы и все такое. А еще он читал тайком от отца учебник русской грамматики и книги на идиш. Это он называл «литература». Рассказывал нам про Палестину. Там евреи устраивают поселения, пахут землю и пасут овец, как во времена царя Давида. А в России, говорил он, есть революционеры, они хотят свергнуть царя и отменить

деньги. В Америке — миллионеры, богатые, как Ротшильд. Им приходится бороться с преступниками — членами шайки «Черная рука». Все, что говорил Израиль Йошуа, я впитывал как губка. Прикрывал глаза, и передо мной возникали странные видения: цветы, невиданные прежде, странные, необычные картинки. Вдруг появлялся какой-то огненный глаз, ярче солнца, и внутри странный, фантастический зрачок. В другой раз прикрыл глаза, возникло нечто лучезарное. Может, снова чей-то глаз? В памяти этих дней — фантастические цветы, переливающиеся всеми цветами жемчужины. Всего этого было так много, что я не успевал уследить за своими видениями.

Ветры мировых событий проносились и через наш дом — все благодаря обручению сестры. Приданое было готово, будущая свекровь наняла лучших портних, самых дорогих. И в это же время отец одалживал деньги в ссудной кассе. Шелк, плюш, бархат, тесьма, ленты, белье, плиссированные юбки — этим добром прямо-таки был забит наш дом. Сестра всему радовалась, но иногда вдруг на нее накатывало, и она кричала матери:

— Да, ты отсылаешь меня в такую даль, потому что ненавидишь!

— Ох, горе-горькое! Ты меня с ума сведешь!

— Правда, правда.

— Смотри сама. Свадьбу можно отменить.

— Нет уж. Пускай так. Я отправлюсь в изгнание. Исчезну. И вы даже не узнаете, где будет покоиться мой прах...

И прежде чем мать успевала ответить, Гинда Эстер уже раздражалась истерическим смехом и падала в обморок. Она ухитрялась так это проделывать, что не причиняла себе ни малейшего вреда.

Впрочем, если даже она притворялась, все выглядело вполне правдоподобно.

И я, младший, тоже увлекся современными идеями. Даже начал писать, но совсем по-своему. Таскал бумагу у отца из ящика, испещрял листы каракулями, причудливыми рисунками. Мне так не терпелось приняться за дело, что я едва мог дождаться конца субботы.

Мать, глядя на меня, качала головой и говорила:

— Ну чем ты занимаешься? Думаешь, это хорошо? Так разве ведут себя нормальные дети?

АШЕР-МОЛОЧНИК

Есть люди, которые будто родились с удачей. Вот такой и был реб Ашер-молочник. Господь щедро одарил его при рождении: высокий рост, плечи — косая сажень, сила непомерная, здоровьем так и пышет. Черная как смоль борода, большие жгуче-черные глаза, а голос!.. — «Аки лев рыкающий!» На Рош-Гашоно и Йом-Кипур он приходил к нам и был кантором все службы, которые надо было отправлять в это время. Его голос привлекал к нам молящихся. Реб Ашер не брал платы, хотя мог бы петь в больших синагогах за вполне приличное вознаграждение. Так он помогал моему отцу заработать во время праздников. Уже этого было более чем достаточно, но реб Ашер старался при случае еще что-нибудь для нас сделать. Никто не присылал отцу такие щедрые подарки на Пурим, как реб Ашер. Если отец оказывался в стесненных обстоятельствах, — к примеру, нечем было платить за квартиру, — меня посылали одолжить денег к реб Ашеру, и ни к кому другому. Ашер никогда не говорил «нет», никогда не видел я его недовольным, с кислой миной. Он просто совал руку в карман брюк и вынимал пригоршню бумажных денег вперемешку с серебром. Его желание помогать отцу не знало границ. Простой еврей, с трудом продирающийся через главу Мишны, в жизни Ашер поступал по самым высоким

этическим нормам. То, что другие проповедовали, он просто делал и все.

Он не был миллионером, не был даже богат, просто — человек с приличным достатком, как это называл отец. Я часто покупал в его лавке молоко, масло, сыр, простоквашу и сметану. Жена и старшая дочь стояли за прилавком и привечали покупателей весь долгий день, с раннего утра и до позднего вечера. Жена его была женщина плотная, щекастая, с двойным подбородком, вся в веснушках, аж до самой шеи. Ее отец управлял имением у какого-то польского шляхтича. Огромная ее грудь колыхалась передо мной и, казалось, прямо разбухала от молока. Мне представлялось, что если разрезать ей руку у плеча, то и оттуда потекло бы молоко. Сын их Юдл был такой толстый, что на него даже приходили посмотреть — толще его никого в округе не было. Он весил, наверно, пудов десять. Другой сын, хрупкого сложения и франт к тому же, выучился на портного и уехал в Париж. Младший сын еще ходил в хедер, а дочка — в городскую школу.

Насколько в нашем доме всегда было полно проблем, неразрешимых вопросов, сомнений по поводу всего на свете, волнений и беспорядка, настолько же в доме Ашера все протекало безмятежно, разумно, достойно. Каждый день Ашер отправлялся к поезду принять привезенные мужиками бидоны с молоком. Подымался с рассветом, сначала — в синагогу, затем — на вокзал. Он работал по меньшей мере восемнадцать часов в сутки. Даже в субботу, вместо того чтобы отдохнуть, шел в синагогу послушать проповедь или к нам — воспринять порцию Пятикнижия с комментариями Раши. Работу свою он любил, а к иудаизму пылал

прямо-таки пламенной любовью. Думается, ни разу не услышал я от этого человека «нет». Вся его жизнь была одно сплошное «да».

У Ашера была лошадь с тележкой, и это составляло предмет моей жгучей зависти. Как, наверно, счастлив мальчик, у отца которого есть лошадь, тележка, да еще и конюшня! Ежедневно Ашер ездил в самые дальние концы города, даже на Прагу*! Частенько доводилось мне видеть, как он проезжает мимо нашего дома. Никогда не забывал поднять глаза и поприветствовать всякого, кто бы он ни был у нас на балконе или в окне. Частенько случалось, что я попадался ему на улице, носился с компанией сорванцов или играл с детьми «не нашего круга». Но никогда он не грозился рассказать обо всем отцу, и сам не пытался поучать меня. Никогда, в отличие от других взрослых, не дергал детей за уши, не защемлял пальцами нос, не сдвигал шапку на нос. Думаю, у Ашера было врожденное чувство уважения к каждому — будь то ребенок или взрослый.

Раз как-то он проезжал мимо, я поздоровался кивком и вдруг попросил: «Реб Ашер, возьмите меня с собой».

Ашер тотчас остановил лошадь и велел мне забираться. Мы поехали на железнодорожный вокзал. Поездка заняла несколько часов. Я был вне себя от радости. Мы как будто плыли посреди потока — конка, дрожки, груженные фургоны... Маршировали солдаты. Городовые стояли — каждый на своем посту. Пожарные машины, карета «скорой помощи», легковые авто, они тогда только стали появляться на улицах Варшавы — все пронеслось мимо нас. Я — в безопасности, под защитой друга

* Прага — здесь: предместье Варшавы.

с кнутом в руках, а под ногами стучат колеса. Вся Варшава мне завидует — так я думал. А на самом деле люди с удивлением глазели на меня, маленького хасида в бархатной ермолке, с огненно-рыжими пейсами, с высоты молочного фургона озирающегося вокруг. Было ясно, что я в этой повозке пассажир, инородное тело...

С этого дня между мной и реб Ашером установилось неписаное соглашение: если он мог — брал меня с собой. Чреватые опасностью бывали те моменты, когда реб Ашер оставлял меня одного в повозке: уходил за бидонами к поезду или же оформить счет. Лошадь в удивлении оглядывалась на меня. Ашер иногда давал мне вожжи, и лошадь, казалось, рассуждала про себя: «Поглядите-ка, кто это правит...» Страх, что лошадь встанет на дыбы и понесет, — этот страх доставлял мне ужасные мучения. Да и вообще, лошадь — это вам не игрушка, такое большое животное, дикое, невероятной силы и молчит... Случалось, проходил мимо какой-нибудь поляк, останавливался, смеялся, что-то говорил по-польски... Польского я не понимал, и потому поляк рождал во мне тот же страх, что и лошадь. Тоже большой, сильный и непонятный. Он мог неожиданно разозлиться и ударить меня, мог просто дернуть за пейсы — любимое развлечение поляков, почитаемое ими за хорошую шутку... Вот мне и пришел конец, думал я, сейчас он разозлится, стукнет меня, вот-вот лошадь сорвется с места, ударится во что-нибудь.... Тут как раз появлялся реб Ашер, и все становилось на место. Ашер переносил тяжеленные бидоны с такой легкостью, как это, наверно, делал библейский Самсон. Он сильнее лошади, сильнее любого поляка, у него добрые, спокойные глаза, излучающие мяг-

кий свет, и говорит он на понятном мне языке. А главное — он друг моему отцу! Одно только желание владело мной — ехать и ехать, мчаться и мчаться с этим человеком дни и ночи, через поля и леса, в Африку, в Америку, на край света, и все смотреть, смотреть...

Но как отличался этот Ашер от того, что появлялся у нас в доме на Новый год или Йом-Кипур! Плотники устанавливали лавки в кабинете отца, и там молились женщины. Из спальни выносили кровати, вносили туда арнкодеш, и это становилось молитвенным домом в миниатюре. Ашер — во всем белом, от чего его черные глаза кажутся еще чернее. Шапка расшита золотом и серебром, с высокой тульей. Ашер подымается на возвышение для кантора, и оттуда звучит его потрясающий бас: «Вот я! Воззри на меня, Господи...» — поистине «леврыкающий».

Спальня наша не вмещала его могучий бас, с грозной силой вырывающийся из мощной груди. Ашер читал нараспев, как положено. Знал каждую мелодию, каждый жест. Двадцать человек из нашей общины составляли хор. Глубокий, мужественный голос вызывал смятение на женской половине. Конечно, все они прекрасно знали реб Ашера. Только вчера покупали у него кто кринку молока, кто горшок простокваши, кто фунт масла, и торговались до последнего гроша. Но теперь... Теперь реб Ашер — тот человек, которому доверено беседовать со Всевышним, перед Троном Славы — там, где трепещут крылами ангелы, где книги, что читают сами себя, и где записаны все добрые дела и все грехи каждого смертного...

Когда он начинал говорить о судьбах живущих и умерших, о тех, кто замучен в огне или в воде,

на женской половине раздавались рыдания. А когда Ашер торжественно возглашал: «...но раскаяние, молитва отвратят от нас зло!» — тяжкий стон выходил из каждого сердца. Потом Ашер пел о малости человека и величии Господа, и радость, спокойствие снисходили на каждого. Зачем людям, а кто мы перед Господом — легкие тени, увядающий цвет, — ожидать злого умысла от Всемогущего, который справедлив, благ, милосерден? Каждое слово, произнесенное Ашером, каждый звук его голоса пробуждали надежду и возвращали мужество. Что мы такое? Ничто. А Он? Он — все. Мы — пыль при жизни и прах после смерти. Он — вечен, и Дням Его нет конца. На Него, только на Него уповаем мы...

Случилось так, что на исходе Судного дня этот самый Ашер, наш друг и благодетель, в буквальном смысле спас нам жизнь. После долгого изнурительного поста — от звезды до звезды — настал наконец час праздничной трапезы. В нашем доме собрались хасиды, на сей раз довольно много, чтобы поплясать, порадоваться празднику и восславить Господа. Отец уже начал готовиться к празднику Кущей — строил шатер. Заснули все под утро. Легли где придется, ведь лавки и скамьи стояли в спальне. Одним словом, не дом, а не пойми что.

Одно мы забыли — свечи погасить.

На рассвете, как обычно, Ашер поехал к железной дороге, чтобы забрать бидоны с молоком. Проезжал мимо нас и обратил внимание, что в доме как-то необычно светло. На отблеск свечей не похоже, на свет лампы тоже. Уж не пожар ли?.. «Так и дом может сгореть», — подумал Ашер. Позвонил, но дворник не вышел. Он спал. Ашер продолжал звонить и колотить в ворота с таким неистовст-

вом, что тот наконец проснулся и отворил ему. Ашер бросился вверх по ступенькам и принялся стучать в нашу дверь. Никто не отзывался. Тогда Ашер надавил мощным плечом, и под его напором дверь распахнулась. Что же он увидел? Все семейство и гости безмятежно спят, а лавки, скамьи, святые книги — в огне. Ашер закричал, и его громоподобный, хорошо поставленный голос кантора пробудил нас. Он сорвал с нас тлеющие одеяла и затушил пламя.

Я помню это, будто все произошло только вчера: открыл глаза и увидел огонь, большие и маленькие огоньки, танцующие, словно крошечные чертики. Одеяльце моего младшего брата Мойшеле уже охвачено огнем. Но я был слишком мал, чтобы испугаться. Напротив, любовался пляшущими огоньками.

После того случая за огнем всегда следили. То, что так вышло, — просто чудо какое-то. Еще бы несколько минут, и все охватило бы пламя — ведь лавки из сухого дерева и пропитаны воском, который капает со свеч. Ашер — единственный, кто проснулся в этот час, кто заметил огонь. Кто бы стал так настойчиво трезвонить в дверь, а потом еще рисковать из-за нас жизнью? Да, это судьба, что верный наш друг спас нас от ужасного пожара.

Мы даже не поблагодарили его толком. Были не в состоянии — онемели будто. Сам Ашер торопился и сразу убежал. А мы бродили между обуглившихся лавок, столов, молитвенников, талесов и нетнет да находили снова искорки и тлеющие угольки. Да, мы могли превратиться в кучу пепла...

После этого случая дружба между отцом и Ашером только окрепла. А во время войны, когда мы буквально голодали, Ашер снова помогал как мог.

Уже уехав из Варшавы (во время Первой мировой войны) мы время от времени получали о нем весточки. Один из его сыновей умер, а дочь влюбилась в молодого человека низкого происхождения, и Ашер очень горевал. Не знаю даже, дожил ли он до оккупации Варшавы немцами. Скорее всего, умер до того. А если нет, то погиб в Трешлинке*. Так пусть мои воспоминания послужат памятником ему и таким, как он, — кто жил в святости и умер как мученик.

* Трешлинка — немецкий лагерь уничтожения во время Второй мировой войны. Находился в Польше.

ТУДА — К ДИКИМ КОРОВАМ

Все те годы, что мы жили в Варшаве, я ни разу не покидал города. Другим было что порассказать. Летом они ездили кто в Фаленицу, кто в Миджешин, Швидер, Отвоцк. Для меня же все это было — пустой звук. На Крохмальной и деревья-то не росли. Нет, правда, было одно — около дома № 24. Я проходил мимо него по дороге в хедер. Но это было далеко от нас.

Кое-кто из соседей выращивал цветы в горшках, но мои родители почему-то считали, что еврейям это не пристало. Я же любил природу, наверно, с самого рождения. Летом мне иногда удавалось найти листик. А то еще и черенок с листиком — от яблока. Тогда и радость, и печаль обуревали меня. Я нюхал этот листочек, любовался им — пока не завянет. Мать приносила с базара пучки моркови и петрушки, редиску, огурцы. Все это будило во мне память о жизни в Радзимине, в Леончине, где меня окружали поля и сады. Как-то раз я нашел полный колос в моем соломенном тюфяке. Он тоже напоминал о прежней жизни в маленьком местечке. Возникали еще и библейские ассоциации со сном фараона, которому приснились семь пустых колосьев, что пожрали семь полных...

Множество мошек, мушек, мотыльков слеталось по вечерам к освещенной решетке нашего балкона: большие, маленькие, темные, зеленые

с золотом. Раз как-то прилетела бабочка — заблудилась, наверно. Я не пытался поймать ее, у меня только дыхание перехватило. Смотрел на нее с изумлением. Это маленькое трепетное создание, порхающая бабочка, — словно привет из мира свободы.

Но Мать-Природа не оставляла своими заботами даже Крохмальную. Зимой падал снег. Летом шли дожди. Высоко-высоко над крышами домов плыли по небу облака. Плыли темные, грозовые, плыли белые, серебристые — очертаниями похожие то на рыбу, то на змею, на барашка, а то и на метлу. Иногда на балкон к нам залетала градина, а раз после дождя я увидел на небе радугу. Отец велел мне прочесть «Кого Господь не оставляет...» Мать и старший брат говорили, что каждая звезда в отдельности больше, чем наша земля. Но как это могло быть? Вот уж непостижимое чудо. Загадка да и только.

Мой товарищ Борух-Довид постоянно рассказывал о дальних полях, о пустырях за Варшавой, о диких коровах, что там пасутся. Я просил его, умолял, а потом даже требовал, чтоб он взял меня туда. Он отнекивался, откладывал как мог. Уж до того дошло, что либо слово держи, либо дружба врозь. И вот однажды летом, в пятницу, я поднялся совсем рано, с восходом солнца — освещен был лишь краешек неба. Для матери я выдумал какой-то предлог — не помню, что именно, положил несколько кусков хлеба с маслом в бумажный кулек, достал из тайника несколько грошей — из тех весьма скудных денег, которые хоть и редко, все же перепали мне на карманные расходы, и отправился на встречу с Борух-Довидом. Ни разу до того не вставал я в такую рань. В утреннем свете все выглядело как-то яс-

нее — более свежим что ли — походило на картинку к волшебной сказке. То здесь то там попадался мокрый камень. Борух-Довид объяснил, что это роса. Значит, роса бывает и на Крохмальной? А я-то думал, что роса — только на земле Израиля! Или же в том отрывке Библии «Обрати слух свой туда, где небеса...», в котором говорится «...Мои слова будут сочтаться, как роса...»

Не только улицы, но и люди выглядели иначе. Оказывается, рано поутру на Крохмальную приезжают крестьянские подводы. Из окрестных деревень нам привозят овощи, цыплят, гусей, свежие, прямо из-под курицы яйца (а не те куски известки, что можно купить в лавке у Зельды). На Мировской, позади рыночных рядов, расположился оптовый фруктовый рынок. Изобилие садов варшавских предместий было здесь представлено во всей красе: яблоки, груши, вишня, черешня, крыжовник, малина. Торговали здесь и тем, чего еврейские дети не знали: помидоры, цветная капуста, зеленый перец. Может, это была некошерная пища? На самом рынке можно было купить бананы и гранаты — такое могли себе позволить только богачи. Здесь делали покупки хорошо одетые дамы, которых всегда сопровождала кухарка с корзинкой.

Мы с Борух-Довидом шли очень быстро. На ходу он рассказывал разные истории, одна страшнее другой. Отец, говорил Борух-Довид, шел как-то пешком из Варшавы в Скерневицу. А навстречу ему дикий человек. И какой же он из себя? Черный, как начищенный ботинок, волосы до самой земли, и рог посреди лба — так Борух-Довид описал его. На завтрак такое создание съедает живого ребенка. Я пришел в ужас и в дикой панике, дро-

жащим голосом, спросил его: «А может дикий человек напасть на нас?» — «Нет, они же водятся далеко от Варшавы». Я был уже большой. Не следовало поддаваться на такие рассказы. Но я верил всему, что бы ни говорил Борух-Довид.

Мы прошли Налевки, пересекли Мурановскую, вышли за город. Передо мной лежали цветущие луга, холмы — мир, о существовании которого я и не подозревал до сих пор. А еще здесь были настоящие горы. А у подножия — какое-то сооружение из красного кирпича — с маленькими, глубоко утопленными окошками, закрытыми железной решеткой.

— Что это? — спросил я.

— Это Цитадель*.

Я оцепенел от ужаса. К тому времени я уже слышал о Цитадели. Там сидели те, кто хотел свергнуть царя.

Я еще не видел никаких диких коров, но был в восхищении от всего, что меня окружало: все было так необычно, так чудесно. Даже небо было не такое, как на Крохмальной, — не узкая полоска, а широкий безбрежный океан, доходящий до самой земли — будто какой-то сказочный занавес. Птицы кружились над нами. Целые стаи птиц. Свистели, щебетали, каркали. Пара аистов проделывала круги над одним из холмов Цитадели. Порхали бабочки — яркие, всех цветов, какие только бывают на свете. Пахло влажной землей, прелой травой, сюда же примешивался дым паровоза. И было еще что-то неуловимое, пьянящее, отчего голова шла кругом. Невероятная, необычайная тишина царила здесь. И в этой тиши можно было услышать, как

* Цитадель — название тюрьмы в Варшаве.

шелестит трава, как что-то там шуршит, кто-то возится у самой земли, как нет-нет да чирикнет птичка. Что-то — может, лепестки, пыльца — падало сверху, оседая на рубашке, на полах моего капотика. Я поднял кверху глаза, увидел небо, солнце, облака и вдруг ясно понял значение слов из Книги Бытия. Вот так и был создан Господом мир: земля, небеса и воды наверху отделены земной твердью от нижних вод.

Борух-Довид и я — мы поднялись на вершину горы и внизу увидели Вислу. Половина блестела как серебро, а другая была темно-фиолетовой как чернила. Белый пароход плыл по реке. Сама же река не оставалась недвижимой — она текла, где-то брала начало, бурно катила свои воды... Куда? Все вместе — как ожидание чуда. Будто скоро придет Мессия.

— Это Висла, — пояснил Борух-Довид, — она течет в Данциг.

— И там что?

— Там впадает в море.

— А где Левиафан?

— О, это далеко, на краю земли.

Стало быть, книги не лгут. Мир полон удивительных тайн и чудес. Стоит только пересечь Мурановскую, затем еще одну улицу, и вот ты в самой гуще чудес. На краю земли, говорит Борух-Довид. Но разве это уже не край земли? Слышны свистки паровозов, но поездов отсюда не видно. Прошелестел ветерок. Затих. Затем еще, уже с другой стороны. Каждый приносил свои запахи, свои ароматы — давно забытые ощущения, а может, еще и неизведанные. Прилетела пчелка, села на цветок, понюхала, пожужжала. Полетела, села на другой. Борух-Довид сказал:

— Она собирает мед.

— А ужалить может?

— Да. У нее есть специальный яд для этого.

Все-то он знал, этот Борух-Довид. Останься я один, наверно не смог бы и до дому добраться. Я уже не понимал даже, в каком направлении Варшава. А он был тут как дома — все равно что в своем дворе. Внезапно он побежал. Притворился, что убегает от меня. Бросился на землю и спрятался в высокой траве. Борух-Довид ушел! Он покинул меня! Я совершенно один в этом мире — в точности как заблудившийся принц из книги сказок.

— Борух-Довид! — зывал я. — Борух-Довид!

Я звал, и голос мой возвращался обратно, будто отскакивая от далекой невидимой стены. Это было эхо. Так бывает в синагоге. Но здесь звук возвращался с очень далекого расстояния, менялся неузнаваемо, и это пугало.

— Борух-Довид! Борух-Довид!

Умом я понимал, что он хочет лишь пошутить, разыграть меня, немного напугать. И все же я боялся. Я разрывался от рыданий:

— Борух-Довид! Борух-Довид!

И вот он появился. Наконец-то! Черные глаза его смеялись. Сейчас он походил на цыгана. Взбрыкивал, будто жеребенок, бегал кругами. Летали полы его халатика. Талес развевался по ветру. И сам он походил на дикое существо, резвящееся на лоне природы.

— Пошли. Бежим к Висле!

Тропинка спускалась с холма, мы бежали по ней вниз — наши ноги, казалось, несли нас сами. Я пытался удержаться, не бежать так быстро. А то еще

в воду плюхнешься! Но вода оказалась дальше, чем я думал. Я несся и несся, река становилась все шире и шире — стала широкой, как океан. Наконец мы добрались до куч гальки и влажного песка. Казалось, дети великанов играли здесь и понаделали гигантских куличиков. И побежали дальше — к воде. Вот и Висла. Борух-Довид снял ботинки, завернул брюки, забрел в воду по щиколотку.

— Ух и холодно!

Он звал и меня — снять ботинки, зайти в воду. Но я стеснялся. Гулять босиком — не в моих привычках. Только деревенские мальчишки да еще, наверно, сумасшедшие босиком ходят.

— А здесь водится рыба?

— Полным-полно.

— А рыбы кусаются?

— Бывает.

— А что ты сделаешь, если рыба укусит?

— За хвост ухвачу.

В сравнении со мной Борух-Довид был прямо-таки деревенским пареньком. Маленький мужичок да и только. Я сидел на камне. Что-то распирало меня изнутри и бурлило, как воды Вислы. Душа моя, все мое существо будто поднималось и опускалось — вослед тому, как набегали волны, и казалось мне, что не только воды Вислы, но и все вокруг: небо, земля, холмы, да и я сам — все несется прочь, туда, к Данцигу. Борух-Довид показал на другой берег: «Вон там Пражский лес».

Значит, там, почти что рядом, настоящий лес? И в лесу этом живут дикие звери и настоящие разбойники?

Вдруг все переменялось. Происходило нечто странное. Слева, где небо сливалось с водою, что-то такое появилось. Но это не был пароход. При-

ближалось что-то маленькое, окутанное дымкой, постепенно становясь все более и более различимым. Оказалось, это плоты из связанных бревен. Мужчины упирались длинными шестами в берег и толкали плоты, навалившись на шест всем телом. На одном из плотов стояла маленькая хатка — домик на воде! Даже Борух-Довид разинул рот, глядя на это чудо.

Долго плыли плоты. Прошло много времени, прежде чем они оказались рядом с нами. Мужчины что-то кричали нам из последних сил, но ничего нельзя было разобрать... Я заметил одного, похожего на еврея. У него была борода и кепка какая-то еврейская. Благодаря притчам и проповедям дубновского цадика я знал, что еврейские купцы ездят до Данцига и даже до самого Лейпцига. Но теперь я видел это собственными глазами! Истории дубновского цадика подтверждала сама жизнь. Еще пара минут — и плоты рядом с нами. На одном плоту — собака. И лает на нас, да еще как! Вой-ва-авой, а если в воду прыгнет? Может ведь на клочки разорвать. Еще немного, и плоты плывут дальше. Время идет, солнце уже высоко и даже начинает клониться к закату. Но мы медлим. Лишь после того, как плоты проплыли под мостом и исчезли из виду, мы поворачиваем к дому. Не тем путем, что пришли сюда, а как-то совершенно иначе. Я вспомнил про диких коров и собирался было уже спросить у Борух-Довида, где же они, как вдруг увидел сцену в совершенно ином роде.

Юноша и девушка лежали на траве. Что-то было подстелено. Одежда на девушке была в странном беспорядке. Я бросил взгляд на ее тяжелые ноги, белые ляжки — и меня обуял невероятный ужас. Я стоял как в параличе. Потом бросился бе-

жать. Бежал сам не зная куда. Из груди у меня рвался крик. Но перехватило горло. Борух-Довид бежал за мной, звал, умолял остановиться. Немного погодя я остановился. Он ухватился за меня, уже боясь отпустить. Борух-Довид тяжело дышал, пыхтел как паровоз, черные глаза его блестели от похотливого удовольствия.

— Дурак ненормальный, зачем убежал?

А я не мог прийти в себя от смущения, мне было стыдно и за себя и за него. Я увидел такое, что не полагается видеть хасидскому мальчику. Да и сам я после этого стал нечистым, будто меня в грязи вывалили. Как это можно — делать такое, да еще здесь, в таком месте, где все прекрасно, сияет и благоухает, словно в райском саду.

Но уже не было времени задерживаться. Солнце окрасилось багрянцем. Дома, наверно, мать волнуется — она такая беспокойная, такая нервная. Скоро надо идти за субботним чолнтом, но кто без меня об этом вспомнит! Кто его принесет?! Мы припустили быстрее, почти бежали. Каждый погрузился в собственные мысли и заботы. Над нами летали птицы, окна Цитадели окрасились в цвета заката — красный и золотой.

Теперь я думал о тех, кто там, внутри, кто закован в цепи — ведь они хотели свергнуть царя.казалось даже, я вижу их глаза. Внезапно все наполнило ощущение печали и таинственности — чувство, которое охватывает человека в канун Субботы.

МАЛЬЧИК-ФИЛОСОФ

Брат мой Израиль Иошуа не мог найти общего языка с отцом — из-за своих современных взглядов. Стоило ему лишь открыть рот, как отец начал кричать: «Безбожник! Предатель Израиля!» Напротив, с матерью они подолгу разговаривали, и часто споры их проходили в моем присутствии.

— Что-то из него вырастет? — размышлял обо мне брат. — Женится, откроет лавочку. А может, станет меламедом, будет учить детей в хедере. Многовато на свете магазинов и лавок. И меламедов слишком много. Посмотри в окно, мамеле, и ты увидишь, что из себя представляют наши евреи: согбенные, вечно ноющие, неприбранные. Посмотри, как они шаркают ногами, когда бредут по улице. Послушай разговоры. Как это ни печально, но все видят в них азиатов. И доколе, ты полагаешь, посреди Европы будет торчать этот кусок азиатчины?

— Гои всегда ненавидели евреев, — сказала мать. — Даже если у еврея на голове цилиндр, все равно его ненавидят. Потому что он за правду стоит.

— Какая такая правда? Кто знает, что есть истина? Каждая религия имеет своих пророков, свои святыне книги. Слыхала ты о буддизме? Будда был все равно что Моисей. И тоже творил чудеса.

Мать аж передернуло. Будто горькое проглотила.

— Как ты смеешь сравнивать? Эти идолопоклонники и Моисей... Вой-ва-авой! Горе мое горькое! И кто это говорит?! Моя собственная плоть и кровь...

— Мама, послушай. Будда не идол. Это глубокий мыслитель. Он говорит то же, что и наши пророки. Что же до Конфуция...

— Ни слова больше. Как ты смеешь произносить имена этих язычников! Хоть бы дух перевел, а уж потом говорил о наших пророках... Будда — это в Индии. Я помню. Об этом есть в «Пути мира»*. Они сжигают вдовид, убивают стариков-родителей — и веселятся при этом.

— А что, нельзя жить в Индии? Что ты вообще о ней знаешь?

— Что там знать? Разве это люди? Поклоняются корове. Как Богу. А китайцы, между прочим, избавляются от собственных дочерей, если их слишком много. Только мы, евреи, верим в единого Бога. Все другие поклоняются крокодилам, змеям, деревьям, и что там еще можно вообразить... Все они грешат. Даже когда говорят: «Подставь другую щеку» — все равно убивают друг друга и продолжают грешить. И ты еще сравниваешь их с нами?

— Если бы у нас была своя страна, нам тоже пришлось бы вести войны. И царь Давид не так уж много проявлял сострадания...

— Ша! Молчи! Поглядите-ка на него, что он только говорит! Господи Боже, помилосердствуй! Не смей касаться помазанника Божия. Царь Давид и царь Соломон — оба они пророки. В Талмуде сказано, что нельзя считать грешником царя Давида...

* «Пути мира» — книга, написанная на идиш, содержит сведения о странах и народах.

— Знаю, что сказано. А как насчет Вирсавии? Имя моей матери было Башева — Вирсавия*. Всякий раз, когда при ней говорили о Вирсавии, я чувствовал, мать это каким-то образом задевает. И сейчас она залилась краской.

— Ты читаешь эти дурацкие книжки и повторяешь все, что там пишут. Царь Давид жил давно, а эти дрянные книжки не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Кто эти авторы? Пустобрехи!

Я слушал со жгучим интересом. Мы с братом уже про все это разговаривали. Мне вовсе не хотелось становиться лавочником или преподавать Тору, как мне предрекал брат, или же «иметь неряху жену и нарожать кучу детей». Он как-то посоветовал: «Стань-ка ты лучше рабочим».

— Господь поможет, и он станет раввином, а не рабочим. Он пошел в своего деда, — сказала на это мать.

— Раввином? Это где же? Их и так везде полно. И зачем нужно так много раввинов?

— А зачем так много рабочих? Быть раввином, пусть и придется жить в бедности, — все же лучше, чем сапожником.

— Скоро все рабочие объединятся.

— Никогда они не объединятся. Каждый только и норовит стянуть у другого последний кусок хлеба. Почему бы не объединиться солдатам и не отказаться воевать?

— О, и это скоро будет.

— Когда же? А пока везде убивают и убивают. Каждый понедельник и четверг в Турции кризис.

* Вирсавия (Батшеба, Башева) — жена хеттеянина Урии. Его увлекся царь Давид, соблазнил ее, погубил мужа ее Урию (послал его на смерть в сражении). Давид женился на Вирсавии. Она родила ему Соломона и еще троих сыновей.

Мир полон зла, это так, ничего не поделаешь. Здесь никогда не наступит мир — может, лишь на том свете.

— А ты пессимистка, мама.

— Ой, погоди. Там суп кипит.

Мне часто приходилось слушать их разговоры: каждая сторона была по-своему права и блестяще опровергала другую! Каждый доказывал свое, и каждый уверенно приводил нужную цитату. Я помалкивал: свои доводы, свое мнение оставлял при себе. Гои — идолопоклонники, это верно. Но и царь Давид, конечно же, грешил. А когда евреи жили на своей земле, они тоже убивали. Это правда, каждая религия имеет своих пророков, но кто скажет, какой из них на самом деле говорит с Богом? Были и такие вопросы, на которые мать не могла ответить.

— Какое ремесло тебе нравится? — спрашивал меня брат. — Как насчет того, чтобы стать гравёром: вырезать буквы на меди или бронзе.

— Неплохо бы.

— А часовщиком?

— Слишком трудно.

— Ничего. Можно выучиться. А доктором?

— Пускай будет доктором. Но что могут доктора? Только деньги берут — за что, сами не знают. Нет, еврей всегда останется евреем, и ему всегда будет нужен раввин.

— В Берлине раввины ходят на лекции в университет! — гордо произнес брат.

— Знаю я этих реформированных. Они всему найдут оправдание — мясное с молочным есть разрешают и бриться тоже. Ну как это можно брить еврея бороду, если есть закон Моисея? И что это за раввин, если он сам нарушает закон Торы?

— Они не пользуются бритвой.

— Да уж. Они стыдятся своей бороды, потому что хотят выглядеть, как гои! Таковы эти раввины — могу себе вообразить, что в них осталось от настоящего еврея.

Внезапно в дверях возник отец:

— Уже скоро будет конец этим разговорам? — кричал он. — Скажи, кто создал мир? Видимо лишь тело, и не надо думать, что это все. Тело — лишь орудие в руках Господа. Без души тело подобно куску дерева. Души тех, что пожрали сами себя и свращают других, погрязли во грехе и пороке. Они блуждают в пустыне, преследуемые бесами и демонами. Им слишком поздно открылась истина. Даже Геенна закрыта для них... — Отец уже кричал. — Мир полон блуждающих, неприкаянных душ! Когда душа оставляет нечистое тело, она возвращается в землю и блуждает под землей, ползает там, как червь или рептилия, мучения этих душ невообразимы...

— А тогда, отец, надобно согласиться, что сам Господь творит дурные дела.

— Враг Израиля! Господь любит человека, но если человек сам впадает в скверну, его должно очистить.

— Как можно ожидать, к примеру, от китайца, чтобы он знал Тору?

— Что тебе до китайца? Нам до гоев столько же дела, сколько до птиц, до рыб. Когда я читаю святую книгу, бывает, вижу что-то очень маленькое — меньше, чем крошечную точку, чем кончик булавки. И это чудо Господне! Могут ли профессора всего мира, пусть вместе, создать хоть что-нибудь, хоть одну молекулу? Атом?

— Допустим. Ну и что это доказывает?

Отец ушел. Мать вышла за покупками. Тогда я спросил брата:

— Ну и кто создал молекулу?

— Природа.

— А кто создал природу?

— А кто создал Бога? — брат оживился. — Что-то такое получилось само, а потом все развивалось из этого первоисточника. Благодаря энергии солнца возникли первые бактерии на границе между воздухом и водой. Сложились благоприятные условия. Творения природы боролись между собой, выжили наиболее сильные. Бактерии жили колониями, появилась способность к размножению.

— Но откуда это все пришло? Где то самое первое место, откуда это взялось?

— Это было всегда. Что-то в этом роде, но никто не знает в точности. Только знай одно: не надо накладывать филактерии рабби Тама*. Наверняка не надо. Это все выдумки. У каждого народа свои обычаи. Был такой рабби, знаешь, так он утверждал, что в субботу нельзя помочиться на снег, потому что это напоминает пахотную борозду...

И в юности, и уже будучи взрослым, я много читал книг по философии. Но ничьи аргументы не казались мне более убедительными, чем те, что приводил мой брат у нас на кухне, в дни моего детства. Здесь же мне довелось узнать о таком, о чем в провинции и не слыхивали, — об удивительных открытиях в психологии. Я выходил во двор. Играл с мальчишками в салки, в прятки, в казаки-разбойники — после таких-то разговоров! Воображение работало... Найти бы воду или напиток такой, от которого поумнеешь, узнаешь множество тайн...

* Раббену Там — крупнейший еврейский ученый XII века, внук Раши. Накладывать филактерии рабби Тама — дополнительная процедура после обычного накладывания филактерий.

Вот бы Илья-пророк пришел и научил меня Семи Премудростям... Может, повезет раздобыть телескоп, и тогда я увижу, что там, на небесах... Таких мыслей ни у кого нет — я раздувался от гордости, но при этом испытывал странное чувство одиночества и тоски. И наконец, главный и последний вопрос: что правильно? Что должно делать мне? Почему молчит Господь — там, на семи небесах?

«Что за дела? О чем ты вздыхаешь так тяжело? Что за мысли ворочаются в твоей голове? Может, боишься — небо упадет на землю?» — вот такие вопросы задавал я себе.

Моему брату Израиллю Иошуа полагалось сразу после праздника Кущей явиться в Томашов для призыва в армию. Даже в мирное время родителям было бы трудно пережить такое, а уж теперь... Все равно что собственными руками засунуть в печь родное дитя. Можно было, конечно, повредить себе что-нибудь. Польша кишмя кишела симулянтами: выбитые зубы, ампутированные пальцы, проколота барабанная перепонка, еще что-нибудь в этом же роде. В самом деле, зачем служить царю? Но под влиянием новомодных идей брат счел необходимым явиться на призывной пункт.

Израиль Иошуа рисовал, писал немного, занимался самообразованием. Он жил отдельно и только изредка навещал нас. Он не носил хасидской одежды, одевался в современное платье. Отец стыдился такого сына, считал себя опозоренным. Иногда в ярости выгонял брата из дома. Однако же не хотел, чтобы сын его погиб на фронте.

Мать молилась и плакала, а отец уговаривал брата проделать что-нибудь над собой. «Мало разве увечных среди евреев? — возражал брат. — И горбуны, и хромые, и кривые... Зачем еще?»

Теперь он был маскил, сторонник Гаскалы —

Просвещения. Говорил резко, прямо, без околичностей, при этом подшучивал над собой, несмотря на серьезность положения. Трудно было понять, что же он думает на самом деле, какова его позиция. Он восставал против традиционного еврейского образа жизни. При этом признавал, что в жизни без Бога тоже что-то не так... Не есть ли сама жизнь без Бога — причина войны? Он симпатизировал социалистическому учению и при этом был в достаточной мере критичен, чтобы не принимать социализм целиком — видел, что и у гуманистов с их идеалами не сходятся концы с концами. «Ни этот мир, ни мир грядущий...» — так прокомментировал отец взгляды брата.

По мнению отца, положение зятя в доме у богатого тестя было бы предпочтительнее, чем писание непристойных картин, жизнь на чердаке, чтение еретических книг, равно как и участие в войне. Не еврейское это дело — воевать вместе с гоями. Есть еще время, говорил отец. Еще можно найти богатую невесту из хорошего дома. Но брат не хотел жениться по расчету. Решил так решил. И будь что будет. Хотя я и был еще слишком мал, но все же понимал его: он покинул еврейство и шел собственным путем. Однако для поляков и австрийцев он оставался таким же евреем, и потому при переходе границы его, как и других евреев, могли подозревать в шпионаже.

Путешествие в Томашов само по себе было опасно: каково еврею ехать в вагоне, где полно солдат, рекрутов... Пристанет какой-нибудь задир-антисемит, будет дразнить, оскорблять. Дядя

царя, великий князь Николай Николаевич, повелел выселить всех евреев из прифронтовой полосы и из деревень, огульно обвинив их в шпионаже в пользу неприятеля. Уже были случаи самовольной расправы с раввинами, повесили даже нескольких евреев в традиционной одежде — якобы за то, что они продают немцам военные секреты.

По Варшаве бродили евреи из провинции, ночуя то в одном бейт-мидраше, то в другом. Их кормили в благотворительных столовых. Вся в слезах, утирая мокрые щеки, мать умоляла брата остаться. Но с другой стороны — если на него кто донесет, то брата заберут в тюрьму как дезертира.

Итак, Израиль Иошуа не переменял решения. Уехал. Обещал написать, как только доберется до Томашова. Но шли дни, проходили недели, а письма все не было. Мрачное это было время. Черные дни. Мать перестала есть, перестала спать, молилась и плакала с утра до вечера. Отец не говорил ни слова. Не было больше ни браков, ни разводов, никто не обращался с иском в раввинский суд. Не на что было жить. Нагрянули холода, хотя подошло лишь время после праздника Кущей. Мы переехали в эту квартиру летом, а теперь оказалось, что наша печь-голландка неисправна и ужасно дымит.

Отец сидел над книгами. Обычное дело. Он писал листы бумаги в защиту Раши, в комментариях к которому рабби Тама он нашел противоречия. Пил жидкий горячий чай вприкуску с крошечным кусочком сахара. Погружался в свои размышления. Посылал меня за газетами. С трудом продираясь сквозь газетные штампы, читал

о погромах, массовых убийствах, зверских издевательствах. Он спрашивал у меня, что такое мина, пулемет, пистолет, граната... Об этих орудиях убийства рассказывали как об открытиях необычайного значения.

Отец причитал: «Горе нам, горе! Вой-ва-авой! Господь всемогущий, отец наш небесный! Как долго еще? Сколько еще терпеть? Мы уже тонем, тонем... Вода по самую шею...»

Мы не сомневались: что-то случилось с братом. Ведь он мог бы написать, даже если его уже призвали. Его убили в поезде? Или же — упаси Господь! — он покончил с собой?!

Постоянно лил дождь, в воздухе стояла какая-то густая морось. Наши вторые рамы украли прежде, чем мы успели их вставить. Оконные переплеты дребезжали на ветру. Австрия заняла Билгорай и Томашов. Потом снова туда вступили русские войска. Что там с дедом, с бабушкой, со всей семьей? Воевали в Сербии, воевали в Маньчжурии... Но война пришла и в наш дом. Горели синагоги. Грохот артиллерийской канонады немецких батарей был слышен и в Варшаве. Громыхало и днем, и ночью. Поразительно: хасиды в радзиминском бейт-мидраше уже не сидели над Талмудом. Они целыми днями спорили. Симпатии одних были на стороне русских, другие были за немцев. Все равно что гои!

Я постоянно хотел есть. Мать давно уже ничего не готовила. Сын ее пропал в этом грешном, сатанинском мире. Она лежит без сна, слушая грохот канонады, вой ветра, шум дождя. Лишь Всемогущий, лишь сам Господь может, вняв ее горячим молитвам, ее обетам, спасти брата. Но Он оставался глух к ее мольбам. Всемогущий, что сидит

там, на Троне Славы, в окружении ангелов, серафимов и херувимов, возвышаясь над миром, — почему же Он допускает, чтобы вешали раввинов? Сколько еще мучений суждено вынести Израилью? Может, Его нет? Только такое оставалось предположить. Но что же там тогда? И как все было сотворено?

Раз как-то ночью, когда все мы дрожали от холода в своих постелях, раздался стук в дверь. Мы перепугались. Мать встала, подошла к двери, спросила:

— Кто там?

— Иошуа.

Она ахнула. Отец зажег лампу, и вошел брат — брат, которого мы уже не чаяли увидеть, — в костюме, но с большой светлой бородой. Он отбрасывал громадную тень, и борода у этой тени выглядела совершенно фантастично. Высокий, импозантный, на голове котелок — он казался старше своих лет. Да так оно и было теперь. Ну и вид у него был — будто богач вернулся из заграничного путешествия! «Погасите свет», — сказал он. Он признался нам, что дезертировал, и теперь его расстреляют, если схватят.

Мы сидели в спальне, и брат рассказывал о своих злоключениях. Дедушка, билгорайский раввин, даже поехал с ним в Томашов, пытался освободить его от призыва, но все было напрасно. После долгих колебаний он решился дезертировать. Каким-то образом удалось раздобыть фальшивый паспорт, и теперь его фамилия была Рентнер. Описание внешности владельца паспорта несколько не походило на его внешность, и он жил в постоянном страхе перед проверкой доку-

ментов. Он ехал и на поезде, и на открытой платформе, и товарняком добирался, и пешком идти приходилось. Израиль Иошуа не посмел оставаться в Билгореае — боялся, что за ним могут прийти в любой момент. Ему некуда было податься, и потому однажды утром ему пришлось на что-то решиться. Надо было видеть, с какой гордостью он это сказал.

Брат на ногах не стоял от усталости. Отец уступил ему кровать, он сразу свалился и заснул. Родители долго еще шептались. Мы тоже не спали. Когда в воротах звонил колокольчик, все приходили в ужас. Ведь на свете существуют солдаты, патрули, полиция, законы военного времени и много еще всякого...

Утром отец дал брату филактерии, тот намотал на руку ремешки и почти сразу размотал их. Съел горбушку хлеба и ушел, пообещав, что скоро подаст о себе весточку.

Казалось, все это нам приснилось. У арнкодеша молча молился отец, склонившись перед занавеской. Мать ходила по комнате взад и вперед. Возвращение брата — поистине чудо, но ведь он все еще в опасности. Спасут ли его молитвы Всевышнему о заступничестве? «Мы должны молить Его о милосердии...» — сказала мать. «Всемогущий поможет нам», — пообещал отец.

За несколько минут до того, как появился брат, сказала мать, ее разбудил стих из Книги Псалмов. Но в этом не было ничего удивительного. Каждую ночь она просыпалась со строчкой из Библии, и только потом определяла, откуда эта строка — из Книги Иезекииля, из Двенадцати Малых Пророков...

После долгих дождей выпал снег. В газетах писали, что немцы отступают, оставляя убитых и раненых. Для нас это были плохие новости: захват немцами Варшавы означал бы свободу для Израиля Иошуа.

Мать вернулась к плите, Мойша — в хедер, ну а я — в Радзиминский бейт-мидраш, читать Гемару. Брат прислал записку откуда-то из убежища, где прятался. Я стал постоянным читателем газет, привыкая постепенно к непривычному для меня «жаргону»*. Поглощал я все подряд: романы с продолжением, фельетоны, анекдоты. Хотя еврейские газеты писали о немцах как о противниках, то есть безо всякой жалости, даже со злобой, все же они несколько лукавили... Печатали там все подряд, без разбору. Вслед за статьей, восхваляющей хасидизм, Баал-Шема, рабби из Коцка**, следовал рассказ о графине под вуалью, мчащейся в экипаже к возлюбленному. Печатались рассказы, где о евреях говорилось с симпатией, и тут же другие, противоположного толка. Были статьи, вполне согласные с иудаизмом, — и тут же статьи, полные ереси. Мать выхватывала у меня газету и, просматривая ее, обычно говорила: «Все они хотят от нас только денег...»

Пусть так. Но чего же хочет тогда дядя царя, великий князь Николай Николаевич? Или кайзер Вильгельм? Или старый Франц-Иосиф? Или,

* «Жаргон» — так называли литературный идиш в конце XIX—начале XX вв.

** Рабби из Коцка — рабби Менахем-Мендл из Коцка (1787–1859), знаменитый хасидский ученый, развивал индивидуалистическую концепцию служения Богу. Его имя в хасидской традиции окружено ореолом таинственности.

простите за сравнение, Властитель Вселенной, Творец Неба и Земли, — чего Он хочет? Как может Он равнодушно взирать на солдат, павших на поле боя?

«Господь благоволит ко всем и милосердие Его безгранично... Оно во всяком Его деле и на всех Его творениях...» Так ли это? Или два раза на дню я изрекаю ложь? Надо найти ответ. И сделать это необходимо, пока я не стал взрослым. Скоро уже бар-мицва...

ПУСТЫЕ МЕЧТЫ

После крупных военных успехов Германии стало ясно, что часть Польши вместе с Варшавой теперь под властью немцев, а Билгорай отходит к Австрийской империи. Из Германии приехали в Варшаву два известных раввина — доктор Карлбах и доктор Кон. Поговаривали, что они всех нас хотят сделать немецкими евреями. Нет, конечно, они изучали Талмуд и все такое прочее, однако же говорили по-немецки, водили компанию с немецкими генералами. Ортодоксальный раввин Нахум Лейб Вейнгут искал их расположения — он очень хотел объединения раввинатов Германии и Польши. Но лидеры общины вовсе этого не жаждали... В конце концов, время еще военное. Сейчас сила на стороне немцев, а что если русские пойдут в наступление и возьмут верх? Раввинат решил пока оставаться нейтральным. Тогда Вейнгут обратился к неофициальным раввинам. Тут был у него свой интерес. Он собрал их, пообещал официальный статус и ежемесячное содержание, коль скоро они сделают его своим официальным представителем.

Раньше эти раввины редко у нас появлялись. А теперь от них проходу не было. Стояло лето, а летом наши комнаты выглядели лучше. Прежде каждый из этих раввинов держался особняком, редко когда они заговаривали друг с другом, а теперь

образовали то ли ассоциацию, то ли федерацию, избрали президента. Отцу это нравилось. Собирались у нас. Раздавался стук в дверь, входил очередной участник собрания — в атласном лапсердаке и плисовой ермолке. Соседи наши почтительно наблюдали вереницу раввинов, каждый из которых вопрошал, здесь ли живет реб Пинхас-Мендель. Мать накрывала к чаю. Отец отказывался от почетного места за столом в пользу белобородого реб Дана. Комната выглядела торжественно. Синедрион да и только.

Наряду с Торой здесь обсуждались мировые проблемы. Если Богу будет угодно, соглашались все, вейнгутовские планы вполне могут осуществиться. Ну что ж! Но должен же человек и как-то зарабатывать на жизнь. Молодой раввин с черными как смоль волосами и жгучими пронзительными глазами сказал, что не одобряет ни совет, ни руководителей. И что это за альянс такой, куда он годится, если им навязывают в руководители таких непрактичных людей?

— Спаси Господь, почему вы так отзываетесь о них? — спросил отец.

— Такое время, — сказал другой. — Каждый считается только с собой, поступает так, будто он один знает, что правильно, а что нет.

— Но мир еще не обезумел, — возразил отец.

— Злой дух не испугается атласного лапсердака, — сказал раввин с Купецкой.

— Но тогда конец всему! — воскликнул отец.

Они спорили и спорили, кричали друг на друга. Один раввин дергал себя за бороду, другой тер высокий лоб, третий теребил ермолку, четвертый наматывал цицес на указательный палец. Какие они разные, эти раввины, и как по-разному ведут

себя! — думал я. Живот вон у того толстого сдавлен поясом, как обручем, рот большой, мясистые мокрые губы, а глаза так и шныряют по сторонам. Он курил сигары, посылал меня за сельтерской. Раз дал брату Мойше несколько монет — на конфеты. Он подбегал к окну, тяжело дыша, — наверно, у него была астма и ему не хватало воздуха.

Другой сидел себе за книжным шкафом, смотрел неотрывно в книгу с насупленным, недовольным видом, будто хотел сказать: все, что вы тут болтаете, пустое, только святые слова важны...

Почтенный немолодой раввин приводил изречения реб Исаяи Моската, или Прагера, как он его называл. Никто его не слушал, разве что отец.

Совсем молоденький раввин, с клочковатой бородой и пейсами, как пакля, утрюмо молчал — видимо, был в дурном расположении духа. Наконец достал старый конверт из кармана жилетки, рассмотрел внимательно, написал на нем несколько слов. Видно было, что он скептически относится ко всему происходящему и ему не по себе от того, что он связался с такими болтунами и мечтателями. Я слышал потом, что у него красавица жена и богатый тесть, который хочет, чтобы зять занимался торговлей. Раввин с Купецкой шептал отцу на ухо: он боится, что ничего не выйдет. Рискованное начинание. И к тому же одна пустая болтовня.

— Почему нет?

— Так нам предназначено — оставаться бедными... Разве не так? — он по-свойски улыбнулся отцу и предложил ему понюшку табаку.

И вот однажды Вейнгут сообщил, что всем этим раввинам предлагается собраться в городской ратуше. Там к ним обратится какой-то важный чиновник с приставкой «фон» перед фамилией. Он хочет

сообщить нечто важное. Как? Пойти в ратушу? Говорить с важным шляхтичем? Или даже с немецким бароном?! Отец пришел в ужас. К тому же он видит мало смысла в том, что наденет костюм и пойдет в ратушу. Все равно — у него же борода. Зачем вступать в контакт с немцами? Даже при русском губернаторе он отказался пройти аттестацию. Так зачем это он будет теперь встречаться с немецкими важными чинами? Мать была раздосадована:

— Чего ты боишься? Никто не просит тебя на балу танцевать...

— Я не знаю немецкого... Я боюсь. Я не хочу...

— Что ты там потеряешь? Свою бедность?

Пришел посоветоваться с отцом еще один раввин, такой же перепуганный. Пришел и раввин с Купецкой. Он был настроен еще более скептически, чем отец, и хотел знать отцовское мнение.

— Что если они захотят, чтобы мы крестились?

— Нахум Лейб Вейнгут — хасид.

— Но разве он за них отвечает?

— Что же такого хотят нам сказать немцы?

— Может, нас вышлют из Варшавы, упаси Господь...

В присутствии таких пессимистов отец почувствовал себя увереннее.

— Время военное. Пойти — опасно. Не пойти — тоже опасно.

— Можно больным сказать...

В конце концов решено было пойти. Накануне отец сходил в баню, намочил и расчесал бороду. Мать отгладила брюки, как могла, отчистила пятна на отцовском лапсердаке, поставила заплатки, подштопала, приготовила чистую рубашку. Отец молился и вздыхал все утро. Вопреки обыкновению, не сидел над Талмудом. Было утро понедельника,

отец читал покаянную молитву, произнося нарастающим тоном: «Обрати, Господи, ухо Твое ко мне и слушай... Открой глаза Твои и смотри на дела чудовищные, на город нечестивый... Взываю к тебе, Господи, спаси меня и сохрани, если еще не слишком поздно...»

Он надел лапсердак, начищенные до блеска ботинки и отправился на встречу с другими раввинами: они собирались идти в ратушу вместе.

Вечером он рассказал: они вошли в ратушу, там было полно полиции, много важных господ, их ввели в зал, на стене висел портрет кайзера Вильгельма. Немецкие раввины приветствовали их, а потом какой-то военный доктор, из благодородных, в форме с эполетами прочитал им лекцию о пользе чистоты. Говорил он по-немецки, но все же они примерно поняли, о чем шла речь. Особенно когда он стал показывать увеличенные во много раз изображения воши и объяснил, что в ней причина заражения брюшным тифом. Попросив «господ раввинов» распространять среди евреев его слова о пользе чистоты, что находится в полном согласии с учением иудаизма, он откланялся и ушел.

— А еще что? — спросила мать.

— Ничего.

— Ни должностей? Ни денег?

— Ни слова.

— Да уж. О чем надо, они никогда не говорят. Значит, и толковать не о чем, — сказала она.

— Но они же позвали нас в ратушу. Значит, считают за официальных раввинов.

— Ха!

— Ладно. Слава Богу, все позади. По правде сказать, я глаз не сомкнул этой ночью. Думал, не переживу.

В ближайшую субботу отец говорил в синагоге о чистоте. Евреи зевали, качали головами, вздыхали. Если в подвале протекает, откуда там чистота? Как быть, если нет куска мыла, нет сменной рубашки? Как? Но им было известно: отец получил приказание прочесть лекцию о чистоте.

Мать оказалась права. Ничего не изменилось. Вся эта ассоциация раввинов была благополучно забыта вместе с Вейнгутом, вместе с «немцами». Вейнгут бросил эту затею сам. Теперь он издавал журнал «Ортодокс». Ему были нужны журналисты, а не раввины. Брат Израиль Иошуа стал писателем, занятия живописью забросил совершенно. Вейнгут послал за ним. Поинтересовался, нет ли у него небольшого рассказа или очерка из жизни ортодоксальных евреев в каком-нибудь глухом, Богом забытом углу.

У брата что-то нашлось, и Вейнгут опубликовал его вещь в своем журнале — небольшой юмористический рассказик про старую деву. Помнится, брат получил аж восемнадцать марок за эту публикацию.

Неофициальные раввины собирались, обсуждали свои трудности, свои проблемы. Думали, им поможет партия ортодоксов. Но партии было не до них, да и отец не очень-то верил в нее. Иностранное слово «ортодокс» не нравилось отцу, не внушало доверия. Да и сама газета.... Там писали нечестивые, безбожные журналисты. Может, там и не было ереси. Но язык?! Слишком уж современный. И на таком языке пишут рассказы, публикуют новости! Хорош пример для молодежи!

А тем временем брат начал работать в этой газете. Опубликовал серию рассказов, делал переводы с немецкого. Так началась его писательская карьера.

Я читал эту газету от первой строчки до последней. Читал Достоевского, Бергельсона*. Читал и детективные истории про Шерлока Холмса и Макса Шпицкопфа. Особенно нравились, разумеется, детективы. Одна картинка навсегда запечатлелась в моей памяти: Макс Шпицкопф и его помощник Фукс, с пистолетами в руках, перед ними ошеломленный бандит... И подпись под рисунком: «Руки вверх, ты, воришка! Мы видим тебя! От нас не уйдешь!» — кричит Шпицкопф. До сих пор наивные эти слова звучат у меня в ушах как музыка.

* Давид Бергельсон — еврейский писатель. Писал на идиш. В 1949 г. был арестован, 12 августа 1952 г. расстрелян в числе многих других писателей и деятелей еврейской культуры.

КНИГА

Как бывает в тяжелое смутное время, казалось, дни тянутся удручающе медленно. Теперь же, оглядываясь назад, видно, как стремительно все происходило. Всю долгую, холодную, суровую зиму мы прожили на мерзлой картошке. Бывало, изредка посчастливится поесть капусты, тушенной на масле из бобов какао. И по субботам нашей едой было «парвэ» — ни мясного, ни молочного. Мы позабыли вкус мяса и рыбы. Старший брат нанялся рабочим — чинить мост через железную дорогу. Это было уже при немцах. Домой он пришел совершенно обросший, с длинной бородой и притащил огромный каравай хлеба. Почти плоский, здоровенный, размером прямо с колесо. Такого я никогда больше не видел. Нам его хватило на несколько недель. Работа была трудная и опасная. Больше он туда не вернулся. Теперь он играл в шахматы со своим приятелем и распевал:

Нас было девять братьев вместе со мной,
Мы торговали вином...

Всеобщий хаос и отчаянная безнадежность нашего положения покончили с противостоянием в семье. Но все же отец и брат Израиль Иошуа по-прежнему не разговаривали друг с другом. Брат носил современное платье, но не брил бороду — нечем было заплатить цирюльнику. По утрам он,

бывало, накладывал филактерии, но не молился, а просто смотрел в окно.

Поскольку «клиентов» все равно не было, отец с утра пораньше уходил из дому, сидел либо в синагоге, либо в бейт-мидраше, штудировал книги.

И вот однажды, когда отец был дома и писал очередной комментарий, в дом вошел молодой офицер и спросил по-немецки: «Не вы будете Пинхас-Мендель?» Отец ужасно перепугался. Дрожа от страха, подтвердил, что это он и есть.

— Дядя, — сказал молодой человек, — я — сын Исайи...

То бледнея, то краснея от радости, отец сконфуженно приветствовал его. Он обрадовался безмерно. Это был сын его покойного старшего брата. Наш богатый дядя Исайя был хасидом, жил в Галиции, ездил к цадику в Бельцы. Сын же его получил блестящее европейское образование. Будучи офицером австрийской армии, чья часть проходила через Варшаву, он решил навестить родственников. Никогда прежде я не видел никого из отцовской родни. Насколько мой двоюродный брат не походил на наше семейство, было просто поразительно. Высокий, с военной выправкой, одетый, как мне представлялось, прямо по-царски: сапоги со шпорами, на боку сабля — блестящий австрийский офицер, одним словом. Он выглядел таким же щеголем, как те важные немецкие офицеры, что фланировали по улицам Варшавы. Но то были немцы. Этот же — в мундире с эполетами, с медалями на груди — внук Темерл и реб Самуила. Его предки — и наши предки тоже.

— Ты уверен, что ты еще еврей? — спросил его отец.

— Конечно. Еще бы.

— Ну хорошо. Пусть Всемогущий хранит тебя от соблазнов и вернет туда, где ты сможешь жить, как еврей, — сказал отец. — И всегда помни своих предков.

Он сказал отцу, что денег при себе сейчас у него нет, но он напишет домой и попросит прислать нам. Отец попросил мать накрыть на стол и подать чай. Даже раскрыл было рот насчет того, чтобы купить что-нибудь к чаю, но гостю нашему было некогда. Он поцеловал руку отцу, поклонился матери, щелкнул каблуками, попрощался и ушел. Казалось, все это приснилось нам. Но спустя некоторое время мы получили денежный перевод. Вот об этих деньгах я и хочу рассказать. Матери не было дома, когда пришло извещение о переводе на пятьдесят марок. Отец подозревал меня и спросил:

— Хранить секреты умеешь?

— Еще бы!

Тогда он доверился мне и рассказал: уже очень давно он мечтает опубликовать книгу — научный труд, посвященный клятвам и обетам. И хотя пятьдесят марок были бы весьма ощутимым подспорьем в нашем бюджете, но почему их надо обязательно истратить целиком и полностью на еду? Он собирается сказать матери, что получил только двадцать марок, а остальные тридцать использовать как первый взнос на издание книги. В свое оправдание отец сказал, что это будет ложь во спасение, ради мира в доме. Ведь если мать узнает правду, разразится скандал. Как мне теперь представляется, отец поступил так, как сделал бы любой писатель на его месте, — все что угодно, лишь бы увидеть книгу опубликованной. По словам отца выходило, что нет ничего более удобного перед очами Господа, чем из-

дание религиозной книги. Это вдохновляет других авторов поддерживать священный огонь Пятикнижия и побуждает их делать то же, что и отец.

Я обещал хранить отцовский секрет, и он взял меня с собой в банк, а потом мы пошли в типографию Якоби, что на Налевках. Никогда прежде мне не приходилось бывать в типографии. Я с любопытством разглядывал ящики с литерами, уже набранные матрицы. Наборщик отбирал литеры, а сам хозяин сидел за конторкой, погрузившись в чтение пыльной газеты. Типичный литвак — и набожный еврей, и выглядит современно: на голове крошечная ермолка, а полуседая борода, похоже, подстрижена. Отец показал ему рукопись и объяснил, чего он хочет. Якоби просмотрел страницу-другую и пожал плечами:

— Кому это надо?

— Что вы такое говорите? Мир еще не погиб. Евреи еще учатся и еще нуждаются в религиозных книгах.

— Их и так уже слишком много. Я набираю книги раввинов, а они даже не приходят, чтобы забрать набор — свои матрицы.

— С Божьей помощью я заплачу и за набор, и за матрицы, — сказал отец. — И хорошо бы сразу уже начали набирать...

— Ладно. Раз хотите, так хотите... Но получите только то, за что заплатите...

Отец дал Якоби тридцать марок, тот обещал набрать тридцать две страницы и прислать отцу гранки.

Двадцать марок оченьгодились дома. Но когда мы их истратили, голод стал ощущаться еще мучительнее. Отец выправил гранки, которые Якоби прислал ему довольно быстро. Но запла-

тить второй взнос не было никакой возможности, и матрицы остались в типографии — не зря Якоби предупреждал, что так и будет. Отец, как и другие авторы, оказался не в состоянии их выкупить.

Во время эпидемии сыпного тифа летом 1916 года заболел младший брат Мойше. Не было возможности оставить его дома, потому что врачи были обязаны сообщать полиции о каждом тифозном больном. Потом приезжала карета «скорой помощи», забирала больного в госпиталь на Покорной, и было известно, что за этим последует. Придут поляки в белых фартуках, обольют весь дом карболкой и заберут всех, кто в этот момент будет в доме, в карантин, что находится на улице Счастливой. Решено было, что старший брат и отец спрячутся, а мы с матерью позволим увести себя.

И вот они пришли, облили все карболкой, так что в доме стало нечем дышать. Нас увел полицейский, позволив взять кое-какие вещи. Мать несла их в руках. В незнакомом доме, где было много чужих людей, меня и еще одного мальчика остригли наголо. Я наблюдал, как падают на пол мой пейсы и знал, что теперь им конец — я так давно хотел от них избавиться!

— Раздевайся! — приказала мне женщина в форме.

Раздеться перед женщиной? Такая мысль ужаснула меня, и я раздеваться отказался. Но у женщины не было времени. Она сорвала с меня халатик, рубашку, брюки. И я остался так стоять — совершенно обнаженным, таким, каким появился из материнского чрева. Другой мальчик разделся сам. У него была смуглая кожа, а у меня совершенно белая. Мы сидели в одной ванной и хихикали: было

очень щекотно, когда эта женщина нас намыливала. В зеркале я себя не узнал. Без пейсов, без хасидской одежды я уже не выглядел евреем.

Меня отвели к матери. На ней была странная, чужая одежда. А голова покрыта платком. Мы поднялись наверх. Там оказалось два помещения: одно для женщин с детьми, другое для мужчин, двери между ними были открыты. В комнатах все кровати, кровати... И наша кровать там была. Кругом мельтешили, бегали дети, а матери окликали своих детей — то на идиш, то по-польски. Из окон было видно кладбище на Генсей. Мать решила не есть ничего, кроме сухого хлеба, но требовать от меня, двенадцатилетнего мальчика, питаться только сухарями на протяжении восьми дней у нее просто духу не хватило. Конечно, в душе она надеялась, что я сам откажусь, по собственной инициативе. Но запретить есть, когда сын на глазах слабеет и чахнет, когда у мальчика уже сухой кашель, а эпидемия тифа продолжается, да и другие беды подстерегают со всех сторон — как можно?

Я съедал две порции, свою и матери, по-видимому, некошерной еды. Мать неодобрительно качала головой. Она надеялась, что я буду хотя бы испытывать отвращение к такой пище. Но разложение началось во мне не сейчас, а гораздо раньше. Я не видел никакой разницы между этой кашей и той, которую варила мать. И ту, и эту кашу поливали маслом из бобов какао. Разве что посуда, в которой здесь готовили, была не кошерной.

Восемь дней, что мы здесь провели, принесли много впечатлений. Мужчины перешептывались, перемигивались с женщинами в форме, непристойно шутили, хихикали. Женщины передевались прямо на глазах у детей, мальчики и девочки

играли вместе, позволяли фривольности, разного рода неприличия. Мать очень ослабела — ведь она ничего не ела, кроме сухарей, на протяжении всех восьми дней карантина. Она была так измождена, что еле могла стоять и почти все время проводила в постели. И, конечно, очень беспокоилась: как там Мойше в больнице? Что с сестрой? Долгое время от нее не было ни единой весточки. Мы знали только, что, спасаясь от германского вторжения, она бежала из Бельгии в Лондон.

Для меня же все происходящее было похоже на настоящий приключенческий роман, на окно в нееврейский мир. Прежде я бывал в студии у брата, и вот еще этот карантин... Теперь хедер, отцовский бейс-дин, ешибот, бейт-мидраш окончательно утратили для меня свою притягательность...

Я уже стал таким большим, что мог накладывать филактерии. В России произошла революция. В газете я прочитал, что царь Николай под домашним арестом и занимается тем, что рубит дрова, а евреям теперь позволяют жить в Москве и Петрограде. Для отца моего все эти события были лишь дополнительными знаками скорого прихода Мессии. А как еще прикажете объяснить отречение от престола столь могущественного монарха? Что случилось с казаками? Возможен единственный ответ: свержение царя predeterminedено свыше. Евреи возвышаются над миром, а враги их теряют силу.

Этим летом, сказал нам брат, можно уже получить визу в Билгорай у австрийского консула в Варшаве.

Мое жгучее желание поехать куда-нибудь — можно и в Билгорай, где жил мой дед, тамошний раввин, — стало сильнее, чем когда-либо прежде. Я нигде не бывал с тех пор, как мы переехали из Радзимины в Варшаву. Даже прокатиться на дрожках или проехать на трамвае было для меня приключением. Меня обуревала неясная тоска, страстное желание отправиться куда-нибудь далеко-далеко, в дальние страны. Положение наше было столь отчаянное, что больше оставаться в Варшаве стало невозможно. С лета 1915 года мы были

постоянно голодны. Отец все писал и писал. Теперь он стал во главе иешивы. До того ее возглавлял радзиминский рабби (он уехал обратно в Радзимин). Но получал отец так мало, что этого не хватало даже на хлеб. Зима 1917 года — непрерывный пост для нашей семьи. Мы ели мороженую картошку и засохший творог. Голод был особенно мучителен, потому что сосед наш был пекарь. Пекари в то время наживали целые состояния. Хлеб выдавали по карточкам, а на черном рынке он стоил очень дорого. У Копла-пекаря только и считали выручку. Мясо, колбаса — для нас это все было из той, прошлой жизни. А у Копла — пожалуйста! Запахи из квартиры Копла — на одной лестничной клетке! — могли свести с ума.

Прежде чем описывать нашу поездку в Билгорай, расскажу немного о нашем соседе. Его дочь Миреле сидела у ворот и продавала хлеб, булочки, субботние халы. У Копла было несколько сыновей. И все они пекли хлеб. А дочь была одна. Самая младшая. Сам Копл был коротышка, плотного сложения, борода подстрижена, с проседью. Болтун, хвастунишка, сквернослов — вот такой он был, этот Копл. Любил клясться-божиться — хлебом его не корми. Чаще всего к месту и не к месту повторял: «Чтоб мне не дожить до того часа, когда увижу мою Миреле под брачным покрывалом, если вру!» Дочь он обожал. Молодые люди с Крохмальной улицы не смели ни прикоснуться к ней, ни даже посмотреть в ее сторону — из страха, что Копл или его сыновья пустят в ход нож.

Видимо, Миреле пошла в отцовскую породу. Она почти не росла. Ее разносило только в ширину: огромные груди, мощные бедра, толстые круглые коленки. В свои семнадцать она выглядела

уже перезрелой женщиной. Казалось, плоть ее взывает: «Вот я. Я готова уже. Готова». Копл предупредил сватов, что только исключительных достоинств молодой человек может стать женихом для Миреле. В конце концов они нашли такого — бухгалтер, само совершенство. Чистый бриллиант! На самом деле он был бухгалтером, жених этот, или же только слыл таковым на Крохмальной — там каждого мало-мальски грамотного бухгалтером называли, — уж и не знаю.

Жених был, конечно, сирота, и как только помолвка состоялась, переехал жить к будущему тестю. Высокий, щеголеватый тип, длинноногий, с вьющимися волосами (это так ценилось на Крохмальной) — как раз подходящая пара для Миреле. Не слишком-то долго он привыкал к тому, как подают и что едят в этом богатом доме. Если ему нужны были деньги, он никого не затруднял просьбой. Никого не спрашивал: сам шарил в ящиках стола, в комодке, доставал из-под матраса. Поговаривали, что Коплу придется отдать этому парню половину своего состояния. У жениха было все: хлеб, плюшки, булочки, субботняя хала, мясо, деньги — и Миреле в придачу. Куда уж лучше!

Вдруг, в самый разгар свадебных хлопот, Копл заболел. Его спешно отвезли в больницу. Прооперировали. Но было уже поздно. На смертном одре он выразил последнее свое желание: чтоб свадьба Миреле состоялась сразу же после положенных дней траура.

На Крохмальной говорили, что Копл слишком часто повторял любимую свою клятву.

Но вернемся к нашей поездке. В 1917 году в Варшаве свирепствовал сыпной тиф. Брюшной тиф не отставал от него. И чему тут удивляться? Как еще

люди вообще оставались живы, питаясь картофельными очистками и жареными каштанами, — уму непостижимо. Немцы заставляли каждого жителя Варшавы пройти дезинфекцию в городской бане. Кордон солдат окружал двор, и каждого жильца насильно вели в баню. Мужчинам брили бороды, девочек стригли наголо. Люди боялись выходить на улицу. Санитарные комиссии проверяли дом за домом. Голод, болезни, страх перед немцами делали жизнь непереносимой.

На Щиглой, в узком переулке, ведущем от улицы Новый Свят к Висле, размещалось австрийское консульство. Это было время, когда люди выстраивались в очередь за хлебом, за картошкой, за керосином, за чем угодно. Но нигде не было столь длинной и столь плотной очереди, как на Щиглой. Тысячи варшавян и приезжих ожидали возможности уехать в ту часть Польши, которая теперь была оккупирована австрийцами. Там, в маленьких местечках, еще была еда. Толковали, что там можно набить желудок, можно забыть о войне. Но мы слышали и другое: с австрийской армией туда пришла холера, и эпидемия косит людей тысячами.

С самого начала военных действий мать не получала писем из Билгорая. Однако знала, что отца ее уже нет в живых. Как она могла узнать это? Ей приснился сон. Проснувшись однажды утром и сказала: «Отец умер».

— Что ты такое говоришь? Почему? Как ты узнала? — допытывались мы.

Мать рассказала, что во сне ей явился наш дедушка, его лицо проплыло перед ней, оно излучало свет, и в сиянии лучей света лик его удалился. Мы старались, как только могли, свести на нет значение этого сна. Но мать осталась при своем

убеждении: отца ее, билгорайского рабби, нет уже на свете.

Отцу не хотелось оставлять свою деятельность раввина на Крохмальной, к тому же он теперь стоял во главе иешивы, а брат не хотел бросать работу в газете. А еще брат увлекся девушкой, она должна была стать его женой. Решено было поэтому, что пока только мать и двое младших — мой брат Мойша и я — поедem в Билгорай.

Но для этого нужна виза. Чтобы ее получить, придется стоять в очереди. Как долго? Недели. А может, и месяцы. Наверное, это покажется невероятным, но люди стояли в очереди в ожидании виз круглые сутки: и день, и ночь. Большие семьи устраивались таким образом, что члены семьи дежурили здесь поочередно. Вообще-то любая очередь имеет свойство продвигаться. Но только не здесь. Объясняли это так: во-первых, австрийский консул решительно против выдачи виз, а во-вторых, немецкие солдаты, которые следили за порядком, продавали места в очереди. Кто заплатит, попадет к консулу. Остальные могут ждать до окончания века. Охрана постоянно менялась, и потому одной взятки могло оказаться мало. Солдаты не скупились на брань, орудовали прикладом винтовки. Только и слышалось: «Verfluchte Juden!»*

Мы тоже заняли очередь. Мать, старший брат и я дежурили, сменяя друг друга, но к дверям консульства не приближались ни на шаг. Женщины говорили между собой, что визы получают только проститутки, и кляли этих шлюх самыми страшными проклятиями. В очереди я штудировал старый немецкий учебник. Наверно, это была хрес-

* Жиды проклятые! (нем.)

томатия: рассказы и стихи. Две строчки оттуда навсегда врезались в память:

Es regnet —
Gott segnet.*

Немецкий учить было легко — очень похож на идиш, и я все понимал, только что буквы другие.

Мы уже совершенно отчаялись, но в один прекрасный день брат вернулся домой с материнским паспортом, где стояла виза — для матери, меня и младшего брата. Брату удалось наскрести тридцать марок, и он сунул взятку солдату из охраны.

Никогда не забуду тот день. Наверно, это было в конце июля или в самом начале августа. Семейство наше, изнемогшее от голода, отчаяния и безнадежности, воспряло духом. Даже комнаты выглядели теперь иначе. Лицо матери уже не было столь мрачным. Солнце светило ярче, дышалось легче, грядущий день сулил одни лишь радости. Печать на куске бумаги открыла нам двери в мир — двери, которые только что были заперты на крепкий засов. Открылась дорога к зеленым лесам, к еде, к родне матери, с которой мы никогда не виделись. Для нас, детей, Билгорай символизировал нечто удивительное, чудесное, сверхъестественное, сравнимое лишь с приходом Мессии. Там жили наши дядья, тетки, наши двоюродные братья и сестры. Билгорай — особенная страна, земля Израиля, откуда до Иерусалима рукой подать.

Я танцевал, прыгал, резвился, буквально стоял на голове. Я уже, можно сказать, ехал в поезде. Мать улыбнулась, хотя для нее эта поездка не была столь беззаботным приключением. Потом вздохнула. Во-

* Дождь идет — Господь благословляет (нем.).

первых, отец останется один, и кто будет за ним ухаживать? Некому даже чаю подать. Правда, он будет жить не в Варшаве, а в Радзимине с семьей радзиминского раввина, а все же один, без своих. А еще Иошуа. Он ведь остается в Варшаве. Как она может уехать, если отцу и Иошуа грозит опасность! Мало ли что... Мать решительно заявила: она поступит нехорошо, если уедет; это большой грех, если семья разделена в такое опасное время — ведь не знаешь, чего ждать завтра. Но отец и брат возражали: не ехать — значит подвергать опасности жизнь младших; самая большая ответственность, которая лежит на матери, — это дети.

Я был слишком мал и беспечен, чтобы понять материнские угрызения совести, ее сомнения, ее чувство вины перед отцом и братом. Я только видел, что она хочет похоронить мои мечты и надежды, лишить меня величайшего удовольствия. Я был сердит на нее, просто в бешенство пришел. Желание ехать было столь велико, что ни о чем другом я и думать не мог — лишь бы сидеть в поезде и смотреть в окно. Много лет прошло, но я не изменился. Это желание так и живет во мне с тех пор.

ЕДЕМ В БИЛГОРАЙ

Все шло своим чередом. Я уже попрощался с друзьями и был готов отправиться в путь хоть сию же минуту. Но вот беда! Ботинки мои совсем прохудились, и меня послали к сапожнику, что жил прямо в нашем дворе: может, он поставит новые подметки?

Стоял ясный летний день, но в подвале было темно. Я прошел коридором — сырым, затхлым, на стенах плесень. Вошел в маленькую комнатенку, заваленную обувью и всяким хламом. Неровный косо́й потолок, маленькое оконце, грязные невымытые стекла, а кое-где вместо стекла фанера. А я-то думал, что у нас такая бедность — дальше некуда. Но у нас, по крайней мере, просторное помещение с обстановкой, книги. Здесь же всего две кровати, на них грязные простыни. На одной из кроватей, уделавшись по уши, лежал новорожденный младенец — сморщенный, лысый, беззубый, ни дать ни взять кикимора болотная, только в миниатюре. Женщина возилась у плиты, та все дымила и дымила, а за сапожным верстаком сидел мужчина — молодой рыжебородый еврей, с высоким лбом и впалыми щеками, желтый, как обрезки кожи на полу.

Я ждал, пока он заменит подметки. Нечем было дышать от пыли и тяжелого запаха кожи. Я кашлял и кашлял. Припомнилось, что говорил брат: одни

старятся и теряют здоровье, надрываясь на непосильной работе, а другие бездельничают. Меня прямило от царящей в мире несправедливости. Молодые люди, герои бросают бомбы, умирают или остаются искалеченными после взрыва. Другие работают с утра до ночи и все равно не в состоянии заработать на кусок хлеба, на чистую рубашку или колыбельку для малыша. Этот сапожник, к примеру. Рано или поздно он заболел чахоткой или сляжет в тифу. Да и как может вырасти здоровый ребенок в этом кухонном чаду, в грязи, среди смрада и зловония?

По мнению брата, не должно быть никаких царей. Не только Николая следует прогнать, но и Вильгельма, и английского короля. Надо, чтоб везде была республика. Отменить войны и ввести народное правление. Почему до сих пор это не сделано? Почему кругом цари, короли, императоры?

Наконец я дождался своих ботинок с новыми подметками и вышел из подвала на свет Божий. Меня охватило неизбывное чувство вины. Почему я собираюсь в такое прекрасное путешествие, а сапожник заперт у себя в подвале, будто в тюрьме? Мне казалось, будто все язвы общественной жизни олицетворял этот молодой еврей-сапожник. Я был всего лишь мальчик, но уже сочувствовал русским революционерам. Но и царя жалко: зачем заставлять его колоть дрова?

Иошуа проводил нас на Данцигский вокзал. Мы даже ехали на дрожках. Вокзал в то время назывался Вислинским. Брат купил билеты, и мы прогуливались по перрону в ожидании поезда. Было немного не по себе: мы покидаем друзей и знакомых, покидаем улицу, на которой жили так долго и к которой привыкли. Вскоре появился

громадный паровоз. Он кашлял, чихал, пускал пары. Огромные, невероятной величины колеса. Капает масло, вырывается огонь. Очень мало пассажиров. Мы почти одни в вагоне. Немецко-австрийская граница лишь в четырех часах езды, в Ивангороде. Потом этот город стал называться Дёблин.

Сигнал к отправлению, пронзительный гудок паровоза, поезд медленно трогается. На платформе остается Йошуа. Его фигура становится все меньше и меньше.

Здание вокзала, привокзальные постройки, дома, люди и скамьи на перроне, казалось, плывут назад. Плыли и деревья. Удивительно было видеть, как все скользит прочь, как медленно вращаются улицы и тоже уплывают назад, будто земля — это огромная карусель. Дымовые трубы поднимаются вверх, одетые в шапки из копоти и дыма. Собор, самая главная русская церковь, неясно вырисовывается в дымке. Золотые купола Собора блестят в солнечном свете, возвышаясь над окружающим пейзажем. Стаи голубей, белых, черных и даже как будто золотых, кружили над городом, а город поворачивался то так то этак, будто танцуя. Я несся во весь опор по белу свету, словно король или волшебник из сказки. И никого я не боялся — ни немецкого солдата, ни русского жандарма, ни деревенских мальчишек, ни оборванца-попрошайки. Свершилось наконец то, о чем я мечтал.

Мы проезжали по мосту. Я глянул вниз. Там ползли крошечные трамвайчики. А люди были похожи на кузнечиков. Наверно, такими видели людей великаны — те, что жили давно-давно, во времена Моисея. И теперь я как великан!

Внизу по Висле плыл пароход, а по ясному летнему небу плыли облака, похожие на корабли,

а еще на зверей, птиц, на груды мягкого нежного пуха. Поезд мчался вперед и вперед, весело посвистывал. Мать достала из сумки бутылку молока, печенье и булочки: «Скажите благословение...»

Я пил молоко, хрустел печеньем. Все было забыто: война, голод, болезни. Просто рай на колесах да и только. О, если б это могло длиться вечно!

Даже мой друг Борух-Довид не подозревал о существовании такой Варшавы, тех ее окраин и предместий, что я видел сейчас. Я поражался: внизу опять ползли трамваи. Если они тут ходят, значит, и я мог бы сюда добраться? Теперь мы ехали мимо кладбища. Немой город могильных камней. Наверно, я упал бы в обморок от страха, доведись мне проходить здесь ночью... или даже днем? Но совсем не страшно, если мчишься мимо на поезде. Почему это?

Варшава просто погибала от голода. А совсем рядом расстилался прекрасный мир, зеленели поля. Мать показывала нам: вот гречиха, вот пшеница, а вон там — ячмень. Вот яблоневый сад, а вон там — груши. Но ни яблоки, ни груши еще не поспели. Мать выросла в маленьком местечке. Там мужики косили сено, а бабы и девки, сидя на корточках, пололи сорняки. Их надо вырывать с корнем, потому что они портят землю, — так сказала мать. И вдруг я увидел чудовище, жуткого монстра — без лица, в лохмотьях, с растопыренными руками. «Что это?» — в испуге спросил я. «Это пугало. Чтобы птицы напугались и улетели», — объяснила мать. Брат поинтересовался, живое оно или нет. «Нет, глупенький».

Я-то видел, что оно не живое. Но все равно казалось, что это чудовище без лица смеется. Пугало стояло посреди поля будто идол. Птицы кружили над ним.

Спустились сумерки. Появился кондуктор, прокомпостировал билеты, перекинулся несколькими словами с матерью. И, задержав взгляд, стал нас внимательно разглядывать. Должно быть, его удивила наша странная, не польская внешность. А что там разглядывать? Наверняка предки этого кондуктора тоже жили рядом с евреями.

В слабеющем сумеречном свете все казалось еще прекраснее. Четче вырисовывались цветы и плоды при свете заходящего солнца, ярче зеленели поля. Удивительным ароматом полей, благоуханием садов было заполнено все вокруг. Мне припомнились строки из Пятикнижия: «Благоухание от сына моего как аромат полей, благословленных Господом...»

Мне представлялось, что эти поля, луга, топи, болотные низины — все как в стране Израиля. Сыны Иакова пасут овец где-то здесь, неподалеку. До того, как здесь стали скирды Иосифа, колосья склонялись долу. Сыны Исмаила, наверно, ходили здешними путями. Верхом на верблюдах, а с ними ослы и мулы. Везли миндаль, фиги, финики, гвоздику и другие пряности. Дубрава Мамре*, ясное дело, там, вон за теми деревьями. Там Всевышний вопрошал Авраама: «Почему смеется Сара? Разве есть предел могуществу Господа? Я обращу к тебе Лицо Мое, и у Сары будет сын...»

Вдруг я увидел нечто странное и спросил у матери, что это. «Это ветряная мельница», — ответила мать. Я не успел разглядеть как следует, а мельница уже пропала, будто ее и не было. Потом снова появилась, но уже где-то позади. Мельница рабо-

* Мамре — дубрава в Хевроне, где Всевышний обещал Аврааму и Саре, что у них родится сын.

тала, махала крыльями. Она молола зерно, получила мука...

Вот река перед нами. Но это уже не Висла, сказала мать. На лугу паслись коровы — рыжие, черные, с пятнами. Они щипали траву. И овец мы увидели. Казалось, мир был похож на раскрытое Пятикнижие. Луна и одиннадцать звезд появились на небе, сошли вниз и поклонились Иосифу, будущему правителю Египта.

Наступил вечер. Мы приехали в Ивангород. На вокзале горели фонари. Здесь граница. Вот и переезд. Мы уже в Австрии, сказала мать. На станции полно солдат. Они не такие высокие, не такие широкоплечие, не с такой хорошей выправкой, как немцы. Много бородатых. И даже на евреев некоторые похожи. Они в ботинках, а выше — обмотки. Не в сапогах, как немцы. Шум, крик, суматоха. Похоже на второй день праздников в Радзиминской синагоге. Все говорят, перебивая друг друга, размахивают руками, курят. Я почувствовал себя дома. «Сыграем в шахматы», — предложил я брату. Мы же не знали, долго ли нам тут сидеть.

Лишь только мы достали шахматы и сели за доску, нас окружили солдаты, даже какие-то нижние чины там были. Еврейские солдаты спросили: «Вы откуда?» — «Из Варшавы». — «А едете куда?» — «В Билгорай. Наш дедушка билгорайский раввин».

Солдат с бородой сказал, что бывал в Билгореае и знает тамошнего раввина.

Один солдат встал позади меня и показывал, как ходить, а другой помогал Мойше. Получалось, что солдаты играют в шахматы, а мы с братом только передвигаем фигуры. Мать смотрела на нас с гордостью и волнением. Солдаты эти были галицийские евреи. Наверно, они в субботу надевали на го-

лову традиционный штреймл и талес из чистой козьей шерсти. Их идиш был более приятен, звучал более певуче, чем тот, на котором говорили в Варшаве. Один из солдат разрешил брату потрогать саблю и даже примерить фуражку. Не помню, где и как мы провели эту ночь. На следующий день мы уже опять ехали в полупустом поезде. Ехали в Реховец.

В Реховце был лагерь для пленных. Там я увидел русских солдат. Оборванных, нечесанных, хоть и в русской военной форме. Австрийцы смеялись над ними. И австрийцы, и русские собрались возле склада с провиантом. Его охранял еврей с подстриженной бородой. Кроме моей матери, там была еще одна женщина — жена этого самого сторожа. Все мужчины уставились на нее с нескрываемым вожделением. Улыбаясь и краснея, она едва поднимала глаза, глядела кокетливо, наливала пиво в подставленные кружки. Муж взирал на все это весьма сурово и мрачно. Ясно было каждому — его снедает жгучая ревность.

Коверкая слова, русские говорили на ломаном немецком. Звучало почти как идиш. Среди пленных солдат тоже были евреи. Эти говорили на идиш.

Русские строили здесь новую железнодорожную ветку — от Реховца до Звежинца. Когда мы двинулись дальше, русские опять работали. Раньше, при царе Николае, тут рубили лес. Казаки выучили идиш. Каждому понятно — Мессия уже побывал здесь.

В БИЛГОРАЕ

Обуглившиеся, полустгоревшие деревья, даже целые рощи. Редко-редко среди них попадаются такие, на которых еще уцелели зеленеющие ветки. Это печальный след войны, результат отступления русской армии. Мы уже три дня едем на поезде. Но я смотрю в окно с неослабевающим интересом: поля, леса и сады, сады... Деревни, села и снова города и сады. Вот дерево, воздев кверху ветви, будто молит небо... о чем? Вот другое — ветки до самой земли — оно безутешно, оно оставило всякую надежду, разве что сама земля поможет... А вот еще одно, совершенно черное. Умирает это дерево или еще надеется выжить — кто ж знает. Жертва войны. Лишь корни остались. Мысли мои поспешали за колесами, не успевая следить за каждым деревом, кустом, каждым облаком, что проплывали мимо. Аромат хвои смешивался с другими запахами — неведомыми прежде, и почему-то все же знакомыми, хотя я и не понимал откуда. Мне хотелось, как герою какой-то книжки, выпрыгнуть на ходу из поезда и затеряться среди этого зеленого великолепия.

Небольшую одноколейку недавно проложили от Звезинца до Билгорая. Ее пока не достроили, но уже всюю ею пользовались. Наш состав — очень маленький, просто-таки игрушечный паровоз с крошечными же колесами, а за ним — не

вагоны даже, а низкие платформы. На них — скамьи, где и рассаживались билгорайские пассажиры.

Все такие загорелые, и одежда на солнце выцвела. Мужчины в длиннополых лапсердаках, сплошь рыжие бороды. Это вызывало чувство родства, симпатии.

«Башева... — проговорил кто-то. — Раввина нашего Башева...»

Я знал, что так зовут мою мать, но никогда не слышал иного к ней обращения, кроме как: «Слушай сюда...» — так обращался к ней отец. У хасидов не положено называть женщину по имени. Я знал, что Башева — имя из Библии. Мальчишки в хедере произносили, бывало, имена матерей, но имя своей матери я произносить стеснялся — оно наводило на непристойные мысли о грехе царя Давида.

А здесь говорили ей «ты», называли — Башева, женщины обнимали ее, целовали. Матери пришлось однажды, что отец ее умер, но мы не знали этого наверняка. И вот теперь она спросила: «Когда это случилось? Как?»

Все замолчали. А потом разом заговорили: об отце, о матери рассказали, о невестке, жене дяди Иосифа. Дедушка скончался в Люблине, а спустя несколько месяцев умерла в Билгорае бабушка. Сара и ее дочь Ителе умерли от холеры. Умер Езекиель, сын дяди Иче. И Дебора, дочь тети Тойбы, тоже умерла.

В ослепительный солнечный день, в этом зеленом раю, среди сосновых лесов обрушились на мать печальные вести, и она, не выдержав, зарыдала. Я тоже хотел заплакать: наверное, так полагалось, но слезы не приходили. Я уж хитрил, тер глаза слюной — а никто даже не обращал внимания, плачу я или нет.

Внезапно все вдруг закричали. Что такое? Оказалось, задние платформы сошли с рельсов. Пришлось ждать, пока их поставят — при помощи длинных шестов — обратно на рельсы. Все сошлись на том, что в эту субботу надобно будет вознести молитву за благополучное избавление. Бывало, при подобных обстоятельствах пассажиры и погибали, — что-то было не так на этой однопутной железной дороге, между Звездинцем и Билгораем, удивительные пейзажи. Леса, поля, луга проплывали мимо. Иногда мелькнет хата с соломенной крышей или же мазанка, крытая гонтом. Поезд то и дело останавливался: одному хотелось выпить, другому — отойти в кусты, а то машинист должен был выгрузить почту и посылки или же просто поболтать с кем-нибудь из живущих близ дороги. Евреи — так невольно получалось — обходились с машинистом вроде как с шабес-гем, что приходит в еврейский дом по субботам: затопить печь и прочее, что придется и чего нельзя делать еврею. Без конца по разным поводам просили его остановиться. Раз, когда стояли особенно долго, из бедной халупы близ дороги вышла еврейка: босая, но с покрытой головой. Подала матери лукошко с черной смородиной, еще влажной от росы. Узнав, что приехала Башева, дочь рабби, она принесла гостинец. Матери кусок не шел в горло, поэтому брат Мойша и я съели все до последней ягоды, измазав губы, языки, руки. Голодные годы давали себя знать.

Мать столько раз расхваливала Билгорай, но городок оказался даже лучше, чем я представлял его по рассказам. Куда только доставал глаз, Билгорай сосновой лентой окружали леса. Дома утопали в садах. Перед каждым домом каштан, да такой огромный, что в Варшаве я подобных не видел

ни разу, даже в Саксонском саду. Было ощущение необыкновенной ясности и безмятежности — такого мне еще не приходилось испытывать. Пахло парным молоком, свежее испеченным хлебом. Кажалось, войны и эпидемии обошли этот благословенный край стороной.

Дом деда — старый бревенчатый дом, беленый, с замшелой крышей, лавочками перед окнами — располагался неподалеку от синагоги. Вся семья вышла нам навстречу. Первым выбежал дядя Иосиф — он теперь занял место деда в Билгоре. Дядя Иосиф не ходил, только бегал. Был худ и сильно горбился. Нос, словно клочок, изогнут, большие глаза — взгляд, как у птицы. Серебряная борода. Одет в лапсердак, какой полагается раввину, на голове штреймл с широкими полями и низкой тульей, на ногах низкие туфли и белые чулки. Не пошеловав еще мать, он уже закричал: Башева!

За ним вперевалку выступала тетя Ентл, его третья жена — крупная, плотная женщина. Вторая жена умерла полтора года назад, во время эпидемии холеры, а первой он лишился, когда ему было лишь шестнадцать. Тетя Ентл — дородная, спокойная, а дядя Иосиф, напротив, тощий и подвижный, как ртуть. Ей больше подходило называться раввиной, чем ему — раввином. Целая орда красногловых детей следовала за ней. Я — и сам огненно-рыжий — никогда не видал столько ярко-рыжих голов сразу. И в хедере, и в бейт-мидраше, и во дворе — всюду моя рыжая голова была в диковинку. Как были в диковинку имя матери, занятие отца, талант брата. А здесь такое скопище рыжих! Броха, дочь дяди — та была рыжей из рыжих!

Меня повели в огромную кухню, и печь там, как в пекарне. Все, все здесь словно чудо какое-то. Тетя

Ентл сама пекла хлеб. В печке стоял еще таганок, на нем чугуны, и в нем что-то варилось, кипело. На столе — огромная сахарная голова, мухи так и вились над ней. Непередаваемый аромат свежее испеченного каравая... Пирожки со сливовой начинкой — неземного, райского вкуса. Тоже тетя испекла. Братья Аврумеле и Самсон увели меня во двор. Там — заросли крапивы, лопухи, одуванчики, пестрый цветочный ковер. И деревья. Потом мы спали на веранде. Я улегся на соломенном матрасе, и казалось — никогда не купался я в такой роскоши. Звенели птичьи голоса. Стрекотали кузнечики, в ушах звенело. Цыплята разгуливали в траве, а стоило поднять голову — перед глазами билгорайская синагога. За ней поля, а дальше — леса, леса до самого горизонта. Поля — квадраты, треугольники, темно-зеленые, желтые... Всех цветов, любого оттенка. И желал я теперь лишь одного — остаться в Билгорае навсегда.

МОЯ РОДНЯ

Далеко не сразу смог я разобраться в моих вновь обретенных родственниках: дядьях, тетках, двоюродных братьях и сестрах. Никого из них я не знал прежде. Но постепенно я освоился и стал понимать, кто есть кто. Мне хотелось бы немного рассказать о них.

Наиболее примечательной фигурой был дядя Иосиф — билгорайский рабби. Он был на десять лет старше моей матери и всего на пятнадцать лет младше своего отца. Дядя Иосиф и мой дед, можно сказать, вместе росли, вместе выросли и старились, потом и поседели одновременно. Казалось, признаки возраста были более явно выражены у сына. Он и ссутулился еще смолоду. Суетливый, тощий, прямо-таки чахлый какой-то. Известен был как ученый, математик, человек увлекающийся. Однако же было в этом что-то легковесное. Сара, вторая его жена, была из простых, из торгового сословия. Но он влюбился в нее по-настоящему, засылал сватов, чтобы все шло как положено. А теперь, после ее смерти, снова женился. Дядя Иосиф производил впечатление человека, глубоко погруженного в свои мысли. Морщины прорезали его великолепный высокий лоб. Но вот он открывает рот. И речи его поразительно бессмысленны. Вроде: «Интересно, сколько получает Моше-банщик?» или же «Сколько пшени-

цы съедает гусь от рождения до смерти, хотел бы я знать!»

Дедушка очень любил этого своего старшего сына, прямо души в нем не чаял, но потом разочаровался в нем: у него были потрясающие способности, мог стать великим талмудистом. Но дядя Иосиф упорно не желал учиться. Вместо этого он целыми днями занимался тем, что обсуждал всякие толки и пересуды, что бродили в семействе, перемалывал ссоры и недоразумения, которые происходили среди родных. При этом он был очень предан семье, и если кто заболел, особенно дети, дядя безостановочно ходил по комнате и молился, молился... Его речитатив звучал как сплошное рыдание. А в общем он был скептик, человек весьма острого ума. Прекрасно разбирался в запутанных делах купцов, торговцев, всегда мог рассудить их между собой. Поначалу Билгорай был весьма разочарован, получив дядю Иосифа в раввины, — это после дедушки-то! Но все как-то обошлось. У него почти не было врагов. Он умел привести к согласию тяжущиеся стороны и уладить любые противоречия.

Ентл, третья жена — единственная из его жен, которую я знал, перед тем тоже дважды была замужем. Это была простая женщина. Из таких, что могла бы жить сто лет назад, а может и больше. Страшной ее трагедией было бесплодие. Пока была помоложе, ездила от одного цадика к другому, веря их обещаниям, что вот-вот понесет. Несмотря на постоянные дядины шуточки и подтрунивания, она относилась к нему с неизменным уважением. Иногда пыталась даже оправдать его — ведь она всего лишь простая женщина и, конечно, не пара своему мужу. И все же от нее можно было ус-

лышать: «Я желаю ему долгой жизни, пусть живет до ста двадцати лет. Но он так мучает меня...»

Старшая дочь дяди Иосифа Фрида — от первого брака — осталась с семьей матери в России. Про нее мало что было известно, она редко писала. Однако же притчей во языцех была именно Фрида — мол, умная она ужасно и потрясающе образованная.

Все остальные дети родились от Сары — второй жены. У всех у них, за единственным исключением, были огненно-рыжие волосы.

В то время, что мы приехали в Билгорай, один из сыновей — Шолем — был уже женат и жил в Томашове в доме жены. Остальные же: Аврумеле, Броха, Тайбл, Самсон и Эстер — в родительском доме в Билгорае.

В родне поговаривали, что если б дядя Иосиф женился на ровне, дети получились бы — чистые бриллианты! Но Сара была простая женщина, и дети пошли в мать.

Двадцатидвухлетний Аврумеле, добродушный, огненно-рыжий, находился в полном подчинении у отца. Дядя Иосиф сам-то почти не учился, а потому где уж ему настоять, чтобы учились дети. Аврумеле то отправлялся в Туриск, в тамошний ешибот, то опять домой приезжал. Дома он колол дрова, носил воду с колодца, исполнял и всякую другую черную работу.

Следующая по возрасту — Броха. Ее уже просватали. Волосы у нее были немного светлее, чем у брата, но все равно ярко-рыжие. И ослепительно белая кожа. На своей швейной машинке она обшивала весь Билгорай, фактически содержала своими заработками отца. Он же был груб с ней, вел себя бесцеремонно, осыпал оскорблениями без конца.

Впрочем, так же обращался он и с другими детьми — даже с чужими.

Дальше шла шестнадцатилетняя Тайбл. Высокая, дородная. Огненно-рыжая. Но какая-то сырая и болезненная: косоглазие, нервный тик, постоянные истерики — вопила как одержимая, будто у нее болит все, что только можно представить. Однако же, если чувствовала себя хорошо, была неизменно добра ко всем и исполняла любую работу. Старый доктор Грушинский говорил про ее хвори: «Нервы!» — и прописывал успокоительное.

Самсон — единственный, кто остался в живых после Холокоста* — был мой ровесник. Лишь у него были темные волосы. Этот скромный, спокойный, славный мальчик не особенно интересовался книжками. Как и Аврумеле, он рубил дрова, носил воду, бегал по поручениям, исполняя многочисленные сумасбродные причуды дяди Иосифа. Боялся отца до смерти. Характер дяди бывал иногда просто непереносим. И тогда Самсон немел от одного его вздоха, одного движения, начинал заикаться и бормотать что-то нечленораздельное.

Эстер, самая младшая, впоследствии сыграла некоторую роль в моей жизни. А тогда ей исполнилось лет восемь. Лишь она одна что-то унаследовала от необыкновенных способностей отца, от его живого и острого ума. Однако же по характеру была мягкая и ласковая. Рыжие свои волосы заплетала в косички. При австрийцах ходила в городскую школу. У галицийских хасидов счита-

* Холокост (*греч.*), или Шоа (*иврит*) — геноцид, осуществленный гитлеровским режимом во время Второй мировой войны. Методическое и жестокое уничтожение евреев (6 млн.) не имеет прецедентов и считается величайшим преступлением XX века, из каждых трех евреев двое были убиты.

лось зазорным посылать мальчиков в нерелигиозную школу. Туда посылали только девочек — что ж, попала крупница Просвещения и в дом дяди Иосифа. Отец обожал Эстер, часто играл с дочкой, любил пошутить, рассмешить ее разными забавными загадками. Впрочем, несмотря на такую безоглядную любовь отца, Эстер вела себя достойно и не пользовалась своим особым положением.

Теперь о семье дяди Иче. Он был моложе дяди Иосифа на четырнадцать лет, и его темные волосы в то время еще не поседел. Из-под кустистых бровей смотрели на собеседника пронизательные глаза. Борода почему-то — светлая. Был он очень религиозен, однако же большой скептик и весьма остер на язык, как и старший брат. Он служил казенным раввином, знал русский, выписывал газету из Петербурга. На протяжении многих лет братья не ладили. Видимо, из-за того, что отец относился к ним неровно: хотя Иосиф и был старший, первенец, любимчиком родителей стал Иче, особенно мать его отличала. У дяди Иче и жены его Рохеле, дочери знаменитого рабби Рахова, родились два сына. Младший умер во время эпидемии, и состояние родителей невозможно было описать — неизбывное горе. Дядя Иче восстал на Бога и на весь белый свет. Тетя Рохеле, и без того не отличавшаяся жизнерадостностью, стала еще мрачнее, чем прежде, только жаловалась и причитала по любому поводу и без повода. Она словно все еще жила во времена Средневековья: верила в черную магию, в амулеты, привидения, а покойники для нее были все равно что живые. Боялась злых сил, жаловалась на невестку, которой давно уж не было в живых, требовала, чтоб дедушка проклял тех, кто ее обижает.

Мошеле, другой их сын, был хорош собою: благородная осанка, глаза с поволокой. Очень слабого здоровья, робкий, простоватый. Даже в жаркий день ему не дозволялось выйти из дому без верхней одежды: «Боже упаси, не схватить бы насморк!» — постоянно повторяла мать. «Не упасть бы.. не вспотеть бы...» И постоянно пичкала его печеньем с теплым молоком. Другие дети — племянники и племянницы — насмехались над тем, как Рохеле буквально квохчет и машет крыльями над сыном.

Помимо этого, были еще и взрослые дети тети Сары — она поселилась недалеко от Билгорая, в Тарногороде со своим вторым мужем. Жили и другие родственники в самом Билгорае. В Варшаве я был просто мальчик — один из мальчишек, идущих по улице. Здесь же каждый знал меня, знал и моих предков.

Вроде бы вся родня старалась, чтобы нам хорошо жилось в Билгорае. За этим стояло, однако, много горечи и обид. Согласно Моисееву закону, имущество наследуют сыновья. И потому мои дядя забрали все, вплоть до бабушкиных украшений и драгоценностей. Тетя Сара и Тайбл вышли замуж, уехали из Билгорая. Но мать очень расстраивалась из-за того, что ей достались лишь старые платья и салоны ее матери.

А еще они боялись конкуренции — боялись приезда моего отца. Дядя Иосиф занимал место деда, дядя Иче — казенный раввин, и зачем им еще один раввин в местечке. Кроме того, были и другие сложности, на которые они постоянно жаловались матери: дело в том, что рудницкие хасиды выбрали своего раввина, тем самым у дедушки стало меньше последователей.

Даже мне бросалось в глаза, что, как и в Варшаве, слишком много тут раввинов, много канторов, шамесов... Для них не хватало евреев!... Перед войной город торговал решетами. Их везли в Россию, даже в Китай! Но теперь и этот скромный русский рынок был потерян. Правда, австрийцы строили железную дорогу, и многие там работали. Но строительство должно же когда-нибудь кончиться — не может оно продолжаться вечно.

А тем временем настало лето. Крестьяне несли на продажу чернику и грибы. Очень дешево все это стоило. Австрийцы, венгры, чехи, поляки, босняки — солдаты становились на постой в еврейские дома. Это тоже был источник дохода. Еще торговали контрабандным табаком, привозили из Галиции...

Но евреи в Билгорае жили, как всегда, не очень-то уверенно, на ощупь — горечь диаспоры довлела над ними.

ТЕТЯ ЕНТЛ

— Золотко мое! — сказала тетя Ентл моей матери. — Святые цадики спасли мне жизнь. Что бы со мною случилось без этих святых людей? Мой первый муж очень хотел детей, а я все не могла понести. Десять лет прошло, и люди советовали ему развестись. «Ты — бесплодная смоковница», — так свекровь говорила. Ну что ж, она хотела свое получить. Дети являются на свет в родовых муках, растут в трудах и заботах, но внуки — это чистая прибыль. «Что же мне делать? Что я могу? — так я говорила. — Если б слезы могли помочь делу, целый бочонок бы наплакала». Ой, как я рыдала! По ночам подушка промокала от слез. «По закону ты можешь развестись со мной, — говорила я мужу, — это все я виновата».

А он мне: «Как я могу знать? Может, из-за меня это. Да ты мне дороже дюжины детей, как сказано в Тойре».

И все-таки я поехала в Туриск. Ты и представить себе не можешь, что это такое, Башева. У рабби стоит серебряная ханукийя размером вот с эту стену, а лицо сияет будто ангельский лик. Женщинам позволено являться в Туриск. Где еще такое видано? Только непросто все это. Несколько дней надо ждать, чтоб предстать перед ним. А я как вошла — слова не вымолвить, да и только. А потом зарыдала. Рыдала и рыдала: «Рабби, какая я несча-

стная!...» Этот святой человек сразу понял, о чем я... Говорит: «Поезжай домой, помощь придет».

— И у тебя родился ребенок, Ентл?

— Нет.

— Но по крайней мере, он подал мне надежду. Укрепил мой дух. Видно, такая уж моя судьба. Какая, должно быть, я грешница... Сам святой человек желал мне добра, и ничего... После смерти мужа я не хотела замуж. Все плакала и плакала. Но сколько человек может быть один? Первый мой муж был человек удивительный. Будто ни костей, ни плоти в нем не было. Я могла уехать на несколько дней и не кормить его. А он и не заметит даже. Никогда не жаловался. А второй, хоть я и должна его почитать, был прямо сумасшедший. Чума какая-то. Никогда не видела, чтоб в человеке было столько зла. Не могу сказать, что меня не предупредили. Люди говорили: «Пожалеешь, Ентл. Злой, дурной человек». Но чему быть, того не миновать. Я вышла за него. За вдовца вышла. Угодить ему было невозможно. Все-то я делала не так. И обед не так готовила. Думала, с ума сойду. Дед мой, бывало, говорил: «У кого спина широкая, все снесет...» Он чуть ли не убивал меня, а я все терпела. Думаю, такое мне досталось в наказание за мои грехи. У него осталась дочь от первого брака, и ему было даже на руку, что у нас детей нет. Одной дочери хватит, не хочет он больше детей. Так он говорил. Все-то он ворчал, все кричал на меня, по-другому не мог разговаривать. Неделями в лесу пропадал, потому как лесом он торговал. В Турбине мы тогда жили. У нас был собственный дом, прямо усадьба, и кладовка всегда полна... Я держала корову. Целый двор кур, уток, гусей... Больше, чем требуется одной семье. Евреи приходили ко

мне. Всякие — и бедные, и не очень. Никто не уходил с пустыми руками. Они благословляли меня, желали добра, но уж что суждено... Муж страшно злился и ругался, когда домой приходил: «Что все эти попрошайки тут делают? А ну гони их в шею!»

Но я отвечала ему: «Нам только выгода от этого. Что ты возьмешь с собой в могилу, кроме добрых дел?» Так мы двадцать лет и прожили. Здоровый он был. Крепкий как железо. С размаху мог стол кулаком расколоть. И вдруг так ослабел, так ослабел — на ногах не стоит. В Люблин к докторам ездил, да все без толку. Видно, время его пришло. Несколько месяцев он промучался. Потом умер. Я не хотела замуж выходить. Два раза — хватит с меня.

Время было военное, и опять начали советовать мне: один — одно, другой — другое. Все, что он оставил мне, — так дочка его с мужем забрали и из дому меня выгнали. Я уехала к брату в Бышц. Маленькая деревня такая. Только мне не нравилось жить среди мужиков, без суббот, без праздников. Хочется услышать слово-другое по-еврейски, послушать в синагоге ученого человека, что раввин скажет... Сваты проходу не давали. И вот они стали сватать меня твоему брату, реб Иосифу, билгорайскому рабби. Я все про него знала. Знала, какой он раздражительный, вечно требует чего-то. Но подумала: «Наверно, уж не хуже моего последнего муженька».

Устроили нам встречу, чтоб я посмотреть на него могла. Пришла в дом, а он спит — так мне сказали. Ну что ж, подожду. Так я сказала. Выходит Тайбеле и говорит: «Не спит он еще. Зайдите и поговорите с ним». Первое, что в глаза бросилось, — на кровати рядом с ним лежит повязка, что-то вроде бандажа при грыже. Хорошенький прием для невеселы, подумала я. Но кто может выбирать в нашем-то

возрасте? Хорошо еще, что вообще жива. И на том спасибо. Вот как я третий раз замуж пошла. Ох, горе, горе! Вой-ва-авой! Здоровье еще у него — ого-го!

Так говорила моя тетя Ентл. Часами мог ее слушать. То и дело одна история переплеталась с другой, и невозможно было понять, где кончается одна и начинается другая.

Броха-портниха, моя двоюродная сестра, говорила, будто вышивала. Она больше любила трагические истории. Особенно часто вспоминала ту эпидемию холеры, когда умерли две наши сестры.

Броха, бывало, матери рассказывает:

— И не поймешь, не объяснишь, как все это вышло. Шестьсот человек! Подумать только! И неизвестно, кто следующий, чья теперь очередь. Сейчас ты здоров, а вот уже судорога ногу свела. И ничего не сделаешь. Единственное средство — растирать водкой. Но тут сильные руки нужны да и водку не достать. И тут стало ясно, кто хороший человек, по-настоящему добрый, а кто только притворялся. Кого раньше считали никчемным, сидел ночь напролет, массируя больного, а к утру сам больной валился. А кто разыгрывал только из себя такого да всякого, те попрятались. Но от Бога не спрячешься.

Кто заболел, все умерли. Наверно, и десяти не наберется тех, что выздоровели. Вначале устраивали еще похороны, а потом уж некому было рыть могилу, никто не смел обмыть тело. Австрийцы приказали все трупы сваливать в ямы и засыпать известью. Даже без саванов. Сегодня вы говорите с человеком, а назавтра он уже в земле. Сколько же стоит жизнь человеческая, а, тетя? Не больше, чем червяка и мухи, да? Когда заболел Геня-богач, многие злорадствовали: «Ага! Мир не только для богатых», — так они говорили. Но смерть не разбирает,

кто богатый, а кто бедный. Столько больных — это было уж слишком для доктора Грушинского. Только люди не хотели идти к военному доктору, потому что тогда отправляли в госпиталь. А там умирали. Умирали от жажды. Некому было ни глоток воды подать, ни водкой растереть. Один больной дотянулся до помойного ведра, напился оттуда — и умер на месте. Ну а что делать, когда все внутри горит? Они даже не обращали внимания, покойник еврей или нет. Хоронили всех вместе прямо в одежде. На дорогах караулили солдаты: никого из города не выпускали, чтоб холера дальше не пошла. Старика-нищему сказали, чтоб обратно возвращался, да только у него сил уже на это не оставалось. Тогда они содрали с него лохмотья да и вымыли прямо в колодце. Может, смешно было бы, если б не такая ужасная трагедия.

Только от судьбы не уйти, тетя. Многие пытались слушать докторов: не есть сырых овощей и фруктов, пить только водку и кипяченую воду. Но и это их не спасло. А другие, наоборот, ели яблоки, ели груши. Тех судьба пощадила. Говорили, что они сильнее, здоровее... Но и здоровые умирали даже раньше...

Женщины шли на кладбище, измеряли могилы веревкой, а потом использовали их как фитили для свечей в синагоге. Считалось большой удачей выйти замуж за сироту на кладбище. Иоселе Генделе и... нет, тетя, ты ее не знаешь. Люди совсем помешались, даже танцевали на той свадьбе. Мальчишки носились вокруг, прямо дикие какие-то. Вот свадебный балдахин, а вот рядом могилу роют... Каждое утро, как проснусь, спрашиваю себя: «Что, жива еще разве?» И в самом деле не знала. Думала, такое может случиться с кем угодно, только не с Ителе.

И Броха рассказала, как заболела ее сестра Ителе и еще одна сестра. Только уже не помню сейчас, умерли они одновременно или нет. Одна умерла точно от тифа.

Слушая ее, мать иногда спрашивала про кого-нибудь. И Броха отвечала: «Уж на том свете!»

— Вой-ва-авой!

— Уж трава выросла на ее могиле.

Мать качает головой, глубокая печаль в ее глазах, обычно серых, а иногда ярко-синих. Лицо бледное, с резкими чертами, лицо человека, который много и напряженно думает.

Тут вдруг выходит из комнаты дядя Иосиф:

— Хватит уже! — набрасывается он на дочь.—

Шей давай!

— Шью.

— Где Самсон?

— На что он тебе?

— Закурить хочу.

Он был заядлый курильщик, но у него никогда не оказывалось спичек под рукой. Аврумеле или Самсон подносили ему спичку. Вел себя дядя так, будто он помещик, а дети — его крепостные.

Меня спросил:

— Эй ты! Когда в свою Варшаву уедешь?

Но ответа ждать не стал, убежал к себе.

ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА

В Билгорае почти все мальчики ходили в большой бейт-мидраш, а я — нет. Хасидам, последователям моего деда, принадлежал другой бейт-мидраш — маленький. Вот туда я и ходил. Он уединенно стоял на горке, и там было все, что нужно: большая, обмазанная глиной и побеленная печка, столы, лавки, полки с книгами. Кроме того, там почти весь день было пусто, потому что хасиды приходили туда молиться лишь утром и вечером. Мы должны были заниматься втроем: я, мой двоюродный брат Самсон и еще один, Беньямин Брезель. Оба — мои ровесники, но я сильно обогнал их, уже начал изучать Талмуд. Болтали мы больше, чем учились. Я рассказывал, какой огромный город Варшава, как там повсюду ходит конка и трамвай, про магазин на Маршалковской, про модные лавки на улице Новый Свят, а они преподносили мне разные разности про Билгорай. Оставшись один, я пролистывал, бегло просматривая, книги на полках — хотел найти что-нибудь вроде того, что удавалось читать в Варшаве. Конечно, «Море Невухим» Моисея Маймонида*, «Кузари»**, каббалис-

* «Море Невухим» — «Путеводитель для заблудших», сочинение Моисея Маймонида (Рамбама), средневекового ученого, врача и философа (1135–1204).

** «Кузари» — религиозно-философское сочинение средневекового поэта Иегуды Галеви (1080–1142).

тические книги тоже интересовали меня, но жажда современных, научных знаний была столь неутолима, что я чуть ли не проклинал все это старье.

Когда мы приехали в Билгорай, там каждый еврей, или почти каждый, молился три раза на дню, и едва ли нашлась хотя бы одна замужняя женщина, которая не брила голову, не носила чепец или платок. И даже парик! Простые евреи более строго соблюдали закон, чем образованные. В канун новолуния каждый читал покаянные молитвы Судного дня. Каждый понедельник и четверг многие держали пост — поднимались спозаранку и, горько рыдая, возносили молитвы Господу — в других общинах давно уж позабыто такое, отошло в прошлое. «Маскилим» — «просвещенцев» можно было найти в Томашове, в Щебрешине, а в Билгорае даже «маскилы» ходили в долгополых лапсердаках и не пропускали ни одной молитвы. Газеты на идиш были здесь в диковину, а про Переца никто и не слышивал, хотя он где-то здесь родился, в этих краях. Мой дед считал, что Билгорай огражден от искушений и соблазнов — расстояние, отделяющее городок от железной дороги, еще более способствовало этому. Пока не пришли австрийцы, многие в Билгорае ни разу не видели поезда.

Идиш, который звучал здесь, манера вести себя, обычаи — все, чему я был свидетелем, — выжило, осталось таким, каким было еще в стародавние, в незапамятные времена. И тем не менее: жили тут сестры, они открыли на Песках, у кладбища, бордель. Туда ходили австрияки, мадьяры, чехи, босняки, солдаты из Герцеговины. Военный врач инспектировал солдат, чтобы они не подхватили инфекцию, соблюдали осторожность, а девушкам предписано было надевать на голову платок. Я ви-

дел их — иногда они проходили мимо синагоги. Их отец — простой человек — очень переживал, страдал ужасно. Мне случилось присутствовать при том, как дядя оформлял развод старшей из сестер — ее муж уехал в Америку и прислал разводное письмо по почте.

Да, порок существует и в Билгоре — с удивлением наблюдал я — и даже имеет своих приверженцев.

Многое происходило тайно. Прошли годы, прежде чем я узнал, что кое-кто из рабочих в Билгоре — члены Бунда* — участвовали в забастовках и демонстрациях в 1905 году. Никто здесь не подозревал, что в Австрии социалисты существуют вполне открыто — здешние окружали это учение атмосферой таинственности. Были в Билгоре и поклонники сионизма — но тогда сионизм не играл большой роли в политике.

Тодрос-часовщик, хотя и одевался традиционно, как положено хасиду, слыл столпом Просвещения. Про него я слышал еще в Варшаве: ученик моего деда, вундеркинд, светлая голова, вдруг забросил занятия, выучился на часовщика, развелся с женой, тихой, богобоязненной, и женился на современной девушке, которая и слышать не желала про парик. По субботам нет чтобы пойти в синагогу или же бейт-мидраш и возносить молитвы. Он отправлялся к портным, читал свиток: без ошибок, слово в слово, и пел — был у них кантором. Тодрос был хороший часовых дел мастер. Да еще играл на скрипке, дружил с местными клезмерами. Детей своих учил на современный лад. Я видел его на

* Бунд — еврейская социалистическая партия в России, потом в Польше и США. Основан на нелегальном съезде в Вильне в 1897 г.; вначале входил в состав РСДРП.

улице — низенький, сгорбленный, с маленькой черной бородкой, с умными, выразительными, большими еврейскими глазами — что-то вроде Мендельсона* или Спинозы (хотя эти двое совсем не походили друг на друга). Еврея с лицом такого типа можно найти в любой части света. Такое лицо было у Эйнштейна, Герцля — и у Тодроса-часовщика. Было нечто в выражении его глаз, что очень занимало меня. Влекло к нему, хотелось заговорить, но меня предупредили: если я это сделаю, навеки буду сам опозорен и репутация моих родственников пострадает. Да и застенчив я был невероятно. Что-то останавливало меня всякий раз. Упомянуть о нем — и то считалось неслыханной дерзостью и крамолой! Моше, сын моего родственника Эли, приходил к нему в бейт-мидраш по субботам. Прошел год, прежде чем мы, внуки одного деда, обменялись хоть словом. Даже в известном анекдоте об англичанах те не ведут себя столь чопорно, как мы — два еврейских мальчика в Польше. Трудно поверить, но так было.

Как-то раз, в пятницу, в конце лета — шел месяц Ав, а может Элул, — тетя дала мне стакан чаю и кусочек пиленого сахара. Сахар оказался безвкусным, и я подумал: может, меня разыгрывают? Может, это мел? А потом рассказал об этом Самсону. Он рассмеялся и поддразнил меня: «Конечно, только в Варшаве сладкий сахар...» Наверно, я слишком хвастался Варшавой. Или может, смеялся над Билгораем?

Я вышел во двор и уселся под навесом сарая. В руках — русский словарь. Это была единствен-

* Моисей Мендельсон (1729–1786) — крупнейший еврейский философ нового времени, литератор, просветитель, основоположник движения еврейского просвещения — Гаскалы.

ная нерелигиозная книга, которую удалось найти в доме. Осталась еще со времен русской оккупации — дяде нужен был словарь для подготовки к экзамену. Заниматься я не смог. Буквы плясали перед глазами. Лихорадило. Оказалось, тиф. Несколько недель провел между жизнью и смертью. Меня лечил военный врач: гигантского роста мужчина с огромными ручищами — я и представить не мог, что такие бывают, разве что у грузчика или балагулы*. Был он чех: со мной, с матерью, дядей говорил по-немецки.

Я метался в бреду, мучительные видения посещали меня. Одно запомнилось полной своей нелепостью. Три деревенские бабы ухватились, повисли на моей шее и пытались стащить вниз. Я спросил у матери, зачем это они.

— Тебе только кажется, бедное мое дитя, — ответила мать. — У тебя лихорадка. Ты бредишь.

— Нет, они висят у меня на шее.

— Ну откуда здесь деревенские бабы? Хлѳпки?! Вот несчастье. Бедный ребенок!

Наконец я стал возвращаться к жизни. От слабости едва мог ходить. Учился заново. Как маленький ребенок. Это непривычное, неизведенное ощущение очень занимало меня. Примерно в это время из Варшавы пришло письмо: мой брат Израиль Иошуа тоже болен тифом. Мать разрывалась от беспокойства. Но что она могла? Только молиться.

В Билгореае мне довелось увидеть, как проходит Йом-Кипур — вернее, как на протяжении веков проходил этот праздник, из года в год. В канун Судного дня весь город рыдал. Никогда прежде не слы-

* Балагула — владелец повозки, извозчик.

хал я подобных стенаний. Да, у городка были на то свои причины: много молодых мужчин погибло на войне, потом эпидемия холеры унесла много жизней, остались вдовы и сироты. Я перепугался даже, когда зашел во двор большой синагоги, а там — скамеечки, скамеечки, на них большие блюда, блюда поменьше, тарелки, блюдечки, все это для праздничных воздаяний, я понимал, но позади... огромная толпа калек и нищих. Тут и просто старики, и парализованные, и увечные. И каждый свое увечье выставляет напоказ. В синагоге молились, все в белом, в талесах. Юноша, стоящий у порога, взывал к небу особенно отчаянно — он только что потерял отца. Ему говорили: «Может, уже не надо так рыдать?..» «Ах, отец, отец, для чего ты покинул нас?» — вопрошал юноша.

Это было старинное здание. Арка вырезана итальянским мастером. На одной из стен висит маца, которую едят в конце пасхального седера, — афикоман. Стоит чаша — металлический сосуд, наполненный песком: туда складывают крайнюю плоть всех обрезанных в местечке детей. Пол застлан соломой.

На кафедре — древние Святые книги, только Бог знает когда напечатанные. И книга покаянных молитв.

В мире еврейской старины я открыл для себя необъятные духовные сокровища. Мне довелось увидеть наше прошлое воочию — я жил в нем. Время двинулось вспять. Я жил в еврейской истории.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Немцы заняли Литву и Украину. И тогда польские евреи, которых война разбросала по России — кого куда, — потянулись обратно. Многие получили разрешение пересечь границу революционной России, и от них мы узнали новости о большевиках.

Шломо Рубинштейн, еврей с белой бородой, одетый хотя и традиционно, но уже как-то по-современному, вернулся в Билгорай. С ним жена и симпатичные, образованные дочери. Сам достаточно просвещенный и при том состоятельный, он был в местечке кем-то вроде неофициального адвоката — ходатая по разным делам. Жил в собственном доме на Базарной.

Вернулись Варшавяки — три сына и две дочери. Отец их соблюдал традиции, даже писал ученые труды. И отец, и мать уже умерли. Сами же дети были прямо напичканы современными идеями.

Был еще Аншель Шур, профессиональный кантор. Он не отрекался от традиции, но на некоторые вещи смотрел по-иному. Приехал из русского городка Рыжина. Дети его говорили на современном иврите. Особенно хорошо старший, Мотл. Его иврит звучал так, будто он только-только из Палестины. И по-русски все они говорили хорошо. Аншель потом заправлял у нас партией ортодоксов.

Эти три семейства наделали много шума — как в большом бейт-мидраше, так и у нас. Кто бы мог

подумать, что в Билгореае может вдруг оказаться столько «маскилов» сразу!? Были даже мальчики и девочки, которые учились в польской школе — кто в Люблине, кто в Замостье. Между собой они говорили по-польски. Это была новость: ассимилированные евреи.

Мы с Мотлом встретились у нас в бейт-мидраше, когда он пришел туда помолиться вместе с отцом. Это был крепыш с типично русским лицом: короткий нос, светлые глаза, широкие скулы. Ходил обычно в тужурке и велосипедной кепке. Общительный, добродушный. Но его у нас недолубовали — из-за его невероятного хвастовства. Мотл высмеивал тех, кто молился здесь, — за ошибки в грамматике, за неправильное произношение, обличал фанатизм, ругал за безделье и праздность. Ему дали прозвище «гой», пытались не пускать к нам в синагогу, но его отец вступился за него.

Ну и в переплет я попал! Примкнуть к Мотлу — это неслыханный скандал для наших хасидов. Подумать только — внук билгорайского рабби стал одним из вольнодумцев! Это было бы явное свидетельство моей развращенности.

Когда мы с ним разговорились, я пришел в страшное волнение, аж трясло меня: у него столько книг — и буквари, и учебники, проза, поэзия. Я попросил у него грамматику и набросился на нее с невероятной страстью. Я неплохо знал древнееврейский, но, конечно, имел слабое представление о грамматике. К примеру, совершенно не разбирался в спряжении глаголов. Целых шесть недель по несколько часов в день я занимался — до тех пор, пока не смог писать на иврите. И тогда я написал поэму. С точки зрения поэзии это было так себе, пустое место. Но зато на хорошем иврите.

Мотл страшно удивился. Сперва обвинил меня в плагиате — будто я списал чужое. Но потом, убедившись в оригинальности написанного, преисполнился гордости — и немного ревности.

Ужасно болтливый по натуре, ничего-то Мотл не мог держать в секрете. Направо и налево рассказывал про мою поэму. Выходило так, что поэма — результат его уроков на протяжении шести недель и потому не только я — способный ученик, но и он, Мотл, превосходный учитель. В каком-то смысле так оно и было. Он заражал меня страстной любовью к ивриту, пылким отношением к сионизму. Хороший был человек, с благородным сердцем. Трогательно любил «Ховевей Сион»*, был страстным приверженцем иврита. Годы спустя он погиб. Его убили немцы.

Его восхищение и все эти разговоры доставили мне кучу неприятностей. Подумать только — внук самого рабби увлекся еретическими книжками! Меня распекали все кому не лень, а мать сказала, что я позорю ее и порочу репутацию ее родных. Ей хотелось привезти сюда отца в качестве неофициального рабби. Но кто будет с ним молиться, если у него такой сын?

Я раскаивался в содеянном, стал прилежно заниматься в бейт-мидраше по утрам и вечерами тоже: когда один, когда с другими учениками, когда со своими друзьями. Дядья мои не пытались наставить меня на путь истинный. Во-первых, не в их это было характере. А во-вторых, они совершенно не желали иметь тут, в Билгорае, еще одного раввина — зачем им это нужно?

* «Ховевей Сион» — букв. «возлюбившие Сион» (иврит) — одна из палестинофильских партий в России.

Хасиды были в ярости. Но теперь на меня обратили внимание более современные и по-нынешнему образованные жители местечка — те, кого мой дед долгие годы преследовал. Гаскала — просвещение — пришла в Литву сто лет назад. Билгорай отстал на целый век.

Зима кончилась. Наступило лето 1918 года. Мой брат Израиль Иошуа отправился в Киев — хотел работать там, так или иначе, в идишистской прессе. В Киеве, Харькове, в Минске жили яркие, талантливые писатели: Маркиш, Шварцштейн, Гофштейн, Квитко, Фефер, Харик* и много, много других. Зелиг Меламед основал «Культурную лигу». Украина была на грани погромов. Большевики занимались своими разборками, и междоусобицы эти были весьма разрушительны. Вдруг немцы отступили на Западном фронте. Но собственно Билгорая это не касалось. Какая разница? У солдат форма другая, только и всего. Были казаки, потом австрийцы, мадьяры, босняки, а теперь вот из Герцеговины кто-то там катится через Бил-

* Перец Маркиш (1895–1952) — еврейский поэт, романист и драматург. Писал на идиш. На гражданской панихиде по С. Михоэлсу в 1948 г. прочитал стихотворение, где гибель артиста названа убийством. Арестован 27 января 1949 г., расстрелян 12 августа 1952 г. вместе с другими деятелями еврейской культуры.

Давид Гофштейн (1889–1952) — еврейский поэт, писал на идиш. В 1948 г. был арестован, а 12 августа 1952 г. — расстрелян.

Лев Квитко (1893–1952) — еврейский поэт, писал на идиш. Был членом ЕАК (Антифашистского еврейского комитета). Расстрелян 12 августа 1952 г.

Ицик Фефер (1900–1952) — еврейский поэт и общественный деятель, писал на идиш, был членом ЕАК. Расстрелян 12 августа 1952 г.

Изи Харик (1898–1937) — еврейский поэт и общественный деятель, один из основоположников еврейской литературы в СССР. Жил в Минске. Писал на идиш. В 1937 г. был арестован, позже отправлен в лагерь, где и погиб.

горай. Сторонники Гаскалы тянулись ко мне, но пока мы общались тайно. Тодрос-часовщик и я подолгу рассуждали о Боге, о природе, о первопричине всего сущего и на другие подобные темы. Во дворе дедовского дома было такое уединенное место: с одной стороны — стена, с другой сукка, а с третьей простирались поля турнепса. У изгороди, под яблоней, я пытался одолеть учебник физики восемнадцатилетней давности. Скрытый ото всех, видел синагогу, бейт-мидраш, баню. А в другую сторону до самого леса простирались поля. На яблоне пели птицы. Над синагогой парили в небе аисты. Насквозь просвеченные солнцем, листья яблони мерцали будто огоньки. Порхали бабочки. Жужжали пчелы. Небо надо мной было такое голубое — как занавес на восточной стене во время праздников: между Рош-Гашоно и Йом-Кипуром. Пригреваемый летним солнцем, я сидел там, будто древний философ, что оставил мирскую суету ради того, чтобы постичь истину, чтобы проникнуть в тайны мироздания. Из дома иногда выходила тетька Ентл — вылить помой.

Книга по физике никак не давалась: длинные, трудные пассажи, чужой язык. Но научные знания — это я усвоил точно! — не даются легко. Книга содержала лишь результаты по физике за последние годы. Деятнадцатый век не был представлен вообще. Но я уже немного знал об Архимеде, Ньютоне и Паскале. Трудно было и с математическими выкладками — ведь, кроме арифметики, я ничего не изучал. Занимаясь, я по привычке напевал талмудические мелодии.

Однажды во время занятий под моей яблоней появились две фигуры — в форме с золотыми пуговицами, в фуражках с кантом. Это были гимна-

зисты — Ноте Швердшарф и Меир Гадас. Оба потом сыграли важную роль в моей жизни.

Ноте происходил из хорошего рода. Его дед реб Самуил Эли был ученый еврей и притом состоятельный человек, много занимался благотворительностью. А его тетя Гененделе приходилась мне дальней родственницей. Она умела писать на иврите. Время унесло семейное состояние. Зато сильно возросло вольнодумство этого семейства. Ноте — голубоглазый блондин — выглядел как поляк. Был очень близорук и носил очки с толстыми стеклами. Артистическая натура, идеалист, он напоминал мне тех польских студентов, которые, будучи членами патриотических союзов, взвалили на свои плечи все тяготы рода человеческого.

Ноте организовал у нас патриотический кружок, сионистскую группу — был чрезвычайным энтузиастом всякого дела, но ни одно из них не доводил до конца. Хотя он и ходил в гимназической форме, почему-то мне казалось, что его исключили. Поглощен был несбыточными планами — сразу сдать все предметы за восемь классов. Но лишь одно он знал превосходно — польский язык.

Говорил как поляк и постоянно читал по-польски. Всегда ходил с книгой под мышкой.

Другой, Меир Гадас, был из простых. Его бабушка, со странным именем Кине, была хороша смолоду, и жестокая молва обвиняла ее, будто она путалась с русскими офицерами. Но когда мы приехали в Билгорай, это была уже почтенная женщина в парике.

Меир Гадас тоже выглядел как поляк, но в другом роде: стройный, легкий в общении, открыт, полон польской живости. В отличие от Ноте, который хорошо говорил и на идиш, Меир представлял ка-

кую-то помесь еврея и поляка. Меир и в самом деле был гимназист. Ноте впутывал его в разные сомнительные дела, вовлекал в свои авантюры.

Узнав от Мотла Шура о моих успехах в иврите и версификации, они явились, чтобы обсудить со мной мир в целом и Билгорай в частности.

Я принял их — как Сократ принимал бы Платона. Мы сидели на траве под яблоней и обсуждали все на свете — от Бога до создания театрального кружка в Билгорае. Я высказывался с решительностью человека, который все обдумал и пришел к определенным выводам задолго до... Я утверждал: все — прах, жизнь не имеет цены, и самое честное, что может сделать человек — это убить себя. Мне было пятнадцать. Бледный, с рыжими пейсами, которые я снова отрастил, в плисовой ермолке, длиннополом лапсердаке сидел я на траве, и немецкий учебник физики лежал на моих коленях. Но оба, Ноте и я, понимали, что это — начало нашей долгой дружбы.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

В Билгорае, столь успешно отгороженном от большого мира моим дедом, задули свежие ветры. Все перевернулось. То, что случилось, было необратимо. Молодежь организовала сионистское общество. Активизировались бундовцы. Кое-кто из молодых симпатизировал большевикам, нашлись и такие. Религиозная молодежь тоже разделилась на «мизрахи»* и традиционалистов. Ноте Швердшарф организовал отряд пионеров: «Гахалуц» или «Гашомер»**, не помню, и теперь за ними таскалась орда ребятишек, называвших себя «зевим» — волки. Творилось ли то же самое в других городках, подобных Билгораю, не могу сказать. А у нас в местечке мальчишки, проходя по улице, приветствовали друг друга «Хазак!» — «Хазак!»***, при этом щелкали каблуками и становились во фронт, как военные.

Еще год назад здесь было сонное царство, закоснелая еврейская старина. А теперь... По вечерам собирались компании, спорили, устраивали вечеринки. Приехала театральная труппа из Варшавы. Играли «Суламифь» в городском пожарном

* «Мизрахи» — религиозное сионистское движение. Организовано в Вильно в 1902 году.

** «Гашомер», а также «Ховевей Сион», «Гашомер Гацаир», «Халуцим» и др. — названия молодежных палестинофильских организаций конца XIX — начала XX вв.

*** «Мощь и сила!»

сарая. Австрийцы сперва открыли школу. Потом соорудили театр на Базарной площади. Наши хасиды негодовали. Они возмущались моими дядьями: почему те не протестуют? Почему не прогонят из Билгорая этих отщепенцев, еретиков, как их отец в былые времена? Но детям не хватало ни твердости, ни личного авторитета.

Иона Аккерман, старый холостяк, местный ходай по делам, открыл у себя библиотеку: выдавал всем желающим книги на идиш. Еще отец его был «просвещенец», ярый противник хасидизма, весьма ядовитый и острый на язык. Приехал как-то в местечко горлицкий цадик. Восторженные хасиды встречали его музыкой, плясками, бубенчиками. Старый Аккерман наблюдал эту картину, прислонясь к дверному косяку, на пороге дома. И шипел вслед: «Варвары! Язычники! Идололоклонники!..»

Сыну такого отца, по логике вещей, ничего не оставалось как стать отпетым вольнодумцем. Однако Иона Аккерман не сделал этого. Предпочел компромисс. Адвокату, говорил он, не следует восстанавливать против себя клиентов. Чуть выше колен сюртук, хасидский штреймл, борода клиньшском. Субботу проводил в молитвенном доме того самого цадика, которого так поносил его отец. Он собирал и русские книги. Но ни Толстой, ни Достоевский его не интересовали. Больше Ломоносов и другие писатели того времени. Ему нравилось морализаторство. Он интересовался всем понемножку, а споры на моральные темы просто обожал. Иона Аккерман свободно говорил на идиш, но было такое впечатление, что мысли свои он переводит с русского дословно. Педантичный человек, и почерк — просто каллиграфический. А уж как он был придиричив

и к грамматике, и к синтаксису! Когда я жил в Билгореае, это был уже старый холостяк: ему пришлось отвергнуть несколько выгодных браков, чтобы, как положено, сначала выдать замуж сестер — после смерти отца он считался главой семьи. Иона представлял собой некий анахронизм. Но такой тип время от времени встречается в русской литературе.

Он, наверно, родился, чтобы заниматься печатным словом. Поражала его изумительная память. В местечке говорили, будто он знает наизусть несколько судебных кодексов. У него была масса всевозможных словарей и справочников. Потом Иона решил, что будет давать книги и на идиш, и на иврите. Поскольку он ничего не делал, хорошенько не продумав, подозреваю, что он хотел, чтобы к нему ходили и девушки. Но в целом это был милый человек с чистым сердцем и открытой душой, лишь немного старомодный.

Открой библиотеку кто-то другой — не Иона Аккерман — уж давно были бы выбиты стекла. Но Иону все уважали: еще бы! — такой адвокат, в хороших отношениях с начальством. Ссориться с ним не с руки. Удивительно, но им восхищались и билгорайские поляки. Еврею следует быть таким, как Иона, — спокойный, обходительный, порядочный, и слову его можно верить. Так они говорили. Полякам даже нравилось, что он одевается согласно традиции.

В то время я уже прочел многое из того, что было написано на идиш, — знал книги Менделе Мойхер-Сфорима*, Шолом-Алейхема, Шолома

* Менделе Мойхер-Сфорим (наст. имя и фам. Яков Абрамович Шалом, 1835–1917) — еврейский писатель, основоположник новой еврейской классической литературы, писал на иврите. Шолом-Алейхем называл его «дедушкой еврейской литературы».

Аша* и Давида Бергельсона. Не могу сказать, что я читал с тем вниманием и тщанием, которого эти писатели заслуживают. Мотл Шур давал мне книги на иврите — самые разнообразные, и хрестоматии в том числе. Благодаря ему я приобщился к современной литературе на иврите, просто глотал книги Бялика, Черниховского, Якоба Когена, Залмана Шнеура** и испытывал одно лишь желание — читать еще и еще. Никогда не забуду, как захватило меня «Преступление и наказание», хотя я не очень хорошо понимал, что читаю.

Я сидел в саду под яблоней и читал. Сюда, под эту яблоню, Ноте Швердшарф каждый день что-нибудь мне приносил, а на следующий день я уже возвращал книгу. Частенько я забирался на чердак, садился на перевернутый ящик и читал. Кругом всякий хлам: старые кастрюли, поломанные кадучки, обрывки Святых книг. А я сижу себе и читаю. Глотаю со страстью, просто пожираю все, что попадет под руку: рассказы, романы, пьесы, очерки — написанные на идиш и в переводах. Сам оценивал, что хорошо, что так себе, где

* Шолом Аш (1880–1957) — еврейский писатель и драматург. Писал на идиш. Жил в Польше, США. Был почетным председателем ПЕН-клуба.

** Хаим Нахман Бялик (1873–1934) — выдающийся еврейский поэт, писал на иврите. Вместе с Ровницким собрал «Агаду» — антологию легенд, притч и изречений, извлеченных из Талмуда и Мидрашей. Х.-Н. Бялик — единственный поэт XX века, чьи произведения сформировали духовный облик еврейства в России, Восточной Европе и Израиле. Он считается также основоположником детской литературы на иврите.

Саул Черниховский (1875–1943) — еврейский поэт, переводчик, врач. С 1890 г. жил в Одессе, учился в Гейдельберге. Многие его стихи положены на музыку и стали популярными песнями.

Залман Шнеур (1887–1959) — еврейский писатель и поэт, писал на иврите.

правда, где ложь. Америка в то время посылала нам белую муку и книги европейских писателей в переводе на идиш. Книги эти приводили меня в восторг, ввергали в состояние транса: Рейзен*, Стриндберг, Тургенев, Толстой, Мопассан и наконец Чехов. Однажды Ноте принес мне книгу Гиллеля Цейтлина** «Проблемы Добра и Зла». Я прочел ее на одном дыхании. Автор разворачивал и затем суммировал мировую философию, сравнивая ее с философией иудаизма. Немного позже я открыл для себя книгу Ступницкого о Спинозе.

Помню, как отец постоянно повторял, что имя Спинозы следует вычеркнуть отовсюду. Тогда уже я знал, что Спиноза заявляет: Бог есть Вселенная, и Вселенная — это Бог. Помнится, отец говорил, что Спиноза тратит время на ничто, на пустоту. По интерпретации Баал-Шема выходило то же самое: он обожествлял природу, отождествлял Вселенную с Богом. Баал-Шем жил после Спинозы, это так. Отец возражал: Спиноза черпал свою мудрость из древних источников, которых не могут отрицать никакие последователи Спинозы.

От философии Спинозы в голове моей воцарился полный кавардак. Его концепция: Бог есть субстанция с бесконечными атрибутами, божественная сущность должна следовать своим собственным законам, нет ни свободной воли, ни абсолютной морали, ни конечной цели — это увлеча-

* Авраам Рейзен (Рейзин, 1876–1953) — крупнейший художник-реалист, поэт и новеллист, оказал заметное влияние на еврейскую советскую литературу, писал на идиш. Жил в России и США.

** Гиллель Цейтлин (1871–1942) — еврейский религиозный философ, писатель и журналист. Писал на иврите и на идиш. Отец Аарона Цейтлина. Был убит по дороге в Трешлинку.

ло, завораживало, но и совершенно сбивало меня с толку. Книги Спинозы опьяняли. Истины, к которым я пробивался с детства, наконец-то стали ясны. Все было Бог — Варшава, Билгорай, паук на чердаке, вода в колодце, облака в небе, книга на моих коленях. Все божественно, все — мысль и развитие. У камня — его, каменные мысли, два аспекта одного и того же. Помимо физических и интеллектуальных атрибутов, существуют другие бесчисленные характеристики, через которые определяется Божественная принадлежность. Бог есть вечное, трансцендентное время. Время, или протяженность, определяется модусами — пузырьками, которые варятся в божественном котле, образуются там и лопаются, и снова образуются и т. д. Сам я — тоже модус. Этот модус объясняет мою нерешительность, мою беспокойную натуру, пассивность характера, мои сомнения и страхи. Но все эти модусы созданы из тела Бога, из мыслей Бога, их можно понять и объяснить лишь через Него...

Когда я сегодня пишу эти строки, то, конечно же, отношусь к написанному критически, поскольку хорошо знаю все недостатки, все противоречия и пробелы в учении Спинозы. Но в тот момент я был им околдован, и это продолжалось многие последующие годы.

Я был в восторге. Все казалось прекрасным, никакой разницы нет между землей и небом, далекой звездой и моими рыжими волосами. Мои путанные, сумбурные мысли — божественны. То же муха, слетевшая на страницу моей книги. Это все — волны мирового океана, где течет свое собственное время. Глупейшая моя выдумка — это тоже мысль Бога... Небеса и земля — одно. Законы природы божественны. Естественные науки: математика, физика,

химия — тоже Бог. Желание учиться возросло еще больше.

Поразительно, что Ноте и Меир были совершенно безразличны к моим открытиям. Моя поглощенность всем этим их даже забавляла. Я же был ужасно возмущен таким равнодушием.

Пришел однажды Ноте и спросил, не хочу ли я преподавать иврит.

— Кому же?

— Начинающим. Мальчикам и девочкам.

— А как насчет Мотла?

— Не хотят они его.

До сих пор не знаю, почему они не пригласили Мотла. Может, он поссорился с кем-то из руководителей вечерней школы: была у Мотла такая слабость — сказать человеку все, что он о нем думает. И еще — слишком уж много хвастал. Кто знает, может, запросил слишком большую цену. Я даже не решался подумать, в какое положение это поставит мою мать, — знал, что она придет в ужас. А в Билгоре это будет как гром среди ясного неба. Я согласился. Сам не знаю почему.

Первый мой урок проходил на дому у кого-то из учеников. Неожиданно оказалось, что мои ученики — не дети, а молодые парни и девушки, и последних даже больше. Девушки — моего возраста и постарше — надели лучшие наряды. А я предстал перед ними в длиннополом своем лапсердаке, в плисовой ермолке, с рыжими свисающими пейсами.

Как это я, такой стеснительный по натуре, вообще согласился принять подобное предложение — уму непостижимо. По себе знаю, что застенчивые бывают иногда необычайно болтливы. И в тот раз я сразу выложил им все, что знал про иврит. Урок

произвел фурор в Билгоре — подумать только, внук нашего рабби учит детей всех этих вольнодумцев, «маскилов» — и чему же? — древнееврейскому языку!

После урока ко мне подошли девушки. Окружили меня, смеялись, задавали вопросы, улыбались. Лицо одной из них поразило меня: узкое, смуглое, карие мохнатые глаза — как у медвежонка, и невозможная, неопиcуемая улыбка. Я остолбенел. Она что-то спросила, но я даже не понял вопроса. Много романов прочел я к тому времени, много стихов сидело в моей голове. Я уже был готов к тому, что писатели называют словом «любовь»...

Ав — пятый месяц еврейского календаря, состоит из 30 дней, приходится на июль-август общегражданского календаря. Девятое Ава (Тишебов) — день разрушения Храма, день поста и траура.

«Агада» — сборник талмудических, раввинистических, нравоучительных притч, рассказов, преданий на исторические и религиозно-этические темы.

Аркиодеш — Ковчег Завета, в котором хранились Скрижали с высеченным на них текстом Закона. В современной синагоге — шкаф (или киот), в котором хранятся свитки Торы.

Ашкеназы — евреи, проживавшие в германских землях в средние века, а также их потомки. В XV–XVI вв. центр ашкеназийского еврейства переместился в Богемию, Моравию, Польшу и Литву. Ашкеназы говорят на идиш — особом еврейском диалекте немецкого языка, который наряду с древнееврейской вобрал в себя и славянскую лексику (после миграции евреев в славянские земли в XIV–XVII вв.).

Афикоман — кусок мацы (см.) (на праздничной трапезе), который прячут до конца трапезы и съедают последним в знак завершения пасхального седера.

Бадхен — шут на еврейской свадьбе. Принимал участие в семейных торжествах, развлекал гостей во время праздников.

Бар-мицва — религиозное совершеннолетие мальчика (тринадцать лет). Обряд совершается в первую субботу после исполнения тринадцати лет и одного дня.

Бегельфер — помощник учителя в хедере (см.).

Бейс-дин — раввинский суд, букв. «дом суда». Традиционный раввинский суд состоит из трех судей. Однако допускается и иной состав — от одного, обычно местного раввина, — до семи. Такой суд может быть и арбитражным: каждая сторона выбирает по одному судье, а те приглашают третьего. В России бейс-дин был особенно распространен в XIX веке.

Бейс-дин ведет начало со времени Исхода из Египта. Моисей Маймонид — великий ученый и философ древности — говорит так: «Судья должен обладать семью основными качествами — быть мудрым и скромным, почитать Всевышнего, презирать деньги, любить правду, любить людей, иметь хорошую репутацию». Судья, по Маймониду, должен быть также строг к себе, остерегаться причинить зло и иметь доброе сердце, чтобы защитить притесняемого от ненависти и жестокости преследователей. Следует вести процесс так, чтобы принять решение, справедливость которого ясна обеим сторонам и без труда понята ими.

Бейт-мидраш (букв. «дом толкования») — учебное заведение, где изучали Талмуд и послеталмудическую литературу.

Галут (*иврит*) — изгнание. Самоназвание еврейской диаспоры.

Гаскала (*иврит*) — еврейское просветительское движение, возникшее во второй половине XVIII века.

Гемара — свод комментариев к Мишне (см.). Вместе они образуют Талмуд.

Гефилте фиш — фаршированная рыба, традиционное еврейское блюдо.

Гой — нееврей, иноверец.

Дибук (или диббук) — злой дух, вселяющийся в человека и овладевающий его душой (по народному поверью). Дибук необходимо изгнать с помощью специальных обрядов. Иначе человек продолжает мучаться и болеть.

Дин-Тойре — процесс раввинского суда, который проводится в доме суда — бейс-дин (см.).

Дрейдл (*идиш*) — четырехгранный волчок. По традиции дети играют в дрейдл на деньги во время праздника хануки (см.).

Ешиботник — учащийся иешивы (ешибота) (см.).

Зогар («Сияние») — одна из основных книг Каббалы, мистический комментарий к Пятикнижию. Автором считается рабби Шимон бар-Иохан (II в. н. э.).

Идиш — язык ашкеназов, основной язык жителей еврейских местечек Восточной Европы. Возник около тысячи лет назад как особый диалект немецкого языка, вобрал в себя древнееврейскую и славянскую лексику. Вплоть до XX века его пренебрежительно называли «жаргоном». Затем идиш развился в зрелый литературный язык, на котором писали Шолом-Алейхем, М. Мойхер-Сфорим, И.-Л. Перец и др.

Иешива (ешибот) — религиозное учебное заведение, где юноши изучают Талмуд, чтобы стать раввином или же получить другую религиозную специальность.

Исход из Египта — важнейшее событие в жизни евреев. Господь вывел евреев из египетского рабства с помощью Моисея и даровал им Тору на горе Синайской.

Йом-Кипур (букв. «день искупления») — Судный день, самый святой из праздничных дней. Приходится на десятый день месяца Тишри. По гражданскому календарю — сентябрь-октябрь. День поста, покаяния и отпущения грехов. В этот день Всевышний решает судьбу каждого человека на предстоящий год.

Каббала — мистическое направление в иудаизме. Стремится к разгадке тайн мироздания и непосредственному общению со Всевышним.

Кадитц — поминальная молитва.

Казенный раввин — чиновник, утвержденный на должность губернатором; вел записи актов гражданского состояния в еврейской общине, приводил к присяге в суде евреев-свидетелей и т. д.

Кантор (то же — хазан) — читает нараспев молитвы во время синагогальной литургии.

Кибуц (киббуц) — сельскохозяйственная община в Израиле. Отличается общностью имущества, равен-

ством в труде и потреблении, а также совместным воспитанием детей.

Кидуш — состоит в «освящении праздника», которое читают над бокалом вина, с него начинается празднование субботы или любого другого праздника.

Клезмер — еврейский музыкант, играющий на праздниках.

Кошер — пища, разрешенная к употреблению согласно еврейским законам.

Кугл — традиционное еврейское блюдо. Запеканка из вермишели, риса, картофеля и проч. со взбитыми яйцами.

Купци («суккот» на иврите) — букв. «шалаши». Отмечается с 15 по 22 Тишри (сентябрь-октябрь). Праздник посвящен Исходу из Египта и странствованию по Земле Обетованной. Принято сооружать шалаши возле домов, символизирующие скитальческую жизнь в пустыне.

Ламедвавники — тридцать шесть скрытых праведников, живущих в мире во всякое время. Не будь их, мир бы рухнул. «Ламед» и «вав» — буквы еврейского алфавита, которыми записывается число 36.

Левнафан — морское чудовище, упоминаемое в Библии. По преданию, его мясом будут питаться праведники после прихода Мессии.

Маскил — сторонник Гаскалы (см.), «просвещенец».

Марраны — евреи, насильно крещенные в Испании и Португалии в XIV–XV вв. Втайне сохраняли верность иудаизму (полностью или частично). Селились в Каире, Иерусалиме, Цфате, Дамаске и Стамбуле (в пределах Османской империи). Протестантские страны, жители которых и сами стали когда-то жертвами католической инквизиции, охотно принимали марранов. В XVI в. марраны появились в Амстердаме, открыто вернувшись к иудаизму.

Махпела — пещера близ древнего города Кирьят-Серба (ныне Хеврон), усыпальница патриархов. Согласно Библии, в ней захоронены Авраам, Исаак и Иаков и их жены Сара, Ревекка и Лия. Раввинистиче-

ские источники утверждают, что там захоронены Адам и Ева. Согласно Иосифу Флавию и некоторым апокрифам, в усыпальнице захоронены и сыновья Иакова. По мусульманским преданиям, где-то рядом находится могила Иосифа. Пещера Махпела является иудейской, христианской и мусульманской святыней.

Маца (мн. ч. мацот) — тонкие лепешки из теста на основе муки и воды. Едят мацу на Песах, начиная с первого праздничного обеда после захода солнца.

Мезуза — прямоугольная деревянная или металлическая коробочка, в которую вложен кусочек пергамента или бумаги со словами из Пятикнижия. Крепится к верхней трети дверного косяка жилого помещения, где проживает еврейская семья.

Меламед — учитель в начальной школе (хеде́ре) (см.).

Мессия («помазанник») — спаситель, царь Израиля, явится в конце времен и избавит народ от рабства и унижения. Он должен происходить из рода царя Давида. «Пусть он запаздывает, но мы каждый день верим в то, что он придет сегодня» (Рамбам). В еврейской истории известен не один случай, когда тот или иной лидер евреев объявлял себя Мессией, и многие верили ему (Бар-Кохба, Саббатай Цви, Якоб Франк, Давид Рубейни и др.).

Мидраши (букв. «толкование») — сборники раввинистических толкований священных текстов, не вошедших в Талмуд. Это особый литературный жанр — притчи и легенды, которые являются ответами на вопросы учеников.

Миква — бассейн для ритуального омовения при синагоге.

Миснагид — ортодоксальный еврей («ортодокс»), противник хасидизма (см.).

Мицва (букв. «заповедь», *иврит*) — 613 заповедей (мицвот) даны Всевышним непосредственно еврейскому народу. Выполнение их — обязанность каждого религиозного еврея. Слово «мицва» употребляется также в значении «доброе дело», часто в смысле — подаяние нуждающимся.

Мишна — основная часть Талмуда: свод обычного права, по преданию, полученный Моисеем на горе Синай вместе с письменным текстом Торы. Мишну называют «Устной Торой», поскольку она передавалась устно от поколения к поколению на протяжении полутора тысячелетий. Лишь после гибели Храма Соломона (см.) в 70 г. н. э. ее стали записывать.

Песах — еврейская Пасха, празднуется с 14 по 21 число месяца Нисана. Песах отмечается в память Исхода евреев из Египта, важнейшего события еврейской истории (см.).

Пурим (14 Адара, т. е. марта) — праздник, установленный в память о чудесном избавлении евреев от гибели при персидском царе Артаксерксе (Ахашвероше). Об этом рассказано в библейской книге Есфири. Празднуя Пурим, еврейю следует напиться так, чтобы он не смог отличить злодея Амана от праведника Мордехая.

Раввин — высший авторитет в религиозных вопросах. Он имеет право преподавать в иешиве, быть членом религиозного суда (бейс-дин), духовным и административным руководителем религиозной общины, совершать обряды и фиксировать акты гражданского состояния. Раввин может руководить молитвой в синагоге, хотя обычно это делает кантор (см.). В отличие от христианского священника раввин не является священнослужителем.

Рабби (букв. «мой господин») — так хасиды называют своего духовного наставника, подчеркивая этим личный, сокровенный характер отношений между ними. То же — ребе (уменьшит. от рабби). Этим словом дети в местечке называли своего учителя — меламеда. Не надо путать с «реб» (*иврит*) — это просто уважительная приставка к мужскому имени.

Реббецин — жена раввина или рабби.

Рош-Гашоно (букв. «голова года») — Новый год по еврейскому календарю, первый день месяца Тишри (сентябрь-октябрь). За десять дней от Рош-Гашоно до Йом-Кипура на небесах решается судьба человека в следующем году.

Синагога (*греч.*) — собрание. Средоточие еврейской религиозной и традиционной общественной жизни, дом совместной молитвы, учебный и общинный центр. Аналогия с Храмом (христианской церковью или мусульманской мечетью) неправомерна.

Синедрион (*греч.*) — совет, совещание. Высший орган религиозной, судебной и политической власти в Иудее во времена Римского владычества. Синедрион состоял из 71 судьи, выносивших решения по законам Тору (см.) и Талмуда (см.).

Сефарды — потомки евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце XV в. или покинувших его в XVI–XVIII вв. («Сфарад» на иврите означает «Испания»). Язык сефардов — ладино — относится к романской группе, он развивался в XVI–XX вв. в Восточном Средиземноморье на базе испанского и других романских языков Пиренейского полуострова, на которых говорили евреи в диаспоре.

Сойфер — переписчик Святых книг.

Стена плача — святыня для исповедующих иудаизм, то, что осталось после разрушения Храма Соломона (см.).

Талес — прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти или шелка. Его надевают мужчины (после совершения обряда бар-мицвы (см.) еврей считается мужчиной) для утренней молитвы.

Талмуд — монументальный свод священных еврейских текстов. Состоит из Мишны (см.), Гемары (см.) и раввинистических толкований к ним более позднего времени.

Тишри — седьмой месяц еврейского календаря.

Тора — первые пять книг Библии, «Пятикнижие Моисеево». На иврите — «Хумаш» («пятирица»). В широком смысле Торой называют также все учение иудаизма, письменное и устное, включая комментарии.

Трефное — еда, не дозволенная законом, не кошерная.

Филактерии (тфилин) — кожаные прямоугольные футляры с написанными на пергаменте словами из То-

ры (см.). Евреи во время молитвы прикрепляют их ко лбу и левой руке.

Хамсин — ветер, дующий из пустыни.

Ханука — праздник в память о народном восстании (164 г. до н. э.) под предводительством Маккавеев против сирийского царя Антиоха. Отвоёван и заново освящен Иерусалимский храм.

Ханукийя — специальный светильник, который зажигают все восемь дней праздника Хануки (см.).

Хасидизм — религиозное направление в иудаизме, появившееся в XVIII в. в Подолии и на Волыни. Основатель учения — Бешт (Баал-Шем). Основное в хасидизме: чистый религиозный дух и радость жизни важнее скрупулезного изучения религиозных источников. Хасиды придают большое значение молитвенному экстазу, пению, совместным трапезам.

Хедер — традиционная религиозная начальная школа для мальчиков.

Херем — отлучение, анафема. Налагался авторитетными раввинами на еретиков и отступников.

Хомец — «квасное», то, что нельзя употреблять во время еврейской Пасхи (Песаха).

Храм Соломона — по преданию, был воздвигнут на том месте, где Авраам должен был принести в жертву сына своего Исаака. Строительство продолжалось семь лет (с 961 г. до н. э.). В 587 г. до н. э. во время царствования царя Навуходоносора Храм Соломона был разрушен. Второй Храм был построен по повелению персидского царя Кира и освящен в 515 г. до н. э. В 70 г. н. э. Храм сгорел. От него осталась лишь Стена плача, сохранившаяся до наших дней. Это самое святое место для тех, кто исповедует иудаизм. На протяжении столетий приезжающие в Иерусалим евреи молятся у этой стены, каюсь в своих грехах перед Господом.

Хупа — шелковый или атласный полупрозрачный балдахин, который держат над новобрачными их родственники во время обряда бракосочетания.

Цадик, также рабби (см.) — праведник, святой человек. У хасидов — духовный вождь общины. По представ-

лениям его последователей, на нем покоится «шхина» — Благодать Божья.

Цимес — сладкое блюдо из моркови, чернослива, изюма.

Цицес — кисточки из шерстяных нитей, которые прикреплены к углам талеса или талескотна (малого талеса), — благочестивые евреи носят его постоянно.

Черная свеча — согласно каббалистическим представлениям, мистическая субстанция, начало, лежащее в основе Творения, ассоциируется со Святой Святых Иерусалимского Храма. Клятва черной свечой считается самой страшной из всех клятв.

Чолит — субботний обед, блюдо из мяса и овощей. Готовится в пятницу и стоит в горячей печи, чтобы не остыло.

Шамес — служка в синагоге.

Шадхен (*иврит*) — сват.

Шива (*иврит*) — семь. «Сидеть шиву» означает соблюдать траур по умершим. Шиву должны соблюдать семь близких родственников. Они остаются дома (за исключением субботы, когда можно выйти в синагогу), не работают, сидят на низких скамейках или на полу, носят надорванную одежду, не стригутся, не бреются, не стирают, не надевают кожаную обувь, а также не пользуются косметикой.

Шофар — бараний рог, в который трубят в синагоге на Рош-Гашоно и в Йом-Кипур (см.).

Штреймл — традиционный хасидский головной убор: круглая шапка, отороченная мехом.

Элул (*вавил.*) — месяц урожая, так в Израиле со времен изгнания называется август-сентябрь.

Юденрат — совет еврейской общины.

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика	5
Нобелевская речь Исаака Башевиса Зингера	6

Из сборника
СТРАСТИ ЛЮДСКИЕ

ОШИБКИ	13
СУББОТА В ЛИССАБОНЕ	29
ФАТАЛИСТ	42
ДВА БАЗАРА	50

Из сборника
КОРОНА ИЗ ПЕРЬЕВ

ЛАНТУХ	61
СЫН ИЗ АМЕРИКИ	74
ЭГОИСТ	84
СОСЕДИ	97

Из сборника
ДРУГ КАФКИ

ЯША-ТРУБОЧИСТ	113
МЕЧТА БАРОНА ГИРША	120

Из сборника
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ

ПРИЕМ В МАЙАМИ-БИЧ	139
НЕ ДЛЯ СУББОТЫ	160
РУКОПИСЬ	177

Из сборника
СПИНОЗА С БАЗАРНОЙ

ДОБРЫЙ СОВЕТ	191
--------------------	-----

Из сборника
БЕЙС-ДИН У МОЕГО ОТЦА

РАСТОРГНУТАЯ ПОМОЛВКА	205
БОЛЬШОЙ ДИН-ТОЙРЕ	212
КЛЯТВА	222
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ	230
ТАЙНА	239
СЕСТРА	248
АШЕР-МОЛОЧНИК	255
ТУДА — К ДИКИМ КОВОРАМ	263
МАЛЬЧИК-ФИЛОСОФ	272
РЕКРУТ	279
ПУСТЫЕ МЕЧТЫ	287
КНИГА	294
ВИЗА	301
ЕДЕМ В БИЛГОРАЙ	308
В БИЛГОРАЕ	315
МОЯ РОДНЯ	320
ТЕТЯ ЕНТЛ	327
ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА	333
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ	339
СВЕЖИЙ ВЕТЕР	346
Глоссарий	354

Исаак Башевис Зингер
СУББОТА В ЛИССАБОНЕ

Ответственный редактор *Анна Березовская*
Литературные редакторы
Антонина Славинская, Антонина Балакина
Художественный редактор *Алексей Горбачев*
Технический редактор *Татьяна Харитоновна*
Корректор *Ирина Ермолова*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 25.04.2002.
Формат издания 84×90^{1/32}. Печать высокая.
Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 16,10.
Заказ № 358.

ИД № 02164 от 28.06.2000.
Торгово-издательский дом «Амфора».
197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 23.
E-mail: amphora@mail.ru

Отпечатано с диапозитивов
в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

И. Б. Зингер «ШОША»

Исаак Башевис Зингер был удостоен
титула «один из лучших прозаиков
XX века» еще до того, как в 1978 г.
получил Нобелевскую премию
по литературе.

Его самый знаменитый роман «Шоша»
называют еврейской «Лолитой»,
но за странной любовной историей
скрывается мифологический пласт,
который ставит эту книгу
в один ряд с лучшими романами
Габриеля Гарсиа Маркеса.

Зингер сделал для литературы почти то же, что Эйнштейн сделал для физики. И дело даже не в том, что оба они евреи, оба – нобелевские лауреаты. Просто и тот и другой усомнились в самых простых, обыденных истинах. И тот и другой сумели доказать, что законы прошлого века не годятся для века нынешнего.

Практически все рассказы, вошедшие в эту книгу, на русском языке публикуются впервые.

Автор «Шоши» и «Мешуги» писал их для американской периодики. Это нежные и мудрые истории о любви, безразличии и усталости.



www.amphora.ru

ISBN 5-94278-291-1



9 785942 782917

Сделано в Санкт-Петербурге



ОМ
журнал